ВЕРА ФИГНЕР

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ТРУД

I

МОСКВА, 1922

ВЕРА ФИГНЕР

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ТРУД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Москва, 1921

Р. В. Ц. № 323. (Москва). Печ. 10,0000 экз.

7-я типография М. С. Н. Х. (бывш. Мамонтова).

*
* *

В безрадостные дни бездействия меня утешала мысль, что есть общественное дело для меня—издание книги, которая запечатлела бы опыт той полосы революционного движения, в которой я принимала личное участие.

Теперь, после многих неудач и отсрочек, первая часть этой книги выходит. наконец, в свет.

Сердцевину ее составляет период 1876—1883 г. г., когда последовательно и в преемственной связи действовали две организации: тайное общество „Земля и Воля“ и партия „Народная Воля“, представляющие, после опыта „хождения в народ“, дальнейшие стадии эволюции нашего революционного движения.

Перебирая имена землевольцев и народовольцев, находящихся в живых, я не встречаю никого, кто прошел бы чрез весь этот период: каждому недостает того или другого звена или некоторых годов которого-нибудь из них. В этом отношении мое положение исключительное: в 1876 году я участвовала в выработке программы „народников“, которая легла в основу деятельности революционных сил, об‘единившихся в тайное общество „Земля и Воля“. С другой стороны, я была последним членом „Исполнительного Комитета Народной Воли“, арестованным в 1883 году, когда из инициаторов и основоположников этой партии, входивших в Комитет, на свободе не оставалось уж никого.

Кому же, как не мне, худо-ли, хорошо-ли, проследить в рамках личного участия и переживания путь, которым шли мои товарищи, отдавшие революционному движению свою жизнь.

Едва я вышла из Шлиссельбургской крепости, как друзья и знакомые, в особенности основатель журнала „Былое“—

В. Л. Бурцев, стали настаивать, чтоб я писала. Но я не была в состоянии заняться этим в то время.

Выход на свободу после 22 лет заточения был великим переломом в жизни: потрясение охватывало и физическую, и духовную сторону организма. Нервы, привыкшие к тишине, одиночеству и однообразию обстановки, не могли справиться с наплывом новых впечатлений. Не говоря о явлениях и встречах более или менее ярких и внезапных, даже самые сбыденные, нормально ускользающие от внимания людей свободных, вызывали у меня реакцию до болезненности сильную: они раздражали и мучили меня.

Приходилось перевоспитывать себя и медленно приспособляться к обстановке и условиям, которые за двадцатилетие стали непривычными, и по своей непривычности, тревожными; а в области духовной мучительно стоять перед категорическими и от шумихи жизни совершенно оголенными вопросами: как жить? чем жить? зачем жить?...

Не буду останавливаться на этой послетюремной психологии. Во 2-ой части книги в главе: „С горстью золота“ о моем тогдашнем настроении сказано достаточно.

Не обращать взор назад—смотреть надо было в настоящее, и в нем искать свое место в жизни. И я смотрела, искала. Одна из попыток войти в жизнь, приладиться к ней описана в той же главе 2-ой части; о двух других, быть может, напишу потом.

Попытки кончились неудачей. В 1913 году я осталась пред пустотой: не было у меня ни работы революционной, ни деятельности общеполезной—ничего.

Тогда я обратилась к работе, о которой напоминали друзья и давно думала я сама. Я начала писать.

В то время я жила за границей и условия для работы сложились самые благоприятные: уют уединенного жилища на полугоре у Женевского озера; неподвижная красота вековечных гор, темнеющих на горизонте; изменчивая роскошь вечерних красок надозерного неба; одиночество и тишина, рождающие духовную сосредоточенность, в которой легко прислушаться к голосам прошлого.

Начав с очерка развития моей личности до 1872 года, когда я поступила в Цюрихский университет и познакомилась впервые с западно-европейским рабочим движением и

с учением социалистов, я описала первый революционный кружок, в который вступила за границей, а потом оставление университета, от'езд в Россию и участие, в качестве активного члена в деятельности русской социалистической партии вплоть до образования в 1879 г. „Народной Воли“. Тут я остановилась: что-то мешало мне говорить о „Народной Воле“, об „Исполнительном Комитете“ и выступлениях его в борьбе с самодержавием. Я не могла сразу найти язык, которым надо было говорить об этом ярком периоде нашего прошлого. Теперь мне кажется, что препятствием, быть может, был размах, который приняло революционное движение за время моего отсутствия из жизни; выступление на политическую арену рабочих масс слепило меня: историческая перспектива мешала говорить языком участника и очевидца.

На время пришлось оставить эту тему, и я сразу перешла к эпилогу деятельности „Исполнительного Комитета“— к Шлиссельбургу, и в нем взяла некоторые моменты, психологическая сторона которых не была затронута или была мало освещена товарищами, писавшими до меня (Волкенштейн, Панкратов, Новорусский, Ашенбреннер). Европейская война прервала эту работу: я не хотела оставаться вне пределов России во время этой бойни и в феврале 15-го года отправилась через балканские государства на родину, но не взяла с собой рукописей: я боялась, что они пропадут, если на границе меня арестуют.

Действительно, несмотря на заверения, сделанные тогдашним министром внутренних дел Маклаковым моему брату Николаю, что я не подвергнусь никаким неприятностям, в Унгени меня арестовали и препроводили в Петербург, в охранку. Дело ограничилось, однако, тем, что после допроса и 10-дневного пребывания в Выборгской тюрьме меня прикрепили на жительство в Нижнем-Новгороде и отдали под надзор полиции.

Возьми я рукописи с собой, брату, пожалуй, удалось бы выручить их из рук департамента полиции. Случилось худшее: вот уже шесть лет—и я все еще не могу получить их из-за границы. Фактически, весь сделанный труд для меня пропал, и для теперешнего издания я должна была написать все наново.

В одном мне посчастливилось: после февральской революции 17-го года раскрылись тайники департамента полиции и архивы судебных учреждений. Среди различных документов неутомимый деятель по историческим раскопкам Бурцев нашел и показания, написанные мной в 1883 году, после ареста.

В тот момент 83-го года я была в совершенно особом положении и настроении. Жизнь кончалась: наша деятельность была такова, что ни я, ни кто другой из ближайших товарищей моих, не могли думать, что когда-либо выйдем из тюрьмы. Мы должны были умереть в ней. А взволнованная душа была полна живых откликов только что конченной борьбы и громко звучало идеалистическое чувство по отношению к товарищам, которые только что сошли со сцены.

Для жизни, для современности, мы умирали, но ведь было будущее для тех, кто пойдет за нами, и для них хотелось запечатлеть свои чувства, сохранить след нашей жизни, наших стремлений, побед и поражений. И для этого будущего, в тиши Петропавловской крепости, я написала свои показания.

Я могла говорить свободно. Фактическая сторона деятельности „Исполнительного Комитета" была известна: она происходила на глазах у всех, и с 79 года перед лицом суда прошел целый ряд политических процессов; более 70 человек членов партии „Народной Воли"—и в том числе весь цвет „Исполнительного Комитета"—были отправлены на каторгу, на поселение и на эшафот. Но я довела рассказ только до катастрофы 1-го марта 81 года. О дальнейшем, по условиям времени, я не могла и не хотела говорить.

Прошло 34 года со времени написания этих показаний и, когда Бурцев доставил мне копию с них, я почувствовала глубокое удовлетворение—мне не пришлось жалеть, что они написаны. Я была рада, что они сохранились: они так верно отражали мое отношение к революционному делу, так полно выражали мои чувства, не только в прошлом, но и 34 года спустя, что в них, в этих показаниях, я нашла как раз тот язык, который не давался мне для описания „Народной Воли" в 1913/14 г.: с этим документом в руках, я могла приступить к продолжению работы, которую прервала тогда. В этой работе, сохраняя в точности текст показаний, я широко воспользовалась ими везде, где было возможно, но там, где

изложение было слишком кратко, я ввела необходимые дополнения, некоторые характеристики и целые главы, которые по условиям 83 года, не могли войти в рассказ, а затем продолжила его до моего ареста, заключения в Петропавловскую крепость и вручения обвинительного акта, которым вместе с другими членами партии я предавалась петербургскому военно-окружному суду.

Будь заграничные рукописи в России—у меня было бы совершенно обработанное, готовое к печати, целое. Но их не было, а условия печатания из года в год становились все хуже и хуже. Надо было спешить, и чтоб не откладывать дела на неопределенное долгое время, пришлось все автобиографическое начало, оставленное в Швейцарии, написать вторично, и притом многое сократить, некоторые главы опустить совсем, а для описания студенческих годов ограничиться беглыми страницами показаний. Вследствие всего этого теперешнее издание выходит в более сокращенном виде, чем оно предполагалось семь лет тому назад.

Что же касается 2-ой части, заключающей Шлиссельбург, то время выхода ее будет зависеть, как от общих условий печатанья в России, так и от того, когда мои заграничные рукописи попадут, наконец, в Россию. Я уже говорила, что главные моменты нашего заточения в крепости я описала, находясь в Швейцарии; и то, что удалось воскресить, вновь пережить и воплотить в соответствующую форму в благоприятных условиях маленького городка, швейцарской республики, не может быть воспроизведено теперь, когда нет ни необходимого настроения, ни обстановки, сколько-нибудь подходящей для этого.

24 июня 1921 г.

Вера Фигнер.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1. Семья.

Я родилась 24 июня 1852 г. в Казанской губернии в дворянской семье, имущественно довольно хорошо обставленной. Моя мать, Екатерина Христофоровна, получила обычное в ее время домашнее воспитание и была дочерью тетюшского уездного судьи Куприянова, который за свою жизнь успел растратить большое состояние. Имея более 6000 десятин земли в Уфимской губернии, кроме того, что он имел в Тетюшском уезде, он оставил после смерти свои дела в таком беспорядке, что наследники сочли за лучшее отказаться от наследства, так как сумма долгов дедушки не могла быть определена.

Мой отец, Николай Александрович Фигнер, воспитывался в Корпусе Лесничих и по окончании курса служил лесничим сначала в Мамадышском уезде, потом в Тетюшском, а после освобождения крестьян вышел в отставку, чтобы стать мировым посредником, и оставался им вплоть до упразднения этой должности.

В семье, кроме двух мальчиков, рано умерших, нас было шестеро. Как отец, так и моя мать были люди очень энергичные, деятельные и работоспособные; крепкие физически-они отличались и волевым темпераментом. В этом отношении они передали нам хорошее наследие: я—старшая—принимала участие в революционном движении в один из самых ярких периодов борьбы против самодержавия, была приговорена к смертной казни и сделалась узницей Шлиссельбурга. Сестра Лидия была членом революционной организации, занимавшейся социалистической пропагандой среди фабричных рабочих и судилась вместе с Бардиной и Петром Алексеевым

по процессу 50-ти, который в свое время произвел глубокое впечатление на молодежь и либеральные круги общества. Она была осуждена на каторгу, которую сенат заменил лишением особых прав и преимуществ и ссылкой на житье в Восточную Сибирь. Брат Петр был крупным горным инженером на металлургических заводах Пермской и Уфимской губерний и состоял директором Богословского завода. Мой брат Николай сделал блестящую карьеру, став знаменитым певцом-тенором. Он первый, преобразуя оперу, не только *пел*, но и *играл* в ней и дал за свою 25-ти летнюю артистическую деятельность сотням тысяч людей эстетическое наслаждение. Сестра Евгения была участницей процесса Квятковского по делу о взрыве в Зимнем Дворце в 1880 году и получила лишение всех прав состояния и ссылку в Сибирь на поселение. Младшая сестра моя Ольга, очень способная и энергичная, мало принимала участия в революционном движении; выйдя замуж за врача Флоровского, она последовала за ним в административную ссылку в Сибирь и вместе с мужем занималась культурно-просветительной деятельностью в Омске, потом в Ярославле, а после смерти мужа— в Петербурге. В Сибири сестры Лидия и Евгения вышли замуж за бывших политических каторжан Стахевича и Сажина, людей выдающихся по своему уму, образованию и энергии.

2. В лесу.

Первые годы жизни—до шести лет—я провела не в городе, не в деревне, а в лесу...

Куда ни кинь взгляд — всюду деревья и нигде человеческого жилья.

На север — ровная, убегающая, не весть куда, вдаль, темнеющая полоса чернолесья, скрывающая горизонт... На западе никогда не видать вечерней зари заходящего солнца... На восток—неправильные фестоны леса, то низбегающие, то восходящие на слабо волнистой местности...

Только на юг выйдешь в открытое поле, чуть-чуть повышающееся к линии небосклона и зеленеющее лугами...

И нигде, насколько глаз видит и ухо слышит, никакого

признака бытия человека: ни дыма из трубы, ни лая собаки или отдаленного звона с высоты деревенской колокольни.

... Был колокол. Колокол был у нас на дворе дома лесничего, и звон колокольный был печален. Подвешенный на высоком столбе, этот колокол размеренным жалобным звоном словно кого-то хоронил, стонал, и звал своим стоном к дому того, кто отважился войти в лес и... заблудился в лесу дремучем.

И в открытом месте, на всем поле зрения, все было мертвенно-пустынно, лежало без человека: не видно было труда его... земля ростила траву; на лугах расцветали цветы, но никогда не желтела рожь, не белела гречиха.

„На сорок верст кругом живой души нет“,—говорила старая няня, Наталья Макарьевна, и говорила с тоской неудовлетворенной потребности в близости к людям, в соседстве и общении с ними.

Старая няня, быть может, и ошиблась насчет 40 верст, и 40 верст относились только к городу Мамадышам, в уезде которого лесничим служил отец и сторожил казенное добро—безбрежную лесную дачу.

Во всяком случае за все годы я не помню, чтобы кто-нибудь сторонний забрел в нашу лесную глушь. Приезжали к отцу только „объездчики“, „из леса“, с докладами о порубках.

Их я запомнила: они привозили зайцев, которых няня „вялила“ и „сушила“ на подволоке, а потом угощала нас лесным лакомством...

Странная, полная своеобразных эмоций, была эта жизнь,—жизнь молодой семьи лесничего,—одинокая и жуткая от близости леса и дальности людей, в доме, заброшенном на окраину многоверстной казенной рощи, которой заведывал отецъ.

„Дремучий лес“, был тут, сейчас за конюшней. Не было огорода, не было сада.

Двор, обнесенный сплошным тесовым забором, похожий на деревянный ящик, и дом, крепко сбитый из толстых бревен, без обшивки снаружи и штукатурки внутри,—все гово-

рило об одном: как бы отгородиться, как бы укрыться от опасного соседа с его „лихим“ человеком и „диким“ зверем.

„Одни-одинешеньки во всей округе! А в лесу разбойники... В лесу—беглые... В лесу—медведи“,—говорит няня; вторят крепостные девушки, Катерина и Дуняша; шепчет крепостная девочка, 9-ти летняя Параша; боится мать, — верю я...

Отец часто и подолгу отсутствует: объезжает казенную рощу. Когда он дома,—никто не боится: у отца в кабинете есть ружье,—все спокойны. Но когда отца нет, что делать? В доме одни женщины и дети. Темный, стихийный страх от мала до велика охватывает всех. Единственный представитель физической силы—крепостной повар, Прокофий; в случае „нападения“—все надежды на него.

Подавленный при дневном свете, страх из простой опасливости превращается в острую жуть, когда наступает темнота ранней ночи.

Мать—невообразимая трусиха и первая заводчица, заражающая своим настроением всех домашних. Прежде чем лечь в постель, часов в 9 вечера, она берет оплывающую сальную свечу (няня сама „лила“ их) и обходит темные неосвещенные комнаты в сопровождении служанок; освещает все углы и закоулки в боязливом ожидании: вот-вот откроет тут или „под лестницей“ спрятавшегося чужого человека; заглядывает под диван, под кровати,—особенно под кровати,—где всего легче может притаиться страшный „разбойник“ с большим „кухонным“ ножом в руке... Каждую минуту она готова шарахнуться и закричать „не своим голосом“ от ужасной встречи. С бессознательным эгоизмом Катерину мать кладет спать поперек двери своей спальни, чтобы „разбойник“ не мог войти, не разбудив спящей; Парашу, спавшую мертвым сном деревенской девочки, укладывали с той же целью на полу неподалеку от детской кроватки. Прокофий, как сильный и самый храбрый, спал для общего успокоения непробудным сном на ларе, в самом опасном пункте у—входной двери, запертой на ключ, на крючек и задвижку. „В лесу—разбойники...“ „В лесу—беглые“... „В лесу медведи“...

Да, медведи, и доказательство тому — большая бурая шкура с лапами у двухспальной кровати матери.

Я верю: ночью идет своя особая жизнь. Кошка, которую я тискала днем, может ночью отплатить мне. Может притти и, „вцепившись в горло“, задушить своими когтистыми лапками. И кукла, которой я совсем ненарочно оторвала руку и разбила голову, оживет и явится, чтобы сделать мне то, что я ей сделала... А медвежья шкура? Очень просто: она тоже может ожить—зашевелится... встанет на лапы... и... и...

„Скрипи... скрипи, липова нога“,—говорит медведь в сказке.
„Идет, нейдет—переваливает“,—рассказывает мамочка.

Отрубил мужик медведю ногу и отнес жене. Приставил медведь себе ногу деревянную... И пошел медведь к бабе в деревню.

„Скрипи, скрипи, липова нога!
По деревне все спят...
Одна баба не спит:
Мое мясо варит...
На моей шкуре сидит...
Мою шерстку прядет...
Приду... приду... съем!!“

Мать делает зверскую физиономию, страшно разевает рот и быстро закрывает его, щелкнув зубами...

... Смотришь при свете лампадки на шкуру медведя... Смотришь пристально, долго... и кажется... что-то меняется, и она... начинает... пошевеливаться...

А в лесу!... В лесу, конечно, медведи знают, что у нас в комнате медвежья шкура... Чуткие они—медведи-то. Чуют своего... чуют издалека. И тянет их, тянет к нам, к дому... Придут... придут съесть...

... Днем медведей из леса не боятся. Зато змей в нем видимо-невидимо! „Они и в дом заползают: их можно и в постельке найти“... „Ты хочешь спать лечь, — хвать, под одеялом-то—змея!“... Змея ли, ужли—упаси, Господи!

Однажды, когда я играла на дворе у качелей между двумя деревьями, на колени ко мне вполз уж.

Все, кто был тут, разбежались: они побежали молока

искать... потому что „если ужу да молока показать“ – он тотчас оставит человека и пойдет пить...

Пока бегали, а я, застыв от испуга, сидела недвижима,— уж сполз в траву: принесли молока на блюдечке, а ужа и след простыл...

„Упаси, Господи, в лес зайти!“—стращала няня, Макарьевна, и глаз не спускала, чтобы мы за ограду двора не выбежали... — „Упаси, Господи! Лес страшный, дремучий, конца края нет! Зайдешь — не выйдешь! Думаешь, по солнышку дорогу домой найдешь? Как бы не так—солнышка там и не видать... Думаешь, домой повернул, к дому идешь, ан все от дому, все от дому уходишь!.. Возьмешь вправо -- будто тут дорога-то... Нет! Возьмешь влево—все не так. Вот и кружишь, кружишь взад и вперед, туда, сюда, в сторону, пока сил лишишься. Ночь придет, зги не видать, а лес-то все гуще, гуще... деревья большущие, в три обхвата... Валежник, трущоба невылазная: о пни спотыкаешься, кусты царапают—не продерешься; колют сучья, по лицу хлещут... В самую, что ни на есть, глушь зайдешь... А там, в глуши-то, поляна и на поляне—разбойники... Шайка и атаман с ними... у костра лежат... грабленое делят...

... Или идешь, идешь... оторопь берет. Стал... прислушался... вдруг что-то хрустнуло,—медведь выходит... Встал на задние лапы да тебя и сгреб...“

. . . .

Только раз помню:

„Весь окутан листвой,
Изумрудной стеной,
Великан-лес стоял“...

Стоял без угроз, не пугающий... без „разбойников“ и „беглых“; без „медведя“ и „заблудившегося“, гибнущего в его дебрях... И это был *последний* день, когда я „дремучий“ лес видела—день, когда я „*прощалась*“ с ним [1]).

Параша ведет меня за руку вдоль извилистой, облитой летним солнцем, веселой опушки леса: он у нас слева. Мы идем лугом; трава высокая и цветы цветут. Высоко стоит

[1]) Перед нашим переездом в Тетюшский уезд.

солнце на небе, и, мне кажется, его бледную голубизну я вижу и теперь. Горячие лучи льются на деревья, на траву, и пекут мое, ничем неприкрытое, темя... Вот легкий спуск, и в лесной ложбине; точно в чайном блюдечке, перед нами круглый плоский естественный резервуар, и вода в нем неглубокая и прозрачная — на дне все мелкие камешки наперечет...

Стоим... Глядим... „Прощаемся“ Завтра мы едем: отца переводят в другой уезд.

И тут же я вижу смерть: в тени деревьев близь воды лежит красный теленок. Лежит и умирает. Подогнул ноги, положил морду на землю и не двигается. На глазах—пелена смерти... И муха опустила хоботок в каплю гноя в углу глаза.

3. Няня.

Оставив Мамадышский лес и переехав в Тетюшский уезд, мы поселились безвыездно в деревне. Сначала это было именье дедушки—Христофоровка, переданная матери, пока она воспитывала двух младших сестер своих. Когда они выросли, а дядя Петр Христофорович, бывший артиллерийским офицером, вышел в отставку, чтобы жить в деревне и служить по земским выборам, — мать передала им Христофоровку, а мы переехали в село Никифорово, где матери досталась земля, составившая вместе с отцовскими прикупками 520 десятин. Здесь в неживописной ровной местности, с рекой в одной и маленьким лесом в двух верстах, стояли два флигеля с палисадником, в котором росла только сирень. Все приходилось устраивать наново; старый дедушкин дом перевезли из Христофоровки, а в разведенном саду пришлось ждать тени целую четверть века. В противоположность этому, в Христофоровке, где мы прожили более 4-х лет, был прекрасный старый сад. К культивированной части, занятой фруктовыми деревьями и ягодными кустами, примыкал парк, который заключал все, чего можно было желать: в нем были и крутые склоны и подъемы, тропинки и глубокие овраги, на дне которых били роднички; полузаросший пруд, светлые поляны с разбросанными кое-где молодыми березками, густые заросли

лесной чащи, где зрела костеника и рос красивый папортник, о котором говорили, что один раз в сто лет он цветет в ночь на Ивана Купалу. В парке, как в лесу, можно было найти все: ягоды, грибы, орехи, рябину и черемуху; для нас, детей, было полное раздолье. Вероятно, обстановка детства—сначала лес, а потом чудный сад и парк положили основу той потребности в общении с природой, которая во всей свежести живет во мне и до сих пор. В Христофоровском парке было столько интересного, увлекательного, а наша собственная детская компания была настолько велика, что мы не нуждались ни в поездках куда-либо, ни в обществе других детей. И как в „лесу", мы, по необходимости, жили изолированной самодовлеющей ячейкой, так и в Христофоровке не имели сношений ни с соседями, которых не было, ни с крестьянским населением деревни – дворов в 20 — смежной с усадьбой.

Облик няни, имевший громадное значение в нашем детстве, смутный в „Лесу", с переездом в Христофоровку приобретает определенные черты. Няня, как я ее помню, была уже стара. „Седьмой десяток идет" — отвечает бывало, когда ее спросишь о летах. И этот 7-й десяток, кажется, был безконечен, потому что, сколько и когда бы ее ни спросили, вплоть до самой смерти, все ей был седьмой десяток: и когда я была маленькой, и когда выросла большой... вышла из института, вышла замуж,—няня все твердила: „седьмой десяток". И так как ей, кажется, не было причин скрывать свои годы, то справедливость заставляет думать, что она искренно забыла свой возраст или сбилась со счету.

Во всяком случае, няня была еще чрезвычайно бодрая, деятельная старушка и, не покладая рук, работала на господ: варила варенье, маринады, пастилу, брагу; заготовляла наливки и всевозможные запасы фруктов, ягод и грибов на зиму; плела на коклюшках прекрасное кружево и вязала тончайшие, все в узорах, чулочки, которыми не побрезговала бы любая красавица.

Как сейчас помню ее небольшую, с чулком в руках, немного сгорбленную фигуру, с маленькими светло-голубыми глазами и крупным носом, на котором восседают преболь-

тие и пребезобразные, древние, как и она сама, очки в медной оправе.

Когда в России пошла „цивилизация“, (а она пошла со времени освобождения крестьян), и расползлась повсюду, то мы как-то миром-собором уговорили няню сняться в фотографии. Няня любила старые времена и относилась отрицательно ко всем новшествам, видя в них дьявольское навождение и признаки близости светопреставления.

Много нужно было хлопот и упрашиваний, чтобы затащить ее к фотографу. Там, в решительную минуту, от страха и смущения, она так выпучила глаза и сжала губы, что на ее портрет нельзя было смотреть без смеха.

Да, надо сказать правду—няня не была красива, но сама-то она была другого мнения на этот счет, по крайней мере, относительно прошлого.... Когда мы подросли, то иногда задавали ей довольно нескромный вопрос: „няня! почему ты не вышла замуж?“ Няня как-то загадачно смотрела вдаль и, помолчав с минуту, отвечала ничего незначащим: „Так“! А затем, внезапно оживляясь, и как бы боясь, чтобы мы не приписали ее девичества ненадлежащей причине, прибавляла: „а красавицей была: глаза голубые... волосы черные, как смоль, кудрями вились по сю пору“—и она указывала на место, где под кофточкой должна была находиться ее талия,— „а грудь во какая“!..– и она отставляла руку на поларшина от своей высохшей груди. Этот последний наивный аргумент был столь убедителен, что мы приветствовали его дружным взрывом хохота, а няня, глянув на нас, бросала полусердитое: „Озорники“, и углублялась в чулок. Но, как бы там ни было в прошлом—мы, дети, и в настоящем не променяли бы ее ни на какую писаную красавицу.

Какое удовольствие, бывало, усевшись бесцеремонно к ней на колени, шлепать детскими ручонками по ее шее, или, охватив голову, осыпать постепенно поцелуями все это старческое лицо: низкий лоб, морщинистые щеки и маленькие выцветшие глаза!..

К тому же у няни был такой славный, мелодичный голос! Она никогда не пела... по крайней мере, я не помню этого. Она только рассказывала сказки рассказывала. Да и

сказок-то она знала немного. Если сказать всю правду, то всего, кажется, одну единственную: по крайней мере, я только одну и помню: злая мачеха-царица превращает нелюбимого пасынка в козленка... отец не зная этого, велит заколоть козленка для пиршества... но Аленушка, сестра царевича, спасает брата, разрушая чары мачехи в самую решительную минуту, когда:

„Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные“.

Ах, как хорошо рассказывала няня эту сказку! Удивительно хорошо! Никогда, бывало, не устанешь слушать ее. Должно быть, именно ради мелодии этого старческого речитатива, звучавшего какой-то необыкновенной искренностью и наивностью, любили мы слушать ее.

А еще няня любила поговорить о разбойниках, о беглых, о злодействах известного Быкова, о кладах, которых видимо-невидимо кругом, под землей. Беглые и клады были положительно слабостью няни. В каждом лесочке, в каждом овраге чудились ей их скрытые убежища и местонахождение.

Но разве одни рассказы привлекали нас к няне? У нее всегда был лакомый кусок для нас: всякие сласти, заповедные баночки с груздочками, рыжиками и вареньем; всегда кипел самоварчик, и была мята и малина, чтобы напоить, если головка болит или глазки невеселые... Был, наконец, заветный желтый сундук, предмет всех детских вожделений... Там, в этом сундуке, который раскрывался в особенно добрые минуты,—на крышке виднелись налепленые картинки с конфект, которые мы великодушно дарили няне, съев содержимое, и теперь имели вновь прелесть новизны для нас... В сундуке, как у прохожего венгерца, лежали накопленные десятками лет различные материи, шерстяные и ситцевые, с цветочками и без цветочков, подаренные дедушкой, мамочкой, дядей, и историю которых мы охотно выслушивали. Там же хранились разные табакерки, коробочки и прочая дребедень, которую дети так любят рассматривать, дай только волю их рукам и не стесняй любознательности.

Но все это пустяки, а дело-то в том, что няня в пер-

вые десять лет нашей жизни была единственным существом, с которым мы чувствовали себя свободно и которое не ломало нас; она одна, как умела и как могла, любила и ласкала нас, и ее одну мы могли любить и ласкать без стеснения.

В семье нас держали строго, очень строго: отец был вспыльчив, суров и деспотичен... Мать—добра, кротка, но безвластна. Ни ласкать, ни баловать, ни даже защитить перед отцом она нас не могла и не смела, а безусловное повиновение и подавляющая дисциплина были девизом отца. Откуда он набрался военного духа—право, не знаю. Быть может, сам воспитывался так или эпоха Николаевщины наложила свою печать на его личность и взгляды на воспитание—только трудно нам было. Вставай и ложись спать в определенный час; одевайся всегда в одно и то же, как бы форменное, платье; причесывайся так-то... не забывай оффициально здравствоваться и прощаться с отцом и матерью, крестись и благодари их после каждого приема пищи; не разговаривай во время еды и жди за столом своей очереди после взрослых; никогда ничего не проси, не требуй ни прибавки, ни убавки и не отказывайся ни от чего, что тебе дают; доедай всякое кушанье без остатка, если даже оно тебе противно; если тебя тошнит от него—все равно—ешь, не привередничай, приучайся с детства быть неприхотливым. Довольствуйся молоком вместо чая и черным хлебом вместо белого, чтоб не изнежить желудка; без жалоб переноси холод... Не бери ничего без спроса и в особенности не трогай никаких отцовских вещей; если сломал, разбил или даже не на то место положил—гроза на весь дом и наказание: угол, дерка за уши или порка ременной плетью о трех концах, всегда висящей наготове в кабинете отца. Наказывал же отец жестоко, беспощадно. Весь дом ходил, как потерянный, после экзекуций над моими братьями. Никакая малость не проходила даром: был заведен порядок ничего не скрывать от отца—от нас требовали всегда безукоризненной правдивости, и мать показывала пример: сердце ее обливалось кровью, зная последствия наших проступков, но ни одна черта нашего поведения не утаивалась от строгости

отца. А эта строгость распространялась даже на неосторожность с огнем и кипятком: если жгли руки, обваривались кипятком, падали и получали повреждения при детских проказах и затеях, к естественному наказанию—боли,—прибавлялись нравственные и физические истязания от отца. Правда, девочек он не бил; не бил после того, как меня, шестилетнего ребенка, за каприз в бурю, при переезде через Волгу на пароме, чуть не искалечил. Но от этого не было легче: мы боялись его пуще огня: одного его взгляда, холодного, пронизывающего, было достаточно, чтоб привести нас в трепет, в тот нравственный ужас, когда всякое физическое наказание от более добродушного человека было бы, кажется, легче перенести, чем эту безмолвную кару глазами.

И среди этой убийственной атмосферы казармы и бездушия единственной светлой точкой, одной отрадой и утешением была няня. Вне ее не было ни свободы, ни признания личности в ребенке, как будущем человеке, ни понимания детского характера, детских потребностей... Ни малейшего снисхождения к детским слабостям—одна беспощадность и плеть... Только в комнате няни, куда отец никогда не заходил, только с ней одной, чувствовали мы себя самими собой: людьми, детьми и даже господами и притом любимыми, балованными детьми и господами. Это был своего рода храм убежище, где униженный и оскорбленный мог отдохнуть душой. Здесь можно было излить все детские горести и обиды, найти ласку и сочувствие. Зарывшись в нянины колени, выплакать горе и осушить слезы ее поцелуями. Добрая душа! Как бы без нее мы жили! Это был целый мир теплоты и нежности, непринужденной веселости, любви и преданности.

И, как подумаешь, что эта привязанность и нежная отзывчивость изливалась в течение многих и многих лет и не на одно, а на целые три детские поколения—невольно остановишься с благоговением. Да! Целых три поколения!.. Девочкой лет 6 взяли ее к дедушке, Христофору Петровичу Куприянову, не столько, чтоб смотреть, сколько, чтоб играть с ним: ему было года 3 или 4. Вырос дедушка—выросла и няня; его отдали в ученье, а ее—в девичью учиться всяким рукодельям и домашним искусствам. Когда дедушка женился

на бабушке—няню отдали молодым. Родилась мамочка, родился брат ее и три сестры. Всех их вынянчила няня. Выросла мамочка и вышла за папочку—няню отдали им. Родился брат Саша... родилась я и еще шесть человек—всех восьмерых няньчила няня и могла бы няньчить и моих детей!...

Ну, не почтенная ли древность?! И няня знала себе цену: она была чрезвычайно чувствительна к тому, что ей казалось уважением и почетом. Неудовольствие, косой взгляд, простая забывчивость со стороны матери или кого-нибудь из взрослых—переворачивали ее вверх дном. Она начинала плакать и плакала до тех пор, пока мы не забивали тревогу. Затем начинались сборы: няня приводила в порядок свои пожитки и говорила, что уезжает „за Волгу". Что такое было там, „за Волгой", право, не знаю. В уме няни это, очевидно, был не географический термин, не громадный район, а определенный маленький пункт, одной ей известный, и где, по ее словам, были ее родные. Как он назывался, и были ли вообще у нее родные—никто не знал, а она подробностей не сообщала. Критическое изследование, быть может, привело бы к тому, что все это было нечто в роде мифического буки, про которого детям говорят: „смотри! придет, придет бука... съест"! Но нам-то было страшно: мы отправлялись к матери с мольбами помириться с няней и дать ей удовлетворение. Мать шла и дело улаживалось.

Вообще, когда мы подросли и я с сестрой были уже в институте, няня из покровительницы мало-по-малу перешла под покров наш. Обстоятельства изменились, а вместе с тем и роли: отец, под влиянием „реформы", смягчился. Быть может, великое общественное движение, уравнивавшее раба с господином и ломавшее все нравственные и экономические отношения старого строя, пробудило лучшие стороны его натуры, и она была еще настолько пластична, чтоб дозволить ему пойти по новому направлению,—во всяком случае нравственный переворот в отце был глубокий: из крепостника, каким он являлся по отношению к прислуге, к матери и к нам, он стал либералом и из человека необузданного—сдержанным. Конечно, эта перемена произошла не

в один день, не в один год; я не могу указать точно времени перелома. Новые веяния доходили постепенно, влияния были незаметные. В провинции они шли главным образом через литературу, а мой отец читал много. К тому же мать, бывшая на 15 лет моложе и вышедшая замуж совсем неразвитым, по уму и характеру, ребенком, к этому времени — медленным житейским путем саморазвития и чтения — окрепла нравственно, выросла умственно и могла уже не подчиняться, а сама влиять на отца. И это влияние было благотворно. Тогда-то мы, дети, сблизились с нею и в самую серьезную эпоху нашего развития шли под ее руководством.

Тогда и няня стала не нужна. Но мы любили ее горячо, любили и за прошлое, и за настоящее, потому, что теперь мы сами могли иногда и побаловать, и защитить ее. Мы зорко следили, чтоб у няни было всего вдостоль, чтоб за обедом ей был послан хороший кусок, чтоб не забыли пирожного. Мы возмущались, что она получает всего $^1/_4$ ф. чаю и $^3/_4$ ф. сахару в месяц и так как не могли добиться прибавки, то опустошали в ее пользу материнскую сахарницу. Посылали ли нас в кладовую, мы нагружали для няни карманы урюком, изюмом, миндальными орехами, а няня, считая, что господское добро пойдет господам же, то есть нам же при случае, только в претвореном виде, и, правильно полагая, что у самих себя похитить нельзя, охотно принимала эти приношения. Няня получала полтора рубля или, по ее счету, три рубля ассигнациями в месяц... Полтора рубля! — это ни на что ни похоже! Но тут уж ничего не поделаешь... Мать неумолима, а у нас самих было только по четыре рубля в год: по рублю к рождеству, к пасхе, к именинам и рожденью. Папочка, вообще щедрый и подчас расточительный, кажется, считал нужным, чтобы мы учились, что денежка счет любит....

Так-то мы росли, да росли, и не переставали любить няню. Да что мы! мы были все-таки молодежь, дети... а ей оказывал почтение и дядюшка, ее прежний питомец, мировой судья и земский деятель. Каждый раз, когда дядя был у нас, перед отъездом он говорил: „надо сходить к няне“, и поднимался наверх, поскрипывая сапогами, которые пи-

щали под его тучным телом. Дядя входил в нянину комнату, здоровался и, грузно опускаясь на желтый сундук, начинал разговор о погоде, об урожае и о ломоте, которой страдала няня; а не то о новых временах, чтоб подзадорить ее к едкой критике „карнолинов“ и прочих мод или к выражению негодования, что теперь и горничные держат себя так, что „веретеном—хвост“. Затем дядя говорил: „А нельзя ли, Наталья Макарьевна, табачку понюхать?“

Ничем нельзя было больше угодить няне; ее лицо светлело, она вынимала из кармана серебряную табакерку, подарок дедушки, и, ударив двумя пальцами по крышке, подносила ее дяде, а тот, взяв крохотную щепотку, с серьезным видом важного дела начинал вдыхать табак то правой, то левой ноздрей, а затем раздавалось богатырское „а ..а.. ччхи!!“. Несколько рук со смехом протягивались затем к табакерке; мы брали по понюшке и тогда поднималось такое радостное и разнообразное „ччхи“... „ччхи“, что, как говорится, стены дрожали... Дядя, подняв брови, смотрел поверх очков с комически-удивленным видом на племяниников, а няня, засланивая табакерку, прятала ее в карман, произнося не то ласково, не то с укором: „озорники!“ после чего дядя прощался и церемониальным маршем все спускались вниз.

Через год после моего выпуска из института, умер отец, и мать переехала в губернский город, где был куплен дом. Няня уехала со всеми и жила на прежних основаниях, ежегодно приезжая на лето в деревню. Потом, когда я с сестрой отправилась учиться за границу, а братья должны были поступить в высшие учебные заведения,—вместе с ними перебралась в Петербург и мать. Но няню оставили в деревне, под предлогом смотреть за хозяйством, на самом же деле по денежным рассчетам, не находя возможным дать ей в Петербурге прежние удобства и возить ее каждое лето в деревню и обратно.

Осталась няня в деревне и затосковала. Обидно да и скучно было ей: ведь любила же она, всех нас и целую долгую жизнь провела неразлучно. А тут одиночество... И погибла няня. Быть может, уж пора было ей сложить свои косточки; а может быть, погибла она как погибает старый,

хрупкий мох, который живет, пока лепится на стене, хотя она совсем голая и как будто ничего не дает ему,—а отколупнешь его—посохнет мох и умрет.

Осталась няня жить во флигеле с семьей прикащика. Прикащик был отличный человек из бывших крепостных моего дедушки и жена его тоже бывшая крепостная. Семья у них была большая, и няня считалась их родственницей, потому ли, что крестила детей у них („крестная“—почтенное и близкое родство в глазах людей, более простодушных, чем мы), или потому, что все они были крепостными одного барина. В первую же зиму няня простудилась, схватила горячку или воспаление какое-то. Лечили ли ее—не знаю. Верно, нет! Где там, в деревне, докторов звать: ближе 20 верст и фельдшера-то нет! Заболела няня, а на душе у нее была одна мысль о нас. В бреду она вскакивала с постели, радостно махала руками и с криком: „Господа приехали! господа приехали!“ рвалась в одной рубашке, с босыми ногами к выходной двери. Ее схватывали, укладывали; она сопротивлялась и кричала: „Что же вы не встречаете? что же вы не встречаете их?! Разве вы не слышите: чу! колокольчик... Приехали! Приехали“!.. и снова рвалась и металась. Так с этими словами: „Приехали! господа приехали!“ и умерла она.

Когда я возвратилась из-за границы, то съездила в деревню, чтоб повидаться с дядей, которого всегда любила, и посмотреть на родное пепелище. Я приехала с женой дяди и, пока она говорила с прикащиком о хозяйстве, обошла дом и сад. Все было пусто и уныло. Мышь пробежала торопливо по полу комнаты, в которой я присела на минуту; все углы были затканы паутиной. В саду пруд, по которому я из шалости и на зависть братьям и сестрам когда-то плавала в корыте, вооружась лопатой вместо весла, зарастал травой, и в нем пропала рыба: „за отсутствием ловцов“, как говорила мать. Тетка торопила отъездом, быть может, для того, чтоб сократить для меня тяжелое впечатление, которой всегда оставляет опустелый дом, который мы видели когда-то оживленным. Я попросила заехать на кладбище, которое было в сторону от дороги. Там я вышла из эки-

пажа, перепрыгнула канавку, отделяющую деревенский погост от луга, по которому иногда прогоняется стадо. Чугунная решетка и крест стояли на могиле отца, а рядом лежала тетка и тут же няня. Невысокая полевая трава покрывала могилу: две-три березки белели своими тонкими стволами и молодые блестящие листики трепетали в лучах заходящего солнца...

И из трех могил—самой дорогой была могила няни.

4. Я думаю сделаться царицей.

По словам отца, я росла очень красивым ребенком. Благодаря этому, в противоположность отцу и матери, которые относились ко всем детям одинаково, посторонние взрослые, поскольку они бывали в доме, особенное внимание обращали на меня: ласкали, делали маленькие подарки и забавлялись моей болтовней. Это общение со старшими способствовало раннему и более быстрому развитию, а иногда внушало мне такие представления о себе и об отношениях ко мне, которые говоря вообще, мало свойственны возрасту, в котором находилась я.

Когда из «Леса» мы ездили гостить в Мамадыши, у моей тетки со стороны отца, жившей там, целые дни проводил ее друг Андрей Андреевич Катков. Шутя и играя со мной, он часто называл меня своей женой, а я звала его муженьком. Потом, когда мы переехали в Тетюшский уезд и мне не было еще семи лет, от него пришло письмо, которое тетя прочла вслух. Андрей Андреевич писал, что женится. Услыхав это я почувствовала себя тяжко оскорбленной. Как он смел жениться, когда называл меня женой! Это была измена, кровная обида мне, которая считала его связанным со мною.

Я не расплакалась и не раскричалась: инстинкт подсказывал, что говорить об этом старшим, выказать пред всеми свое чувство—нельзя. Почему нельзя, — я не понимала, а просто чувствовала, что надо молчать, и молчала.

Нечто в том же роде случилось и позже, когда мне было девять лет.

В нашем доме появилась молодая девушка, сестра моей

матери — Елизавета Христофоровна, только что вышедшая тогда из Казанского института, и с тех пор к нам в гости стали наезжать офицеры полка, квартировавшего в Тетюшах. Один из них, Ергольский, бывая у нас, не мало времени посвящал мне, и я вообразила, что имею на него особые права. Однако, зоркие детские глаза скоро заметили, что еще большее внимание он оказывает моей молодой тетушке. Я стала ревновать, и выбрав минуту, когда мы остались наедине на террасе, выходившей в сад, я разразилась бурными упреками и сделала Ергольскому то, что называется сценой.

Любопытно, что он отнесся к этой вспышке совершенно серьезно и стал успокаивать меня вместо того, чтоб маленькую дурочку поднять насмех.

Если одни взрослые, а именно мужчины, своим неумеренным вниманием развивали во мне претензии женщины, другие безсознательно толкали в сторону погони за успехами в жизни.

В уезде, в пяти верстах от города, в прекрасном имении Людоговке, жили две старые светские дамы, всю жизнь проведшие в Петербурге и лишь на склоне лет поселившиеся в уездной глуши, где они развлекались и день, и ночь игрой в карты, на которую отовсюду съезжались гости, любившие посидеть за зеленым столом. Младшая из сестер, Наталья Григорьевна Цельшерт, знавшая, что меня думают отдать в Смольный институт в Петербурге, каждый раз при встрече усаживала меня рядом в кресло и начинала говорить об этом институте и будущих судьбах моих. „Смотри, учись, как можно лучше“, внушала она. „И *непременно* будь первой ученицей. Если будешь первой, — получишь золотой шифр на орденской ленте. В институт приезжают великие князья и сам царь. На тебя обратят внимание, и если тебе дадут шифр, то возьмут в придворные фрейлины. Ты будешь жить во дворце, танцовать на придворных балах“ и т. д.

До сих пор, кроме „Леса“ и деревни, я не видала ничего и слушала рассказы Цельшерт, как дети слушают сказки из „Тысячи и одной ночи“.

После этих разговоров я стала мечтать еще дальше.

В те годы мать, вообще, редко читала нам вслух. Но все же это случалось. Однажды из какой-то книжки исторического содержания она прочла нам рассказ из быта старинных московских государей (о Михаиле Федоровиче или Алексее Михайловиче,—уж не помню). Мать читала, что, когда наступала пора царю жениться, делался клич по всей земле русской, чтобы везли дворяне взрослых дочерей своих в Москву. Там, в Москве, при дворе, царь должен был сделать смотр всем съехавшимся девицам и выбрать из них себе в жены ту, которая покажется ему краше всех. Далее говорилось, какие интриги и козни плетутся вокруг этого выбора; как одной красавице, понравившейся молодому царю, с злым умыслом так туго заплели косу, что она упала в обморок и потому, как „порченая“, потеряла шансы сделаться царицей.

„Наверное, когда царь захочет жениться, повезут в Москву и меня“, размышляла я, не делая различия между временами прошедшими и настоящими. „И из всех девушек, быть может, царь выберет именно меня. Я буду царицей!... Тогда няня будет у меня ходить в серебре и золоте, а я—в бриллиантах и рубинах“.

Не знаю, что вышло бы, попади я в Смольный, который имел репутацию великосветского учебного заведения; но этого не случилось, а в Казанском Родионовском институте, как раз к тому времени, когда меня туда отдали, произошла в общем направлении воспитания счастливая перемена. И как-то сразу, без всяких внушений со стороны, в простой, почти монастырской обстановке этого института погасли детские фантазии о блеске двора и золоте короны.

Впрочем, совершенно особенным образом, жизнь впоследствии оправдала ребячьи ожидания, и я получила, правда, не царство, но все же „королевство“.

В Шлиссельбурге, в котором среди мужчин были только две женщины,—я и Волкенштейн,—товарищи, смягчая лаской нищету жизни, называли нас „королевами“. Но я носила не красную порфиру с белым горностаем, а серый халат с желтым тузом на спине.

5. Дома.

Если оставить в стороне только что указанные влияния, я была живой, способной девочкой, вострушкой, шалуньей и драчуньей, часто обижавшей ближайших по возрасту брата и сестру. Когда я вступала в отчаянную битву, меня оттаскивали и говорили: „Не дерись!“—„Хочу дериться!“—кричала я и в гневе „каталась по полу“, как выражалась няня о беспорядочных движениях, которые совершают в этих случаях капризные дети.

Понятно, это происходило не на глазах отца, а в няниной комнате.

Играть в куклы я не любила, а читать и писать научилась незаметно, играючи, не помню, когда именно. Знаю только, что в Христофоровке, стоя на стуле на коленях, чтоб достать до стола, я выводила большими печатными буквами послание, вероятно, первое в своей жизни, к тете, оставшейся в Мамадышах. Едва ли мне минуло тогда семь лет.

До поступления в институт мать, которой я так многим обязана, в позднейший период моего умственного роста,— мало времени посвящала нам, детям. Я думаю, это зависело от частой беременности, родов и кормления грудью. В самом деле, мне было 10 лет, когда родилась моя младшая сестра, Ольга, и за краткий десятилетний период это были шестые роды. Мудрено ли, что мы знали только дисциплину, налагаемую отцом; но она касалась внешней стороны жизни. Мы чувствовали ее всего сильнее при неизбежных общих встречах утром, вечером и за общим столом. В остальное время—до обнаружения крупных шалостей—мы предоставлялись самим себе. Или же мы видели на фоне домашней жизни странные фигуры, то появлявшиеся, то исчезавшие, но всегда чуждые нам. Сначала это был старик—немец Уферс, неизвестно зачем вывезенный из Мамадыш; потом—нелепая кампаньонка или экономка, всегда страдавшая флюсом и носившая неприятную фамилию Свиньиной. Наконец, чтоб учить чистописанию, был приглашен Автоном Яковлевич, старик, бывший крепостной дедушки, живший в Христофоровке у своих родных, от которых отличался только одеждой. Нелю-

бимые нами, Свиньина и Автоном Яковлевич, не мало терпели от всех нас, в особенности от необузданного шалуна-брата Николая, который звал старика не иначе, как Автомат Яковлевич, и выводил его из себя, беспрестанно повторяя привычное междометие учителя: „Фу! бог мой!“

Таким образом родители оставались для нас далекими и не искали сближения с нами: в наших отношениях не было интимности, которая так красит детство. Она выпала только на долю Ольги, которой было 8 лет, когда умер отец.

Но мать мы любили. Я и сестра постоянно соперничали из за мест подле нее. Особенно любили мы в отсутствии отца, уезжавшего по делам службы в уезд, спать с матерью на широкой двуспальной деревянной кровати времен дедушки. Заберешься, бывало, под теплое стеганое одеяло, скакнув на кровать с медвежьей шкуры, разосланной на полу, и чувствуешь себя так тепло и уютно. В углу маминой спальни стоит желтый деревянный киот, уставленный образами. Тут: Христос и Николай угодник, Сергий чудотворец и другие святые в серебряных и позолоченных ризах, и Матерь Божия в жемчугах. Перед киотом с потолка свешивается лампадка и маленький огонек, полуосвещая комнату, действует как-то ласково-успокоительно. Лежишь, а мать еще не легла: она стоит и молится перед киотом. Вот опустилась на колени и с глазами, обращенными на иконы, молится горячо, почти страстно, шепча какие-то неуловимые слова мольбы-молитвы...

О чем могла так долго и горячо молиться мать в то отдаленное время? Ее жизнь текла ровно, без великих радостей и потрясающих огорчений. В деревенской глуши не было встреч, соблазнов и искушений; не могло быть никаких увлечений. Жизнь, в особенности жизнь женщины в провинции, была заключена в узкие рамки мелких интересов и выхода из этих рамок, казалось, нет. Да и душа человеческая в те времена была не такая сложная, утонченная в своих переживаниях и стремлениях, не такая требовательная, дерзающая, всегда устремленная вдаль, какой сделалась потом.

И, глядя на милую фигуру, уста которой возносят к небу таинственный шепот, засыпаешь, унося в грезу трогательный образ молящейся.

6. Уроки.

Из моральных уроков, преподанных матерью, я помню, кроме постоянного требования говорить правду, одни сумерки, когда мать как-то необычно созвала нас всех в одну комнату и проникновенным голосом сказала: „Слушайте: сегодня к нам привезут девочку, которая останется у нас жить. Эта девочка очень несчастна: все вы бегаете, а у нее после горячки отнялись ноги — она не может ходить, как другие дети, а только ползает. Смотрите! не вздумайте смеяться над ней; вы сами увидите, какая она добрая и умная“.

Это была наша двоюродная сестра, на всю жизнь оставшаяся калекой.

Незадолго до этого со мной произошел случай, навсегда оставивший тяжелый след в душе. Я назову его—историей сломанного замкá.

В просторной низкой комнате, которая с дедушкиных времен называлась „девичьей“, потому что в ней вышивали в пяльцах крепостные девушки, стоял большой, окованный железом, сундук, всегда запертый на замок. В нем хранились мало употребляемые вещи: старинное столовое белье, узорчатые чулки — изделье няни; свертки шелковой и шерстяной ткани, ждущей своей очереди, серебро и т. д. Однажды мать отперла сундук и принялась разбираться в нем. Я и сестра вертелись подле, заглядывая во все углы, потрогивая кружево и ленты, любуясь серебряными солонками и бокалами. Но более всего нас заинтересовал висячий замок от сундука. Он был американской системы, сделан из латуни и имел форму льва,—настоящего льва с хвостом и гривой, и запирался пластинкой с выемками. Лев переходил у нас из рук в руки: так хорошо было запирать и отпирать его! В конце-концов, когда мать стала запирать сундук,—ключ, оказалось, не действует.

„Кто сломал замок?“ спросила мать. — Не я... Не я!... в один голос уверяла каждая из нас. „Но кто-нибудь да испортил его?“ настаивала мать.—„У Лиденьки, последней, замок был в руках“, сказала я.

Не рассуждая долго, мать схватила Лиденьку и отшле-

пала. Та, конечно, подняла вой, а мне стало стыдно; нисколько не жаль, но именно стыдно, по настоящему стыдно: ведь может быть я была виновата; быть может,—я испортила льва, а вина пала на сестру, и все потому, что я сказала—у нее, последней, замок был в руках...

Вероятно, сестра и не помнила этого темного дела, давно забыла о нем—ведь мы были малютками пяти и семи лет,—но я этот стыд, *первый* стыд в жизни, не могла забыть: он дал мне урок на всю жизнь. *Этот урок учил—вину брать на себя.*

7. Крепостное право.

Крепостное право и отмена его не могли быть осмыслены и дать мне много впечатлений в условиях, в которых протекло мое детство. Они отражались главным образом в области семейных отношений: в деспотическом строе домашней жизни сначала и в изменении характера и поведения отца в последующий пориод.

Шесть лет в „Лесу“ ставили нас совершенно вне помещичьего и крестьянского быта, а Христофоровка с ее 20 дворами, хотя и была населена крепостными дедушки, не давала решительно никакого материала для суждения об отношениях между крестьянами и помещиком... Я ничего не слыхала о барщине, не была свидетельницей каких-нибудь притеснений и не слыхала жалоб. Никаких отношений между земле-душевладельцем и его крепостными в моем поле зрения не было. Единственные крепостные, которых я знала, были домашние слуги. В отношении их мать всегда была ласкова и снисходительна: у нее был прекрасный ровный характер; терпеливая и гуманная, она всегда пользовалась любовью окружающих. Что касается отца, он был вспыльчив, требователен и строг к прислуге, но таким же суровым он был и по отношению к нам. Случалось, он кричал на кухарку, когда в миску с супом попадала муха или горячился из-за плохо выпеченного белого хлеба. При таких вспышках мать обыкновенно молчала и сидела, потупившись: никогда в нашем присутствии она не останавливала отца, не вступала в пререкания с ним, как никогда при нас у них не

было ссор между собою. Но если отец бушевал, а мать молчала, мы без слов понимали, что ее молчание есть порицание, и всегда были согласны с ней.

Из крепостных отношений помню лишь один серьезный случай в „Лесу“: все домашние, начиная с матери и няни и до крепостной девочки Параши, ходили в каком-то тревожном, напряженном настроении. Отца дома не было и его приезда ждали с безпокойством. Все перешептывались и детское ухо уловило: „Прокофия будут драть на конюшне“. За что,—не говорили или я не помню. Быть может, это был тот случай, когда Прокофий исчез из дому и пропадал три дня. Напрасно колокол на дворе уныло и протяжно звонил, призывая его к дому. Говорили, что он заблудился в лесу и домой его привела корова, которая тоже заблудилась, но по инстинкту нашла дорогу. Так ли это или не так, и не сделал ли он неудачной попытки бежать, чтоб стать вольным человеком, и вернулся, — не знаю. Как не помню, чем кончилось эта несчастная история. Быть может, позорной экзекуции и не было, потому что невероятно, чтоб я отчетливо помнила жуткое настроение, царившее в доме в ожидании грозы, и забыла самый факт, если он произошел. Не удалось ли матери беседой наедине смягчить гнев отца?

Отмена крепостного права ознаменовалась в доме тем, что к большому огорчению матери обе ее горничные, много лет жившие с нами, Дуняша и Катя, не захотели дальше служить и пожелали вернуться в свои семьи, в Христофоровку, где вскоре вышли замуж. Параша, как сирота, осталась у нас, а няня была отпущена на волю давным давно, еще дедушкой, и была связана с нами лишь любовью.

Великий переворот в жизни народа со всеми его моральными и экономическими последствиями не мог быть понят таким ребенком, каким меня застало 19 февраля 61-го года, а в институте не раздавалось за все время ни слова ни о крепостном праве и освобождении крестьян, ни о наделах и выкупе земли.

На вакатах я часто видала толпы мужиков в корридоре нашего дома и в кабинете отца; часто слышала громовой голос его, когда в качестве мирового посредника он вер-

шил какие-то дела с крестьянами. Но какие, — я не спрашивала, не интересовалась: в деревне было столько соблазнов — книги, общенье с матерью, поездки в лес, купанье, рыбная ловля... Ведь отпускали нас всего на шесть недель в году, и недели летели так быстро, что не успеешь оглянуться, как уже везут обратно в институт.

А отец за обедом и при семейных встречах в летние вечера не любил говорить о том, что было связано с его общественной службой. Только раз, когда я уже подросла, отец, в период увлечения личностью Гарибальди и статьями публициста Демерта, удивил меня памятными словами: „Еслиб крестьяне не были освобождены и восстали — я встал бы во главе их“.

Тогда я совершенно не понимала, к чему эта фраза обязывала того, кто сказал ее, да и он сам едва ли сознавал это.

Во всяком случае, как мировой посредник, отец, как я узнала впоследствии от посторонних лиц, честно относился к интересам крестьян и всячески отговаривал их от невыгодных сделок, вроде выхода на даровой „нищенский“ надел. Несмотря на это, Христофоровка, в которой мы жили, прельстилась даровщиной, в чем после горько каялась. По этому поводу отец с раздражением говорил о „смутьянах“ которые внушают народу, что „воля“, объявленная манифестом, не настоящая „воля“, и будет другая, когда *вся* земля помещиков без всякого выкупа перейдет к крестьянам. Эти толки, по словам отца, вредили насущным интересам крестьян при расторжении их отношений с помещиками и замедляли ход земельной реформы, как она была предначерчена манифестом 19-го февраля.

8. Елизавета Васильевна.

Говоря о детстве, нельзя не рассказать об одном чисто отрицательном типе, встречи с которыми учили, как *не* надо вести себя в обыденной жизни.

Шекспир в комедии „Укрощение строптивой“ дал карикатуру женщины-капризницы. Наша дальняя родственница,

Елизавета Васильевна Бажанова, могла бы послужить темой для подобной же комедии, как живая каррикатура последовательной, беспримесной эгоистки. Она жила в Казани вместе со своей старой матерью на пенсию, которую та получала, как вдова профессора. Пенсия была маленькая; чтоб жить, к ней надо было прирабатывать, и старая женщина давала уроки музыки и вязала на продажу чулки и кружево. Дочь же читала романы и играла по целым дням на рояли, так как любила музыку и была отличной пианисткой. Напрасно моя мать и все знакомые советывали ей взять учениц, чтоб облегчить мать, и сулили ей хороший заработок. Нет! она ни за что не будет заниматься уроками, „потому что это унижает искусство", говорила она.

Бажановы занимали квартиру в две комнаты и обе захватила Елизавета Васильевна, а свою мать поместила в передней, поставив для нее кровать за ширмами. Как пенсию, так и весь зароботок матери она брала в свое полное распоряжение, и все, что бывало в хозяйстве послаще и повкуснее, поглощала сама. Помню, как, будучи у них в первый раз, я была поражена, что Елизавета Васильевна пьет чай со сливками и *не дает* их старухе-матери.

Во время эпидемии, когда старая-престарая прислуга их заболела холерой, Елизавета Васильевна,—как рассказывала нам наша мама,—не обращая внимания на больную, с утра ушла по своим делам из дому, заперев кухарку одну в квартире. Вечером, когда она вернулась, та была уже в агонии, и Елизавета Васильевна, наняв извозчика и посадив больную себе в ноги, свезла ее в больницу, где та и умерла.

И эту ужасную женщину мать приглашала летом гостить к нам. Тут, во-очию, каждый день мы видели ее бесцеремонный эгоизм и от всей души возненавидели непримиримой детской ненавистью. Ее лицо было довольно красиво, но эта ровесница матери по годам была настоящей великаншей— самой высокой женщиной во всей Казани; очень толстая, она весила ни больше, ни меньше, как восемь пудов. Уж одно ее большое жирное тело отталкивало нас. Соответственно росту и дородству, Елизавета Васильевна обладала громовым голосом и злоупотребляла им, не щядя ушей ближних. В Хри-

стофоровке, а позднее в Никифорове, она гремела по всему дому, никогда не справлялась, не спит ли кто и не беспокоит ли она кого-нибудь. При приезде происходил шумный выбор самой удобной и спокойной комнаты; затем захватывалось самое мягкое кресло и прохладное место у окна в зале; за столом Елизавета Васильевна, как коршун, опускала вилку на самый большой и лакомый кусок, облюбованный на блюде, а при увеселительных поездках занимала самое удобное и притом такое большое место, что на нем легко поместились бы двое. Шалуны-братья, в особенности Коля, находили необыкновенное удовольствие в том, чтоб делать Елизавете Васильевне мелкие неприятности: они усаживались на ее любимое кресло или, как только лошади подъезжали к крыльцу, летели со всех ног, бросаясь к „долгушке", чтоб не дать великанше сесть там, где ей нравилось. Тогда поднимался крик: „Катенька! А Катенька!" звала она мамочку к себе на помощь. Мать являлась и с обычной кротостью водворяла порядок, прогоняя дерзких мальчишек.

За столом отец обыкновенно поддразнивал Елизавету Васильевну разными шутками, вызывая на высказыванье ея взглядов на людей и на жизнь. Она легко поддавалась и разражалась парадоксами и пессимистическими резкостями, которые по своей каррикатурности заставляли смеяться взрослых, а затем и нас. В общем, ее отношение к людям и обращение составляли такую противоположность всему поведению нашей деликатной матери, что и без ее тихой улыбки при эгоистических выходках Елизаветы Васильевны,—улыбки, значение которой мы прекрасно понимали, мы получали наглядный урок, как *не надо* поступать в повседневной жизни. С этой стороны ее приезды, хотя и неприятные для нас, были полезны, и некоторые анекдотические эпизоды ее грубости нередко вспоминались впоследствии, когда в семейном кругу мы говорили о детских годах.

Так, нельзя было без смеха вспомнить, как однажды она осадила невинную детскую просьбу брата. В главе „Няня" рассказано, какому спартанскому режиму подвергал нас отец, не позволяя, например, давать нам белого хлеба. Случилось, однако, что раз, в отсутствии отца и матери, когда мы оста-

вались одни с Елизаветой Васильевной, за чаем она дала нам по сдобному сухарю. „Ma tante“, сказал брат Петр, съев свой сухарь, „Donnez moi encore des biscuits“.—Ишь! как расбисквитился!—загремела наша опекунша.—А не хочешь ли черненького хлебца!... И сухаря, конечно, не дала.

Много лет спустя, когда братья преуспели на жизненном поприще и могли широко удовлетворять свои аппетиты, это классическое: „Ишь! как расбисквитился“ нераз фигурировало в их доме за богатой трапезой, когда некому уж было сделать окрика: „А не хочешь ли черненького хлебца!“

ГЛАВА ВТОРАЯ.

1. Гувернантки.

В 60-м году, когда мне стукнуло 8 лет, для нас, троих старших, пригласили гувернантку.

Мать ездила со мной в Свияжск, кажется, на богомолье, и там в семье родственников видела результаты педагогической деятельности Надежды Дмитриевны Русской, как звали мою будущую воспитательницу. Юленька, девочка на один год старше меня, играла на фортопиано, говорила по-французски и танцовала болеро и качучу. Чего же лучше? К неудовольствию родственников, Надежда Дмитриевна оставила их и переехала к нам в Христофоровку.

Ей было лет 26 или несколько больше. Белая, полная и румяная, она одевалась небрежно, носила стриженые волосы в кудряшках, хромала на одну ногу и не разлучалась с черным пуделем, которого, к негодованию няни, стригла, купала и расчесывала, немало отдавая времени этому псу. С нами, тремя старшими, она тотчас занялась тем же, чем занималась в Свияжске с Юлинькой: французским языком и танцами, а со мной — еще и музыкой. Танцы для меня и Лиденьки были довольно-таки мучительны: сначала мы изучали „позиции" и одолеть „первую" стоило много труда. Для нее Надежда Дмитриевна заказала даже особенные деревянные станки: они состояли из доски с выдолбленными на ней подошвами для ног и 2-х вертикальных стрежней, за которые надо было держаться руками. Не держась за эти палки, невозможно было устоять на ногах, так как требовалось поставить обе ступни в одну линию — пятка к пятке. Танцы все же пошли успешно и вскоре я, одетая в розовый шелковый сарафан и бархатный кокошник, а Лидия, переодетая мальчиком, могли,

в присутствии многочисленных гостей в Тетюшах, в доме дедушки, пожать лавры, отплясывая „русскую“.

Музыкой я занималась охотно, потому что вообще любила учиться, и аккуратно, не тяготясь, высиживала положенные два часа за гаммами. Но маленькие руки не могли взять октаву и, чтоб поскорей добиться этого, Надежда Дмитриевна ночью подходила к моей кровати со свечой, брала руку и растягивала мне пальцы. Конечно, я просыпалась, но, подчиняясь неизбежному, предпочитала представляться спящей и лежала неподвижно, закрыв глаза, чтоб „не разгулять сон“.

Гораздо хуже обстояло дело с французским языком. Едва заучили мы, трое, какой-нибудь десяток французских слов, как Надежда Дмитриевна потребовала, чтобы мы говорили между собой не иначе, как по французски, а за русский язык установила позорное наказание. Она вырезала из картона кусок в форме большого языка, оклеила его розовой бумагой и повесила на ленту. Тот, кто заговаривал по-русски получал на шею это украшение. Разумеется, носить его никому не было лестно, и мы старались больше молчать и со вниманием подкарауливали друг друга, чтоб, сбросив с себя, поскорее повесить „красный язык“ на соседа.

По части наказаний Надежда Дмитриевна была довольно изобретательна. Так, за рассеяность, незнание урока или за шалость она надевала на виновного „дурацкий колпак“. Этот ненавистный, высокий, остроконечный колпак она сделала из толстой синей бумаги, сняв ее с головы сахара. Можно себе представить, какое отношение к себе возбуждала эта воспитательница такой системой наказания: мы не терпели ее, и няня вполне разделяля нашу ненависть. Няня-то и избавила нас от Надежды Дмитриевны, потому что сами мы не посмели бы протестовать. Удивительно, что за целый год ни мать, ни отец не заглянули в классную, не спросили нас, как идет ученье; понятно, ни разу не видали никого из нас с языком на шее или с колпаком на голове. Лично меня Надежда Дмитриевна щадила—я была старшая, хорошо училась, а главное — была козырем, когда надо было блеснуть успехами. Нередко я видела ее несправедливость по отно-

шению к сестре и брату, ее пристрастие ко мне, но отец и мать были так недоступны для детских излияний, что все приходилось таить в себе. Наконец, няня осмелилась и пожаловалась на „губернанку“ и мы избавились от нее, пробыв под ее управлением один год.

2. Тетя Лиза.

К этому времени вышла из института тетя Лиза, о которой я уже упоминаля, и я перешла под ее руководство. Тетя была типичная институтка старого времени: наивная, несколько восторженная и совершенно безъидейная. В институте она привыкла заниматься наружностью; во время занятий со мной она или сидела перед зеркалом, сооружая широкую, модную тогда, прическу из своих густых волос, или отделывала миндалевидные ноготки своих маленьких ручек, пользуясь целым набором пилочек, ножниц и других инструментов. Приезды офицеров и прогулки с ними, домашние спектакли и поездки в Тетюши на пикники немало отвлекали ее от занятий, а потом она стала невестой лесничего—Головни и для нас из Москвы выписали новую гувернантку. Это была молоденькая, легко красневшая девушка, только что выпущенная из московского Сиротского института—Вера Ивановна Малинина. Добрая и ласковая, она тотчас же приобрела общую любовь в доме и занималась с нами очень толково, так что хорошо подготовила меня к поступлению в Родионовский институт в Казани.

Меня приняли на казенный счет и по правилам я должна была начать с младшего—VII класса. Но мне было 11 лет и по своим знаниям я могла бы поступить в V. В виду этого было сделано исключение: меня приняли в VI класс, в котором сразу я заняла место первой ученицы и удерживала это место и в следующем V классе, где нового для меня ничего не было.

3. Институт.

Я поступила в институт в 1863 г. Разлука с родными, с деревней—это было уже Никифорово, к которому я еще

не привыкла—мне не была тягостна, и, попав в целый рой девочек, я быстро освоилась с новой средой и новым порядком дисциплинированной жизни.

Моими первыми классными дамами были: Марья Степановна Черняевская и М-lle Фурнье, совершенно не похожие друг на друга. Мария Степановна была прелестна. Некрасивая лицом, скроенным по-мужски, изуродованная большим горбом на спине, она была очаровательна в обращении; ее низкий грудной голос просился в душу, а ласковый взгляд серых глаз и улыбка сразу вызывали доверие. Она была молодая, румяная шатенка, довольно полная, имела пухлые теплые ручки и вся была какая-то мягкая и теплая: в ней было что-то материнское,—вероятно, это и влекло к ней всех нас. По характеру она не была рыхлой, бесцветной; за ее мягкостью чувствовалась и твердость, когда нужно было проявить ее—без этого она не пользовалась бы уважением, а мы не только любили, но и уважали ее. Этому способствовало и то, что она обладала знаниями, и в затруднительных случаях у нее всегда можно было найти нужную помощь. Классных дам, у которых в этом отношении не было отчетливости, в институте обыкновенно презирали.

Совершенно иной тип представляла из себя другая дама—Фурнье или Фурка, как в детской злобе мы звали ее между собой. Старая, высохшая дева, черноглазая, с желтым мертвенно-неподвижным лицом иностранного типа, она была противна со своими прилизанными начесами черных волос и ревматическими узловатыми пальцами некрасивых рук, всегда вымазанных иодом. И голос, соответственно фигуре этой мумии, был у нее сухой, лишенный гармоничности и интонаций. Казалось, не только тело, но и душа ее высохла и превратилась в пергамент. Кроме формализма от этой педантки мы ничего не видали и не могли ждать. В учебных занятиях помощи от нее мы не получали, но ущерб, и очень большой, она нам наносила, потому что все часы, свободные от уроков, заполняла французской диктовкой, в которой мы не видали никакого смысла.

4. Протест.

Как внешние, так и внутренние качества делали Фурнье для нас неприемлемой и, когда мы перешли в V-й класс, то стали думать, как бы от нее избавиться. Первая попытка в этом направлении была довольно наивного свойства. Кто-то из воспитанниц написал на классной доске лаконическое воззвание: „Просим вас оставить нас“. Мы надеялись, что Фурка обратит внимание на надпись, прочтет и поймет, к кому относится обращение. Но она и не подумала посмотреть на доску.

Тогда одна из девочек, Иконникова, написала ту же фразу на клочке бумаги и, поставив подпись: „Весь V-й класс“, положила на стол, у которого сидела Фурнье. Долгое время бумажка, обошедшая раньше все скамьи и нигде не встретившая протеста, оставалась незамеченной. Наконец, Фурнье увидала ее и прочла. „Что это значит?“—спросила она, поднимаясь с места. „Кто положил эту записку?“—раза два повторила она вопрос. Мы молчали. Тогда она вышла из класса с запиской в руках и отнесла ее начальнице.

Начальницей института была Сусанна Александровна Мертваго, старая, серьезная и добрая дама, ценившая в воспитанницах только ум и способности. При ней институтские нравы совершенно изменились: ложный светский блеск, господствовавший при ее предшественнице—М-ме Загоскиной, исчез. Та отличала хорошеньких, имела фавориток и держала салон, в котором ее любимицы из старших классов обучались на практике „хорошим манерам“ и светской болтовне. При Сусанне Александровне культ красоты и грации прекратился; институтки перестали заниматься наружностью и выходили из учебного заведения почти пуританками.

Сусанна Александровна вошла красная, с головой, трясущейся от волненья. „Кто написал и положил записку на стол?“—повторила она вопрос Фурнье. Но мы продолжали упорно молчать. „Чем же вы недовольны?“—спросила она наконец. Мы, 12-тилетние девочки, не знали, что сказать, не умели формулировать то гнетущее настроение, которое вызывала сухость Фурнье, и едва могли пролепетать, что

Фурнье мучает нас диктантом. „Кто же написал записку?“ — продолжала настаивать Мертваго.

Мы не сговорились, как вести себя. Все произошло экспромтом и теперь мы осрамились. В задних рядах сгрудившейся толпы произошло замешательство: послышался шопот: „Скажи!... скажи!...“ Иконникова выступила вперед и заявила, что записку написала и положила она. „Пойдем“,- сказала Сусанна Александровна и увела ее с собой.

Что будет?! перепугались мы. Иконникову исключат!— было общей мыслью, и было стыдно, что пострадает одна она.

Однако, дело кончилось благополучно. Иконникову, которая, говоря вообще, ничем не выдавалась и училась плохо, продержали в больнице три дня и затем, к облегчению нашей совести, вернули в класс. Но за поведение ей поставили ноль, а всем остальным вместо 12—по девятке.

О Фурнье нам сказали, что она заболела; временно ее заместила другая классная дама, а потом ее перевели в младший, седьмой, класс и прикрепили к нему навсегда, тогда как обыкновенно классные дамы вели свой класс от начала и до выпуска.

Я была в последнем „голубом“ классе, когда память об изгнании Фурнье была жива и маленькие „коришки“, также искренно ненавидевшие Фурку, как в свое время не терпели ее мы, приставали к нам, прося научить, как избавиться от нее.

Мы смеялись и замалчивали свой секрет.

Что мы избавились от Фурнье, было хорошо, но велико было горе, что наряду с этим, мы потеряли и любимую Марью Степановну. Ее уволили из института: мы любили ее, и этого было достаточно, чтоб Фурнье изобразила ее, как вдохновительницу нашего протеста, хотя она и не подозревала о нашем замысле.

5. П. А. Черноусова.

После временных заместительниц, с начала следующего учебного года, когда по цвету платья мы стали называться

„зелеными“, нашими классными дамами стали: Анна Ивановна Бравина и Прасковья Александровна Черноусова. Они, подобно Черняевской и Фурнье, были совершенно не похожи друг на друга. Бравина—девушка лет 30-ти, высокая, очень близорукая, некрасивая блондинка, потерявшая свежесть молодости, была добрая, но не умная и бесхарактерная. Ее знания были сомнительны, так что и с этой стороны она не была в наших глазах авторитетна; мы в грош не ставили ее, не слушались, и вне уроков в ее дежурство в классе царили шум и беспорядок. В противоположность ей, Черноусова, старше ее годами, была изящная в своей болезненной худобе, умная, энергичная брюнетка с правильными чертами лица, и маленькими тонкими руками; она прекрасно владела языками, особенно немецким. Ими занималась она с нами, помимо учителей, очень бездарных, и была очень полезна, тогда как занятия с Бравиной только тяготили нас. Мы сразу поняли и сделали расценку обоих, и Черноусова с начала и до конца пользовалась нашим полным уважением.

С IV-го класса я потеряла первенство: привыкнув, что все дается мне легко, я перестала учиться и спустилась на 3-ье, а в следующем году кажется, даже на 4-ое место. После, когда мне минуло 15 лет, я опомнилась: до выпуска оставалось два года. Еслиб я осталась по прежнему небрежной, то не получила бы шифра. В то время, я уж не думала о том, чтоб попасть в придворные фрейлины, но учителя, в особенности преподаватели литературы, истории и географии так отличали меня, что я прекрасно понимала, что первое место должно принадлежать мне, и если шифр дается первой, то он должен быть дан мне.

Ни дома на каникулах, ни в институте никто никогда мне не внушал, что надо быть поприлежней. Только раз, когда в V-м классе я получила по русскому языку единицу, Сусанна Александровна подошла ко мне, взяла за руку и со словами: „ты получила единицу—значит больна“, отвела меня на сутки в больницу. Там меня уложили в постель и смотрительница Аносова с громадным носом, за который мы ее не любили, держала меня на диэте и отпаивала липовым цветом, который с тех пор я возненавидела.

Обдумав в виду приближения выпуска свое положение. я решила учиться. Но тут явилось осложнение—Черноусова постоянно сбавляла мне баллы за поведение, а в институтах, известное дело, поведение ценится выше всего: если в течение двух последних лет ученица не имеет за все месяцы 12,—при выпуске она лишается какой бы то ни было награды, а у меня постоянно было 11. Это происходило оттого, что между Черноусовой и мной беспрестанно происходили мелкие недоразумения. Сначала она ко мне благоволила, высказывала даже пристрастие, которое коробило меня, так как было несправедливостью по отношению к другим: а дома, благодаря отношению родителей к детям, во мне развилось чувство равенства и потребность в нем. Когда я шалила—все сходило мне с рук: „Фигнер—живая девочка", оправдывала меня Черноусова. „Она настоящая ртуть!" говорила она, и этим дело кончалось. Но я была не только шалунья, но и задира, легко подмечавшая слабые стороны других. Жертвой моих насмешек бывала моя соседка по парте—добрая, хорошо учившаяся Рудановская, с которой я дружила. Тем не менее, случалось, я доводила ее до слез. Тогда Черноусова вместо того, чтоб пристыдить меня, говорила ей в утешение: „ну, что тут обижаться! Фигнер—прямая девочка: у нее, что на уме, то и на языке!"

Однако, добрые отношения с Черноусовой с течением времени прекратились: начались придирки с ее стороны и столкновения. За 2 года до выпуска случилось, что Черноусова, по совершенно непонятному поводу, сказала: „Фигнер служит и нашим, и вашим". Я разсердилась и ответила такой же, необоснованной и несправедливой фразой: „Вы, судите по себе". Это был полный разрыв; она пожаловалась и в присутствии всех учениц я получила от Сусанны Александровны выговор за дерзость.

Смешно сказать—но при институтских нравах, быть может, в этом была и правда—подруги уверяли, что Черноусова меня ревнует к воспитаннице старших классов—Ольге Сидоровой, которую, по институтскому выражению, я обожала. Сидорова—дочь знакомого и сослуживца моего отца, отличалась замечательной красотой и феноменальной памятью.

Она училась превосходно, но хотя целой головой была выше своих одноклассниц, первых наград ей не давали. Она была на дурном счету у начальства, потому что во всем заведении одна была затронута новыми веяниями. Начитавшись Писарева, о котором никто из нас не слыхал, она увлекалась естествознанием, и после смерти Писарева говорила, что он умер не случайно, а правительство утопило его за его сочинения. На вакатах она читала „Колокол“, который получал ее отец, хранивший, как она говорила, это издание под тюфяком, а батюшке на исповеди—неслыханное дело!—напрямик заявила, что в бога не верит.

Сидорова была на два класса старше меня и то, что она говорила мне о Герцене, Писареве и правительстве было выше моего понимания, нисколько не затрагивало и не интересовало. Но мне нравилось ходить с ней вечером по коридору, угождать ей, любоваться ею. Из ревности ко всем, кому она оказывала внимание, я делала много глупостей и неприятностей самой Сидоровой, но в моем отношении к ней было и серьезное чувство, влечение к оригинальной и выдающейся личности. Когда она вышла из института, два года мы переписывались. Быть может, ей не с кем было поделиться мыслями, и в письмах она поверяла мне интимные подробности своей жизни. Она хотела учиться; изучение природы влекло ее, а родители втягивали ее в светскую жизнь. Недовольная окружающей средой, она блистала в Самаре на балах и не могла, не решалась порвать с родными и перестроить свою жизнь. За ней ухаживал между другими один из Жемчужниковых,—не знаю, поэт или его брат. Нисколько не увлекаясь им, она все же дала согласие выйти за него замуж. Брак однако не состоялся: Сидорова простудилась на балу—быть может, умышленно, схватила воспаление легких и умерла, когда ей было 19 лет. Ее интересные письма и фотография затерялись в деревне во время моего заключения в Шлиссельбурге.

Так или иначе, за увлеченье личностью Сидоровой или по другой причине, но почти три года Черноусова ссорилась со мной, а потом, совершенно неожиданно однажды пригласила к себе и сказала: „*Я устала бороться с вами за*

влияние ка класс. Будем жить в мире". Эти слова так удивили меня, что я не нашлась, что отвечать: я не сознавала, что между нами идет *борьба*, да еще *за влияние* на класс! И это говорила умная, твердая Черноусова мне, которая была девченкой в сравненьи с ней.

После этого объяснения Черноусова переправила мне баллы за все истекшее время и потом, хотя мое поведение ничуть не изменилось, всегда ставила 12. Исполняя свое решение, последние 2 года я относилась внимательно к урокам, опять стала первой и при выпуске получила золотой шифр, о котором мечтала в детстве.

На совете, когда присуждались награды, Черноусова настаивала однако, чтоб шифр был присужден не мне, а Кротковой, моей большой приятельнице, хорошей тихой девушке, фамилия которой соответствовала ее характеру. Но учителя отстояли мое первенство.

6. Итоги.

Что дало мне шестилетнее пребывание в институте? Культурную выправку и, как во всяком закрытом учебном заведении, совместная жизнь со многими, находящимися в одинаковом положении, развила во мне чувство товарищества, потребность в нем, а правильный ход учения и твердый распорядок дня приучили к известного рода дисциплине. Если до школы я училась охотно, то институт воспитал вдобавок привычку к умственной работе. Но в смысле научного знания, и в особенности умственного развития эти учебные годы не только дали очень мало, они задерживали мой духовный рост, не говоря уже о том вреде, который приносила неестественная изоляция от жизни и людей.

В общем состав институтских учителей был неудовлетворителен. Лучшим был профессор духовной академии Порфирьев, читавший русскую „словесность" и иностранную литературу. Курс литературы Порфирьева был очень хорош, но доходил лишь до 40-х годов. По русской литературе нам не говорили ни о Белинском, ни тем более о последующих критиках; не говорили даже и о современных беллетристах.

С Тургеневым мы были знакомы только по рассказу „Муму“, который был дан однажды для разбора.

По истории проф. той же духовной академии Знаменский целый год держал нас на сухой мифологии греков и римлян и на истории Персии и Вавилона. А средней и новой истории нас учили по Иловайскому.

В старших классах хорошим преподавателем географии был Книзе; о других учителях не стоит упоминать. Достаточно сказать, что Левандовский, читавший зоологию и ботанику, не показал нам ни скелета, ни хотя бы чучела какого-нибудь животного, и ни одного растения. Ни разу мы не заглянули в микроскоп и не имели малейшего понятия о клетке и тканях.

Правда, Черняевский и Сапожников, преподававшие первый—физику, второй—минералогию, могли бы научить нас кое-чему, но в их распоряжении в течение года был один час в неделю и курс был до смешного мал.

За то четыре года нас морили над чистописанием. Семь лет учили рисованию, причем за все время никто не обнаружил намека хотя бы на крошечное дарование; учителя рисования мы не уважали: он не умел приохотить к занятиям; на уроке у него никто ничего не делал, но все получали 12.

Пение и музыка были не обязательны, за них была особая плата и занятия ими зависели от воли родителей.

По окончании классов, вечером, шло приготовление уроков на завтра и много времени уходило у одних на составление, а у других на переписывание записок по разным предметам. Учебников (кроме Иловайского) совсем не было. Мы учились со слов учителей, но каким образом? 2—3 лучших учениц были обязаны поспешно, со всевозможными сокращениями, записывать то, что рассказывает учитель. Потом, сравнивая записи, дополняя пропуски, мы сидели, недоумевая над тем, что означают те или другие первые буквы недописанного слова, и с великим напряжением памяти и соображения составляли общий текст, который остальные девочки должны были, каждая для себя, переписать в тетрадь.

Прибавьте, что священник давал толстую тетрадь: „Литургия“ и другую: „Христианские обязанности“, которые тоже мы должны были переписывать.

История, русская и иностранная литература, ботаника, зоология, физика, минералогия, педагогика—все было писанное и большею частью составленное самими ученицами.

Можно себе представить, как мы были перегружены этим совершенно ненужным писанием и переписыванием. Мы имели роздых только во время перемены, из которых одна продолжалась час, другая—2 часа. Признаться,—нам и шалить было некогда.

Летом мы иногда гуляли в Институтском саду со старой липовой аллеей и оврагом, в который боялись заглянуть, а зимой нас выводили на воздух раза два: для зимы не существовало теплой одежды и мы надевали довольно легкие капотики на вате. Физических упражнений—если не считать 1 часа танцев в неделю—мы совсем не имели и росли хрупкими малокровными созданиями.

Но если о физическом развитии девочек в институте не заботились, то что сказать о моральном воспитании, о приготовлении к жизни? Этого воспитания совсем не было. Ни о каких обязанностях по отношению к себе, к семье, к обществу и родине мы не слыхивали—никто нам никогда не говорил о них.

Чтение в институте не поощрялось. О недбходимости его во все годы никто не обмолвился ни единым словом. Из моих одноклассниц, кроме меня и 3—4 девочек, никто не брал в руки ничего, кроме учебных тетрадей.

Вечером, когда очередная работа была сделана, украдкой я поднимала доску пюпитра: за ней от глаз классной дамы скрывалась книга.

Не удовлетворяясь этим, я читала ночью и в этом, во всем институте, была единственной. Свеч не полагалось; в обширном дортуаре теплился скудный ночник—сальная свечка, опущенная в высокий медный сосуд с водой. Но в углу комнаты, где спали три старшие класса, стоял столик с образом Христа и перед ним нашим усердием зажигалась

лампадка; масло для нее мы покупали на свои гроши, а когда их не хватало я заменяла его касторкой.

По ночам дежурила сердитая-пресердитая Мария Григорьевна, маленькая, худенькая старуха, в черном чепце и платье, с огненными черными глазами и следами большой красоты на правильном лице. Замаливала ли она грехи молодости или от роду была набожна—только по целым часам она молилась в комнате, где стояла ее кровать дежурной. Пользуясь религиозностью маленькой мегеры, я отправлялась к нашему угловому столику и, став на колени, погружалась в чтение.

Время от времени Мария Григорьевна прерывала моление и делала обход всех дортуаров. Заслышав ее кошачьи шаги, я принималась класть земные поклоны и не переставала, пока чувствовала, что она стоит за моей спиной. А она—постоит, постоит—и уйдет, видя, что поклонам конца нет,—тогда я вновь принимаюсь за книгу, спрятанную под стол. Читала я большею частью английские романы, которые добывали мои лучшие подруги Рудановская и Кроткова от родных, которые жили в Казани.

В институте, существовала однако библиотека, но книг из нее мы в глаза не видали: они хранились в шкафу, ключ от которого был у инспектора Ковальского—декана университета, который редко заглядывал в институт. Лишь раз Черноусова дала мне том Белинского, взятый из этого книгохранилища. Но я совершенно не привыкла к серьезному чтению; к тому же этот том заключал статьи о театре, об игре Мочалова в роли Гамлета, а я вплоть до выпуска не была в театре. Неудивительно, что статьи не заинтересовали меня. я читала только романы и повести и за все шесть лет института ни одна серьезная книга не попадала мне в руки кроме этого тома Белинского.

7. Литературные влияния.

В эти годы всем умственным развитием своим я была обязана чтению, которому отдавалась во время вакатов по указанию матери. Но, сидя в деревне весь день за книгой, я

поглощала как и в институте только романы, повести и рассказы, правда, лучшие из того, что помещалось тогда в толстых журналах [1]). Серьезных статей мать мне не предлагала. Таким образом мое чтение было одностороннее — оно било исключительно на чувство. Два последние года института не было и этого чтения—на вакаты старших девочек не пускали: боялись тлетворных влияний.

Мне было 12 лет, когда мать дала мне небольшую повесть давно забытого, да и в свое время мало известного писателя — Феоктиста Толстого „Болезни воли“. Я прочла и пришла в недоумение: почему автор дал повести такое странное название? Почему он назвал *болезнью* стремление героя к правде, его отвращение ко лжи, сделавшееся источником его страданий и несчастий: разрыва с другом, с родными и наконец с любимой девушкой. Он поступал так, как следует думала я. Где же „болезнь воли?“ Я пошла к матери со своим недоумением. А мать объяснила, что, конечно, всегда надо говорить правду и требовать ее от других. Но в незначительных случаях относиться к отклонениям от правды так строго, как относился молодой человек в рассказе, нельзя. Нельзя порывать отношений, если люди дозволют себе ничтожную, невинную ложь, иначе человек рискует остаться одиноким и сделаться несчастным, как сделался несчастным герой Толстого; его *чрезмерная правдивость* приняла уже, по словам матери, размеры болезни. Это объяснение уронило мать в моих глазах: я отошла неудовлетворенной и огорченной.

Год спустя, дядя Куприянов позволил мне взять в институт два толстых тома журнала, в котором печатались романы Шпильгагена и между прочим: „Один в поле не воин“ Этот роман произвел на меня неизгладимое впечатление. Я хорошо поняла и характеры действующих лиц, и социальную сторону романа: благородные стремления Сильвии и Лео и пошлость буржуазной среды, в которой Лео ошибочно искал поддержки. Ни один роман не раздвигал моего горизонта так,

---

[1]) Однажды об одной повести мать сказала „Не читай — не стоит“. Это заинтересовало меня. *Украдкой* я вынула книженку из шкафа и прочла. Повесть была пустая, пошловатая; я была посрамлена, что не положилась на мнение матери.

как раздвинул этот; он поставил два лагеря резко и определенно друг против друга: в одном были высокие цели, борьба и страдание; в другом — сытое самодовольство, пустота и золотая мишура жизни. Оценка, сделанная в 13 лет, была настолько правильна, что, когда через много лет, я снова перечла роман, мне не пришлось менять ее.

Человеческая личность слагается обыкновенно под влиянием едва уловимых вкладов, которые делают люди, книги и окружающая жизнь. Но бывает, что который-нибудь из этих элементов делает в душе глубокую зарубку и закладывает фундамент новой строющейся личности.

В моем развитии такую основу положило произведение Некрасова „Саша“, которую Порфирьев дал нам для разбора.

Известно содержание этого стихотвотения: умный, образованный и видавший виды Агарин попадает из столицы в деревенскую глушь. Там, в простой патриархальной семье соседа по именью, он встречает молодую девушку, не затронутую никакими идеями. Он начинает развивать ее, много и красно говорит об общественных задачах, о работе на благо народа. Под влиянием этой проповеди в душе Саши появляются идеалистические стремления и запросы. Но через год или два при новой встрече ей приходится разочароваться в учителе. Перед Сашей, расцветшей умственно и нравственно, раскрывается истинный лик Агарина — пустого болтуна, который „по свету рыщет, дела себе исполинского ищет“, и бросая красивые слова, только ими и ограничивается и в реальную жизнь не вносит решительно ничего. Саша видит, что у ее героя *слово расходится с делом*; разочарованная, она отходит от человека, который пробудил ее ум и казался ей идеалом.

Над этой поэмой я думала, как еще никогда в свою 15-ти летнюю жизнь мне не приходилось думать.

Поэма учила, *как* жить, к чему стремиться. *Согласовать слово с делом* — вот чему учила поэма; требовать этого согласования от себя и от других — учила она. И это стало девизом моей жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

1. Среда.

В 1869 г. я вышла из института; вышла живой, веселой, шаловливой девушкой, хрупкой с виду, но здоровой духовно и физически, незаморенной затворничеством, в котором провела 6 лет, но с знанием жизни и людей только по романам и повестям, которые читала. Реальная действительность оставалась за стенами закрытого учебного заведения, а дома, в Никифорове, куда мы с сестрой приезжали на каникулы, кроме родных мы совсем не видали посторонних. Лишь однажды за два года до выпуска, когда я была в последний раз дома, к отцу приехали двое молодых людей, из которых один был студентом естественного факультета Казанского университета. Они прогостили у нас дня четыре. Студент, человек очень разговорчивый, говорил о строении солнца, о луне, о звездах; критиковал институтское воспитание, отрицал чудеса и осмеивал религию. Из привезенного с собою тома Добролюбова он прочел мне две статьи: „Граф Кавур и отец Гавацци" и разбор драмы Островского „Гроза": „Луч света в темном царстве", хотя никаких пьес Островского я не читала. Эта встреча не произвела особого впечатления, но осталась в памяти, как единственная.

Мои родители постоянно жили в деревне и по окончании института я очутилась в той же обстановке, в какой бывала девочкой на вакатах. В деревне тихая, простая и спокойная обстановка располагала к серьезности.

Еще в институте я испытала одно влияние в этом направлении. Моей классной даме, умной и энергичной Черноусовой, я обязана тем, что услышала слова, навсегда запечатлев-

шиеся в уме и имевшие громадное моральное значение в моей жизни. Как-то раз, обращаясь не ко мне, а к другой воспитаннице, она, делая ей выговор за леность, с подчеркнутым выражением сказала: „вы думаете—выйдете из института, так и конец учению. Нет! ученье никогда не может кончиться. Всю жизнь вплоть до могилы надо учиться“. Эту, с виду такую банальную, истину я услыхала тогда в первый раз. Она заставила меня задуматься и бросила пучек света в мой ум. Я не могла забыть этих, случайно слышанных, слов и не забыла.

Но прежде всего моей матери, которая в детстве не получила образования, но путем самостоятельной работы над собой достигла высот духовного развития и была интеллигентным человеком в лучшем смысле этого слова—я обязана тем, что тотчас по выходе из института, стала работать умственно. Мать дала мне лучший журнал того времени: „Отечественные Записки“; в ее библиотеке я нашла „Современник“, а у дяди—„Русское Слово“, „Слово“ и журнал „Дело“.

Среда, которая меня окружала, была все та же, что и в предыдущие годы: знакомых помещиков у нас, можно сказать, не было; молодежь, соответствующая моему возрасту и образованию, в уезде совершенно отсутствовала, и единственными лицами, с которыми мы были в частом общении, были две родственные семьи: дядя П. Х. Куприянов с женой и супруги Головни. Это было все. Но эти люди—всего четверо—надо отдать им справедливости—были целой головой выше уездной обывательской среды. Это были „мыслящие реалисты“ (термин, которого тогда в моем лексиконе не было) и либералы-демократы, по более поздней терминологии. Они не были социалистами и об этом учении я не слыхала от них ни слова. Никогда не упоминали они имен славнейших первоучителей социалистического учения: Фурье, С. Симона и др. Я не знала даже имени Лассаля, блестящая деятельность которого имела в 60-х годах такой отклик в Германии. И когда я приехала за границу и впервые присутствовала при разговоре об этом вожде рабочих, то смешивала имя Лассаля с именем Лапласа и, стыдясь своего невежства, не решалась просить разъяснения. Мои родственники не были

республиканцами, хотя восхваляли политическое устройство Швейцарии и С.-А. Штатов, и рекомендовали мне две книги Диксона: „Швейцария и швейцарцы—и „Америка и американцы“, которые я прочла с великим увлечением. Но как достигнуть таких порядков в России,— они никогда не говорили, а я была так мало развита, что у меня не возникал вопрос об этом.

Поклонники Писарева, в ряду наук они высоко ставили естествознание и по их указанию я прочла сочинения Дарвина, Ляйэлля, Льюса, Фогта и популярные статьи Писарева, хотя по отсутствию подготовки многое оставалось для меня неясным.

Свободные от религиозных, общественных и сословных предрассудков, дядя и Головня, как демократы, стояли за всеобщее народное образование, за труд и личный заработок каждого, за равноправие женщин и за скромный образ жизни. Дядя, самый образованный и развитой из всех, часто подсмеивался над золотыми безделушками и модным платьем, которые были на мне: „Оценим-ка, Верочка, сколько пудов ржи висят на твоих ушах в виде серег?“—говорил он. Выходило что-то в роде 50 пудов. Или: „А сколько пудов овса облекает тебя в виде этой материи?“ и т. п. Предполагая, что в институте мне привили стремление к светскому лоску и богатству, родные часто говорили, что я наверное выйду замуж за какого-нибудь богатого старика и, кажется, были первое время не очень высокого мнения о моей особе. Так, я слышала однажды не лестный разговор, касающийся меня и причинивший мне большое огорчение. Как-то летом я проснулась поздно ночью. Все уже спали, но на балконе еще сидели и говорили две наши родственницы—младшая сестра моей матери Варенька, вскоре умершая, и кузина, приехавшая из Казани. Речь шла обо мне и Лиденьке: „Лиденька будет человеком глубоким, из нее выйдет толк, говорила Варенька о моей сестре,—а Верочка красивая кукла: она похожа на тот хорошенький малиновый фонарик, который висит в углу в ее комнате. Снаружи он хорош, но сторона, обращенная к стене, пустая“. Уткнувшись в подушку, я горько плакала. Тогда не было Леонида Андреева с его

„Стыдно быть хорошим“ и, обливаясь слезами, я спрашивала себя, как мне сделаться хорошей?

В журналах я не пропускала ничего, написанного Демертом, Шашковым, Португаловым, Шелгуновым, на которых мне указывали мать и дядя. Дядя был поклонником Чернышевского, Добролюбова и Писарева, но из сочинений Писарева он дал мне очень немногое, а Чернышевского я просто не поняла.

Как общественный деятель, дядя Куприянов среди земских гласных, уездных и губернских, занимал видное место и, как мировой судья, пользовался общим уважением. Благодаря ему, при встречах в семейном кругу часто говорилось о разных общественных делах и отношениях и подчеркивалась мысль о жизни не только для себя, для семьи, но также и для общества. Мой ум по выходе из института был совершенно свободен от каких бы то ни было общественных и политических идей. Он был девственной почвой, но такой, на которой могло возрасти уважение к науке, знанию и стремление к общественности и общественной деятельности.

И они выросли от семян, намеренно, а отчасти ненамеренно брошенных родными, которые меня окружали.

2. Уроки жизни.

Мне было 12 лет и я была в V классе, когда в семье Головни произошла катастрофа, совершенно изменившая их жизнь. Мечеслав Филицианович Головня, поляк по происхождению, воспитывался и жил в России, тогда как вся семья его—мать, сестры и брат — помещики Царства Польского, имели жительство в Варшаве. Причастные к восстанию 63 –64 гг., они были арестованы, их большие именья конфискованы, а сами они потом сосланы в одну из внутренних губерний России. Когда это происходило в Варшаве, жандармы подумали и о Мечеславе Фелициановиче, который, окончив курс в Лесном корпусе (впоследствии Лесной институт), служил лесничим в Тетюшском уезде и женился на моей тетке Елизавете Христофоровне Куприяновой. Они устроили уютное гнездышко в 2-х верстах от Христофоровки, в де-

ревне Зубаревке, в прекрасной усадьбе знакомого помещика, всегда жившего в Петербурге. Казалось, им предстоит спокойное и счастливое житье. Но внезапно, одной темной ночью, наехали жандармы, произвели обыск, захватили переписку и, арестовав Головню, увезли в Казань. Это событие, неслыханное в нашей глуши, вызвало большую сенсацию, а тетя, беременная своим первенцем, была, конечно, в отчаянии. Месяца три Головню продержали в крепости, а потом выпустили, лишили места и запретили занимать какую-либо правительственную или общественную должность. Положение молодой четы было критическое. Мечеслав Фелицианович был человек избалованный, привыкший к хорошей обстановке. А тетя, как было раньше сказано, носила на себе следы институтского режима времен Загоскиной, любила заниматься собой и в житейском отношении отличалась наивностью, так как из института не ездила даже на вакат. Настали тяжелые времена; средств к существованию совершенно не было, возможность заработка была закрыта—все привычки, всю жизнь приходилось перекраивать наново. Из беды их выручил тетюшский богач и большой скряга—Карл Иванович Крамер, о скаредности которого ходили анекдоты. Он был уездным лекарем в дореформенное время и, по словам матери, нажил состояние при рекрутских наборах, когда, желавшие избавиться от бритья головы, при осмотре полости рта показывали в нем золотой. Старик Крамер, хороший знакомый дедушки, знал мою мать с детства, и теперь оказал помощь ее сестре. Он пригласил Головню сначала управляющим в свое имение в 40 верстах от нас, а потом предложил купить его на льготных условиях, с рассрочкой. Головни мужественно принялись за работу, отбросив все, что напоминало барство. Мечеслав Фелицианович сделался настоящим „плантатором" как я шутливо звала его после выхода из института. В парусиновом костюме, черный от загара, он проводил целые дни летом в поле, на пашне, жнитве или покосе, зимой около риги, в молотильном сарае, при машине, а тетя, раньше сантиментальная особа и белоручка, с талией, „как у осы", с утра до ночи хлопотала в кухне, заботилась о молочном хозяйстве, ухаживала за детьми и превратилась в хозяйку,

которая умеет все сама сделать. Моральный переворот, происшедший в них на моих глазах, имел громадное значение для моей психики: они так бодро, без жалких слов отказались от всех условностей и удобств прежнего быта и вели такую трудовую, скромную жизнь, что, зная их прошлое, нельзя было не любоваться ими.

В то время я не раз приезжала погостить к ним в Каргалу и для меня было истинным удовольствием жить в обществе этих славных людей, в атмосфере труда, бодрости и взаимной дружбы.

Их отношение ко мне было всегда теплое и нежное. Случалось, когда я сидела в их домике у окна в лучах солнца моей 18-й весны, Мечеслав Фелицианович подходил и, заглядывая мне в лицо, начинал декламировать Некрасовское: „Что так жадно глядишь на дорогу?“ и далее: „Будет бить тебя муж привередник и свекровь в три погибели гнуть“, как будто предостерегая, что я выйду замуж и испытаю общую участь женщины, подавленной детьми и кухней. А я—у которой уже шевелилась мысль в голове—не решаясь высказаться громко, мысленно выпрямлялась и говорила про себя: „нет, я не погрязну в суете каждого дня“

В этот же период пробуждения, зародились мои первые симпатии к Польше, к ее независимости и свободе. Одним из земских врачей уезда был поляк Свентицкий, искусный медик, веселый, общительный, очень неглупый человек. Он бывал у нас, то как врач, то как знакомый вместе с своей молодой женой, тоже полькой. Летом, бывало, съедутся к нам Куприяновы, Головни и они. В сумерки, перед картами, идут разговоры о Польше, о событиях, которые там происходили, о репрессиях, которыми было подавлено восстание. Свентицкий вынет из кармана фотографию Муравьева-вешателя, изображенного в виде свирепого бульдога, а Головня покажет портреты сестер в польских национальных костюмах. Подшучивают над тетюшским жандармским офицером Лоди, который подсматривает, подслушивает, разъискивая в нашем медвежьем углу „ржонд“ и „польскую интригу“. Вечером, на террасе, мать с деланным вниманием начинает всматриваться в темнеющие кусты сада, жестом давая по-

нять, что видит спрятавшуюся в них фигуру Лоди, а Свентицкий с чувством декламирует стихотворение гр. Растопчиной „Насильственный брак“, в котором Польша, против воли сочетанная с Россией, с гневом говорит: Унижена, оскорблена... Я предана, я продана... Я узница, раба, а не жена!...

3. Настроение.

Прошло всего несколько месяцев после моего выхода из института и я уже начала чувствовать себя неудовлетворенной нашей тихой, деревенской жизнью, бесцельностью ее. Что предпринять, чем сделаться?—размышляла я. Итти на сцену, сделаться актрисой? Или поступить в школьные учительницы? Первое было чем-то туманным. Ко второму я была совершенно неспособна, в чем убедилась при занятиях с сестрой Евгенией, которую готовила в институт.

Стремление женщин к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получила в Цюрихе диплом доктора медицины и хирургии. Известие об этом в журнале „Дело“ дало мне указание, в какую сторону итти.

Не мысль о долге народу, не рефлектирующая совесть кающегося дворянина побуждали меня учиться, чтоб сделаться врачем в деревне. Все подобные идеи явились позднейшим наслоением под влиянием литературы. Главным же двигателем было настроение.

Избыток жизненных сил, не сознанных, но пронизывавших все существо, волновал меня, и радостное ощущение свободы после четырех стен закрытого учебного заведения рвалось наружу. Вот это-то преизбыточно-радостное настроение первого вступления в жизнь было истинным источником моих альтруистических стремлений. Повышенный душевный тон требовал деятельности, и жизнь без проявления своей личности во вне была немыслима.

То обстоятельство, что, сравнивая себя со своими подругами, я, верно или неверно, но считала себя поставленной в особенно счастливые условия, внешние и внутренние, то, что я была, как мне казалось, наиболее любимой всеми среди

всех—трогало меня и вызывало нежное чувство признательности, неопределенной по своему объекту. Признательность к кому? К подругам, которые любили и не завидовали? К учителям, которые отстаивали и отстояли мое первенство?... К отцу и матери, которые, после сурового спартанского детства, окружали чуткой заботливостью обо всем, что может пленить только что выпущенную институтку? К солнцу, которое золотило поля? К звездам, которые сияли над темнотою сада?... Это была признательность—вообще; не признательность к кому-нибудь в частности, но признательность ко всем и за все.

За блага мира, за блага жизни хотелось отблагодарить кого-то. Сделать что-нибудь хорошее... такое хорошее, чтоб и тебе, и другому стало хорошо.

В одном рассказе Ожешко говорится, что стоит Мадонна на вершине храма и простерла руки к миру. И от этих рук, протянутых к незримым слезам обездоленных, струятся золотые нити, освещают и согревают всех, кто нуждается в любви и сострадании.

Не есть ли это изображение счастливого настроения каждой здоровой молодой души, вступающей в жизнь *при радостных предзнаменованиях?*

Не испытывал ли каждый такого периода, когда, без умствований и самоугрызения, так, просто, хочется, стоя на вершине храма, сыпать золото добра вокруг себя? Хочется, чтоб окружающее было в гармонии с тобой... было здорово, весело, красиво и сильно...

... А кругом—была деревня. Была грязь и бедность, была болезнь и невежество.

И золотая нить протянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше, к деревне, к ее обитателям, чтоб позже протянуться еще далее — к народу вообще, к родине и к человечеству.

Кроме настроения, были и хорошие слова. От дяди я услышала впервые теорию утилитарианизма; он дал мне и статью о нем. „Наибольшее счастье наибольшего числа людей“, говорил дядя, „должно быть целью каждого человека“... И я прониклась этой мыслью. Мой ум не был загроможден

идеями и сомненьями; он не сопротивлялся тому, что говорил дядя. Напротив, учение утилитарианизма сразу показалось мне очевидной истиной: дядя как будто лишь формулировал то, в чем я уже была убеждена. Надо сказать, что я считала немыслимым не выполнять того, что признавала истинным. Истинное, желательное и должное были для меня триедины и нераздельны, и всякая истина, раз признанная таковой, приобретала тем самым принудительный характер для моей воли. Это была логика характера.

Все эти настроения и влияния должны были раздвинуть и сломить рамки безмятежного деревенского житья в лоне семьи. Нельзя было жить без деятельности, без отдаленной высокой цели. Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее: путь, пройденный ею, стал желанным и для меня. Я стала добиваться поступления в университет; за границей, в Казани, где угодно, лишь бы учиться, стать врачем и принести мои знания в деревню, как оружие против болезни, нищеты и невежества.

Тщетно просила я отца отпустить меня за границу—он не соглашался. Это объясняется тем, что в то время родители, по новизне дела, боялись отпускать дочерей в открытое море жизни: слишком уж это было необычно, и родителям грезились всевозможные опастности для оставляющих семейное гнездо.

У меня было одно утешение: ласкаясь, я спросила однажды отца: „Да, вы, может быть, думаете, что я не достигну цели, что у меня сил не хватит?“...

А он сказал: „Нет. Я знаю: если ты возьмешься, ты исполнишь“.

Не знаю, чем была вызвана такая уверенность, но я помню, что в смысле самоутверждения она дала мне очень много. Эти серьезно сказанные слова имели громадное воспитательное значение для моей личности: они укрепили мою волю.

Для образования моей личности еще большее значение имел эпизод, более поздний, но относящийся к первому же году по выходе из института.

Я должна была решить важный вопрос жизни. Отец был

болен. Был вечер. Он сидел в кресле. Я стояла на коленях, подле него.

Я сказала; просила совета.

Отец отвернул лицо и с тоской произнес: „Не знаю“.

Я встала.

„Зачем я сказала?“ „Зачем говорила?“ думала я с чувством жгучего стыда, что раскрыла свою душу.

И отчетливо, резко мысль начертила в сознании: „*Великие решения человек должен принимать для себя сам*“.

В этот момент душа моя кристаллизовалась.

4. Вместо университета—на бал.

Я стремилась в университет, а родители повезли меня в Казань, как будто для того, чтоб соблазнить светскими удовольствиями и испытать мою твердость. Они были люди развитые, но придерживались обыкновения своей среды: если в семье была молодая девушка, ее надо было „вывозить в свет“—людей посмотреть и себя показать.

В уезде у отца был хороший знакомый, старик Виктор Федорович Филиппов, помещик и мировой посредник, как и мой отец. Он жил круглый год в деревне, в полном одиночестве, так как жена его для образования детей оставалась в Казани, где им принадлежал один из лучших больших домов в центре города на тогда существовавшем Черном озере. Узнав, что мы собираемся в Казань, Филиппов предложил отцу остановиться у них и, отправившись в декабре, мы воспользовались гостеприимством его семьи. Таким образом в Казани я познакомилась и каждый день встречалась со старшим сыном Виктора Федоровича—Алексеем Викторовичем, кандидатом прав, исправлявшим тогда должность судебного следователя. При выездах в театр, в котором я до тех пор ни разу не была, и на балы в дворянское собрание и в купеческий клуб, Алексей Викторович тотчас же стал моим постоянным спутником и кавалером.

Не могу сказать, чтоб я с удовольствием совершала мой первый выезд на большой бал. Стоя перед трюмо в легком

облачке белого газа, в локонах и белых башмачках, я немало покапризничала и гораздо более заслуживала прозванья „Топни ножкой“, которым меня наградил позднее „Сашка-инженер“—Федор Юрковский, прославившийся подкопом под Херсонское казначейство, из которого, в интересах революции, им и товарищами было похищено $1^1/_2$ миллиона рублей.

Когда я очутилась в обширном, блестяще освещенном зале, где под звуки оркестра кружились десятки красивых грациозных пар, все незнакомые и чужие для меня, я почувствовала себя такой одинокой, что готова была расплакаться. Но Алексей Викторович и несколько молодых людей, которых он представил мне, тотчас окружили меня и я закружилась в толпе танцующих, быстро забыв свой страх и огорченье. В следующие разы я была уже смелее и понемногу начала входить во вкус светских увеселений.

Однако, мы пробыли в Казани недолго и когда вернулись в деревенскую тишь, то головокружительный угар прошел так же скоро, как пришел.

Короткое время спустя, Алексей Викторович перевелся из Казани в Тетюши, чтоб иметь возможность бывать у нас. Он разделял мои взгляды, сочувствовал планам. Мы вместе читали книги и в вопросе о моем поступлении в университет были единомысленны. Первый год нашего знакомства еще не кончился, когда 18-го октября 1870 г. мы обвенчались в сельской церкви, в Никифорове.

Через несколько недель умер мой отец, а затем мать с двумя младшими дочерьми переехала в Казань, где мои братья—Петр и Николай—учились в гимназии, а сестра Лидия кончала институт. Я и Алексей Викторович поселились в Никифорове, так как уездный город совершенно не привлекал нас.

Моя жизнь после замужества не изменилась: мое поступление в университет было решено. Вопрос заключался лишь в средствах, которые позволяли осуществить поездку в Цюрих только через год или полтора.

Благодаря Черноусовой, я порядочно знала немецкий язык; мать тотчас после института достала мне из Казани

Шиллера и Гёте и теперь, готовясь к университету, я продолжала совершенствоваться в языке, а под руководством Алексея Викторовича занималась геометрией, в которой была слаба, и алгеброй, которую в институте совсем не преподавали. В то же время я уговаривала Алексея Викторовича бросить службу и вместе со мною ехать в Швейцарию. Уже тогда я была убеждена, что преступления происходят от нищеты и невежества, и находила гнусной роль следователя. Несколько раз, сидя в смежной комнате, я слышала допрос, с изворотами одной стороны и ловушками с другой, и эта процедура до глубины души возмущала меня. Я предлагала А. В. сделаться, подобно мне, врачем или избрать деятельность в земстве, и готова была итти на все лишения, только бы ненавистная служба была брошена. Деятельность в земстве я понимала иначе, чем то оффициальное отношение к делу, которое видела в окружающих земцах, и мечтала об элеваторах для крестьянского хлеба, обширных, светлых школах, благоустроенных больницах и мерах, которые подняли бы материальное благосостояние деревни. В конце концов я склонила Алексея Викторовича оставить службу и вместе со мной ехать учиться медицине за границей.

В этот период отношение ко мне родных и кое-каких знакомых было наилучшим: все сочувствовали моим планам и встречали их теплыми пожеланиями успеха. Зато я уже настолько подросла, что стала относиться критически к тем, кто раньше в том или другом отношении помогали моему развитию. Наступили земские выборы; в председатели уездной управы хотел баллотироваться князь Волконский, человек не глупый, но крайне ленивый, с цинизмом говоривший, что он служит лишь из-за жалованья, и ему все равно, свиней ли пасти или мировым судьей быть. Мой дядя горячился, зная непригодность Волконского, и я ожидала, что дядя выставит свою собственную кандидатуру. Но этого не случилось, и я с горестью могла объяснить это только тем, что председательство было соединено с переездом в город, что расстроило бы его жизнь и хозяйство в деревне. На-ряду с этим, я узнала, что муж умершей тети Вареньки, бывший студент, исключенный из университета за демонстративную панихиду по крестья-

нам, расстрелянным в Бездне [1]), сам притесняет крестьян, налагая непомерные штрафы за потравы в его имении. А я требовала последовательности и согласования слова с делом.

Между тем, наша поездка за границу затягивалась и в ожидании, когда мы соберем деньги, необходимые для 4-летнего пребывания в университете, я решила отправиться в Казань, чтоб вместе с сестрой Лидией, уже окончившей институт, попытаться проникнуть в Казанский университет.

5. У Лесгафта.

По совету дяди я пошла прежде всего к профессору Петрову. Дядя говорил, что он сочувствует высшему женскому образованию. Но Петров был патологом и, сказав, что надо начинать с другого конца, направил меня к профессору химии Марковникову и к профессору анатомии Лесгафту.

Марковников оказался круглым и добродушным. Он добродушно выслушал нас, добродушно согласился дать место в лаборатории, однако, лишь в часы, когда там не работают студенты. Слушанье лекций осталось открытым вопросом: мы должны были, по его словам, сначала поработать практически. Он подвел нас к шкапчикам с реагентами и, порекомендовав купить аналитическую химию Меншуткина, добродушно почил от всех хлопот о нас.

На утро мы с сестрой принесли требуемую книгу и тотчас началась безобразная по своему бессмыслию мазня. Мы что-то брали, чего-то прибавляли, кипятили, фильтровали и... ничего не понимали! Чудная наука, раскрывающая столько мировых загадок, прекрасная, как волшебная сказка, сводилась на механические манипуляции, значение и связь которых оставались для нас в полной неизвестности.

Ни разу Марковников не подошел, чтобы спросить, что мы делаем? Ни разу не дал полезного указания... не полюбопытствовал, имеем ли мы общее понятие о химии? что знаем? чего не знаем?... Можно было притти в отчаяние от бесполезности работы: мы ясно видели, что делаем не то,

---

[1]) Спасского уезда, Казанской губ., при бунте после объявления манифеста 61-го года.

что надо. Но молодые, провинциальные дурочки, все-таки терпеливо кипятили и терпеливо фильтровали, в ожидании, что вот-вот наступит минута и чудо совершится: внезапно озарит нас свет и мы поймем: что, зачем и почему?.... Но свет не приходил, озаренье так и не произошло.....

Но вот мы отправились в другую обитель—в анатомический театр. Это было совершенно отдельное здание во дворе университета и хозяином там был Петр Францевич Лесгафт.

Мы поднялись по лестнице и вошли в зал, уставленный столами. На одних лежали трупы женщин и мужчин, старых и молодых; на других—отдельные члены человеческого тела: рука, нога и т. п. Серьезные молодые люди, молча стояли у столов или сидели, склонившись со скальпелем в руке. Все были в белых фартуках, деловитые и погруженные в работу. Никто и не взглянул на нас. Высокая девушка, худая и смуглая, с некрасивым мужеподобным лицом, была, повидимому ассистенткой, остальные—студенты, каждый занятый каким-нибудь препаратом.

Острое зловоние стояло в воздухе; тогда еще не употребляли формалина для дезенфекции трупов и в препаровочной работали в нездоровой удушающей атмосфере.

Мы приготовились к зрелищу оголенных мертвых тел, и к зловонию. Мы ждали этого и заранее укрепились в решении не поддаться отталкивающему впечатлению, которым нас пугали. И мы выдержали искус.

Перед нами стоял профессор: небольшого роста, резко выраженный брюнет лет 32—34. Худощавое серьезное лицо и темные глаза, смотрящие исподлобья, пытливо обратились к нам и остановились, как бы измеряя, будет ли из нас толк.

И тотчас же коротко и дружески, как будто был знаком с нами сто лет, он дал согласие, чтобы мы ходили на лекции, а на утро обещал приготовить анатомический препарат.

Петр Францевич повел нас в свой кабинет. Это была комната, следующая за препаровочной, неприглядная, голая, настоящая мастерская анатома—столы да полки по стенам. Вот и все. На полках—банки со спиртовыми препаратами, а

на столах—микроскоп и большой инкубатор с горящей лампочкой под ним. В инкубаторе, на вате, лежали куриные яйца, и Петр Францевич объяснил нам, что он вынимает одно яйцо за другим через небольшие промежутки времени и рассматривает под микроскопом, наблюдая различные стадии развития куриного зародыша. Он указал при этом на значение этого рода наблюдений для изучения истории развития человека и рекомендовал нам осмотреть банки со всевозможными зародышами, стоявшие на полках.

Тут мы впервые увидели зародыши разных млекопитающих; увидали жаберные дуги, очень занявший нас хвостик человеческого зародыша и множество других новых предметов. Эмбриология, видимо, очень занимала тогда Петра Францевича. Эта наука была в то время сама еще в зачатке и единственным учебником в университетах был знаменитый Келликер.

Петр Францевич был так прост в обращении, что мы сразу почувствовали себя легко и свободно. И вместе с тем кругом была такая деятельная деловая атмосфера, что нас охватывало сознание серьезности момента, того момента, когда раскрываются двери науки и человек вступает на путь серьезного труда во имя далекого идеала жизни.

На утро мужеподобная девица дала нам набор с инструментами и труп кошки, скелет которой мы должны были приготовить. Следовало методически снять все мягкие части и присмотреться к общему расположению мускулов, нервов и сосудов. Надев фартуки, серьезно и боязливо, чтоб не испортить чего-нибудь (!), мы принялись за работу.

Стали мы ходить и на лекции. Обыкновенно, Петр Францевич входил в аудиторию из своего кабинета, а мы следовали за ним. Большая аудитория, расположенная амфитеатром, была сплошь занята мужской молодежью, а внизу, направо от профессора, стояли два табурета для нас.

Мы были всегда так поглощены тем, что говорил Петр Францевич, что я не заметила и не запомнила ни одного лица. Но студенты-медики для которых появление женщин было новостью, хорошо заметили нас, и семь лет спустя, когда я приехала в Самару служить в земстве, тамошний врач тот-

час признал во мне одну из слушательниц, которые в 1871 г. бывали на лекциях Петра Францевича. И это воспоминание сделало нас друзьями.

Удивительно было обаяние личности Петра Францевича. Он читал остеологию. Что может быть суше ее? И, однако, час проходил незаметно, и аудитория, переполненная и неподвижная, слушала лекцию с неослабным интересом, как самый животрепещущий доклад. Петр Францевич имел дар заставить слушать себя: все чувствовали, что в излагаемом предмете все нужно, все необходимо; ничего нельзя пропустить — все надо запомнить твердо, непоколебимо на все будущие времена. Все чувствовали, что перед ними мастер своего дела и что этот мастер закладывает фундамент медицинского образования, от солидности которого в памяти слушателя зависит, быть может, вся будущность его, как врача или человека науки.

Глубокая почтительность со стороны студентов окружала Петра Францевича. В препаровочной в минуты отдыха и дома при встречах со студентами было множество разговоров о нем. Это была центральная фигура для первокурсников: — гроза и вместе любимец. Нам рассказали, что Петр Францевич — любимый и выдающийся ученик профессора петербургской медико-хирургической академии Грубера, который сам вышел из школы Гиртля. Кто из студентов и врачей тогдашней России не знал этих славных имен?! Кто не знал имени Грубера, этого большого оригинального человека, твердого и непреклонного перед властями, грудью защищавшего студенчество при столкновении с полицией, но вместе с тем сурового и непреклонного перед лицом этой учащейся молодежи, от которой требовал точности в знании, внушая этим, что серьезное отношение к науке, к своей специальности есть долг, обязанность по отношению к себе и к обществу.

Того же закала был и Петр Францевич: независимый по характеру, страстно любящий свою науку и ревнивый к занятиям студенчества.... Сильный и добрый, простой и серьезный... „Человек" чувствовался в нем при первом же соприкосновении, и чудное слияние хорошей личности с прекрас-

ным преподавателем создавало очарование, делавшее его образцом, идеалом для поколений, имевщих счастье начинать свои студенческие годы под его руководством.

Для всякого начинающего учиться и начинающего жить величайшим счастьем является встреча с превосходным образцом человечества.—Это счастье, потому что это один из могущественных благоприятных факторов, определяющих все будущее человека. И на пороге университета, на этом пороге жизни, учащаяся молодежь находила это счастье, встречала этот образец. Я испытала это на себе; но я не была ведь исключением: кругом вся атмосфера была пропитана тем же влиянием, тем же отношением, и впоследствии множество того же рода признаний вырывалось у других его учеников.

Энергичная, действенная любовь Петра Францевича к своему предмету невольно передавалась и заражала его учеников. Это были именно ученики, а не слушатели. Вступив в анотомический зал, студент отрешался от внешнего мира, им овладевал учитель, и настойчиво, и неуклонно, благодаря собственной настойчивости и любви к делу, лепил его по своему подобию.

„Да не будет ученик недостоин учителя твоего"—бессознательно зарождалось, развивалось и зрело в уме каждого.

Если учитель говорил о крошечных канальцах каменистой части височной кости.... если он указывал на легкий желобок, в котором проходит нерв—разве возможна была мысль, что это пустяк, что это не нужно, не пригодится будущему медику или хирургу? Нет! Если Лесгафт говорит, если он требует, значит—нужно. И каждая деталь запечатлевалась, казалась важной; каждая фраза о зависимости организации от отправления принималась, как откровение, каждое обращение к истории развития бросало свет в уголок сознания...

И вот, когда мы уже прикоснулись к источнику знания, когда, казалось, уже получали первые ключи к познанию явлений природы—бессмысленно, неожиданно и грубо наши занятия были прерваны.

Однажды утром, когда мы с сестрой пришли в анатомический театр и вошли в препаровочную, мы были удивлены, что на столах—трупов нет; студентов—нет; Лесгафт—отсутствует...

И вот нам сказали: по высочайшему повелению, переданному по телеграфу из Петербурга, Лесгафт отрешен от профессуры и лишен навсегда права дальнейшего преподавания.

Но за что? За что?

Новость казалась чудовищной, нелепой....

Потом студенты, особенно близкие к Лесгафту, объяснили, что часть профессоров не сочувствовала личности Петра Францевича, всегда прямого и резкого, и что они писали доносы на него, обвиняя во вредном влиянии на университетскую молодежь.

Те же студенты сообщили нам, что другие профессора: Марковников, Голубев, Ковалевский, возмущенные изгнанием Петра Францевича, отказываются от своих кафедр и, отрясая прах от ног своих, переходят в другие университеты; что некоторые студенты, хотя и немногие, не желают дольше оставаться в Казанском университете и перейдут в Петербург, куда уезжает изгнанный Лесгафт.

Я была в то время так далека от политики, что не поняла связи события с общим строем нашей страны, и мое негодование обращалось, главнам образом, на предполагаемых доносчиков и клеветников.

Мне было грустно, что мои планы рушились, что мое учение прервано и, боясь повторения того же в будущем, я тогда же решила не добиваться более ничего в России и ехать за границу. Там не помешают! И без препятствий, без тревог можно будет спокойно учиться и кончить курс.

Было больно за Петра Францевича. Мы пошли к нему на дом. Там все было вверх дном. Продавалась мебель, посуда—ломка жизни была полная. Петр Францевич с женой и маленьким сыном оставался без средств и без всяких перспектив в будущем. Все было разбито и приходилось строить новую жизнь, на новом месте; учитель по призванию, ли-

шился аудитории, лишился атмосферы, которою жил, лишился возможности работать, как он хотел.

...Он выглядел спокойным; как всегда, говорил с легкой иронией и мы не услышали ни одной банальной фразы: он был весь—сдержанность и такт. О происшедшем он не сказал ни слова. Мы тоже не спрашивали ни о чем; ведь мы могли узнать все от студентов. Купили мы с сестрой из продававшихся вещей по чайной чашке „на память"; принесли Петру Францевичу нарочно снятую для него фотографию, на которой изображены вдвоем у столика за анатомией.

И долго белая чашка мною сохранялась. Однажды, в Шлиссельбурге, под конец заключения, жандармы дали мне совершенно такую же. Я страшно обрадовалась: она напомнила мне Петра Францевича в Казани[1]).

После ухода Петра Францевича оставаться в Казани нам было незачем: я уехала опять в деревню, в Тетюшский уезд, а весной 1872 г. втроем, т. к. к нам присоединилась сестра Лидия, мы покинули Никифорово и отправились в Цюрих, где новые горизонты, широкие и далекие, захватили нас...

---

[1]) В 1907 г. после Шлиссельбурга, я имела счастье еще раз встретиться с Петром Францевичем. Те, кто интересуется этой встречей, могут найти описание ее в приложениях к этой книге.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1. В Цюрихе.

По приезде в Цюрих я была поглощена одной идеей — отдаться всецело изучению медицины, и перешагнула порог университета с благоговением. Два года лелеяла я одну и ту же мысль; два года только и слышала вокруг, что выполнение ее требует громадной энергии, характера и прилежания; мне было 19 лет, но я думала отказаться от всех удовольствий и развлечений, даже самых невинных, чтоб не терять ни минуты дорогого времени, и принялась за лекции, учебники и практические занятия с жаром, который не ослабевал в течение более чем трех лет.

На первых порах знакомых у нас не было; потом появились две—три личности, которые принадлежали к лагерю, прозванному впоследствии „спокойно-либерально-буржуазно-консервативной партией". Они не производили впечатления. Но сестра Лидия, на занятиях анатомией, сошлась с Варварой Ивановной Александровой, а через нее получила доступ к кружку студентов, приехавших немного раньше и вкусивших уже древа познания добра и зла. Это были: две сестры Любатович, Бардина, Каменская и др. Вскоре она так подружилась с ними, что переехала жить в одном доме с ними. Так прошел весенний семестр, все лето и половина осеннего семестра, когда произошло событие, выбившее нас из колеи вполне уединенной жизни. Это была история с русской библиотекой, в которой мы были абонированы.

Русская библиотека была основана до 72 года первыми студентками, приехавшими в Цюрих, и эмигрантом М. П. Сажиным, а когда мы с сестрой приехали, в ней участвовали

и другие эмигранты: Смирнов, Ралли и Эльсниц. Она заключала в себе богатое собрание книг на трех языках по истории, политической экономии, социологии и общественным вопросам, полную коллекцию заграничных русских изданий (Колокол, Полярную звезду и т. д.), все брошюры по рабочему вопросу; в читальне можно было найти все русские журналы, русские газеты и все органы французской и немецкой рабочей прессы. Слабы были отделы беллетристики и учебников, и не без умысла, как мы узнали после. Ее основатели имели в виду цель воспитательную, и подбором книг и газет фиксировали внимание на известных вопросах: библиотека должна была давать общее развитие, а не служить пособием при изучении специальностей; в особенности она должна была воспитывать читателя в революционном и социалистическом духе. Для обеспечения этой цели, управление и заведывание делами библиотеки было сосредоточено в руках группы лиц, уже вполне определившихся, пополнявших состав группы по собственному выбору; остальная масса пользовалась за известную плату книгами, в ведении дел библиотеки не имела голоса и носила название „читающих", в отличие от „членов" библиотеки, которые являлись таким образом владетелями и администраторами ее. С наплывом большого числа студентов диспропорция между „членами" и „читающими" все увеличивалась; в конце 72 года она сделалась громадной. Неудовольствие на такой порядок вещей росло, как кажется, уже давно; теперь оно вспыхнуло. „Читающие" потребовали уравнения прав; опека небольшой группы над более чем сотней лиц была замечена и стала невыносимой. Начались совещания, дебаты, сходки; решено было бороться и, в случае нужды, выйти всей массой из библиотеки, для основания другой, вполне общественной и равноправной. Ультиматум „читающих" не был принят „членами": сто двадцать человек выписались из библиотеки. Под горячим впечатлением начались сходки для организации библиотеки на новых началах: книги и деньги так и сыпались. Меньше чем через месяц новая библиотека была открыта, и вскоре чуть не перещеголяла свою соперницу.

Но дело на этом не остановилось: решено было осно-

вать кухмистерскую и кассу помощи нуждающимся, потом вздумали купить дом, в котором сосредоточивались бы вновь народившиеся общественные учреждения, и дом был куплен в складчину с переводом долга; затем был основан клуб, появился проект учреждения двух мастерских: столярной и переплетной; был разработан проэкт бюро для доставления нуждающимся работы; явились предложения читать лекции по некоторым вопросам; приехавший тогда в Цюрих Лавров прочел несколько лекций об участии славян в истории мысли.

На общих собраниях был поставлен вопрос об объединении всей русской молодежи, рассеянной по различным университетам Европы—это был бы братский союз для взаимной помощи и осуществления общих задач совокупными силами всех, а этой задачей было всестороннее развитие своих сил для служения благу родины.

2. Женский ферейн.

Забавным эпизодом этого периода было образование женского ферейна.

На лекции минералогии Бардина, сидевшая со мной рядом, сказала: „приходите сегодня в 8 часов в Пальменгоф. Там будет собрание студенток".

Когда в назначенный час я пришла, человек 50 были уже в сборе и собрание открылось под председательством жены врача, студентки Эмме.

„Мы собрались, чтоб обсудить вопрос об образовании женского ферейна", заговорила Идельсон, изящная молодая женщина, инициатор нашего созыва. „Целью ферейна должно быть—научиться говорить логически. Обыкновенно на собраниях женщины не выступают. Они стесняются и, хотя часто имеют знаний не меньше, чем мужчины, но не умеют ими пользоваться и молчат, не решаясь просить слова. Как более привычные ораторы, говорят одни мужчины. Но ведь все дело в практике и, если мы будем собираться одни, то скоро научимся, как следует владеть речью. Поэтому я предлагаю основать ферейн, в члены которого принимались бы только

женщины. Мы будем на собраниях читать рефераты, лекции и обсуждать различные темы. Когда не будет мужчин, каждая из нас сможет высказаться свободно, как умеет, не конфузясь и не боясь критики или насмешки“.

Против такого предложения — исключить мужчин—студентки более старших курсов восстали. Они находили это исключение смешным и указывали, что при односторонием составе будущие собрания проиграют в интересе. Но студентки помоложе стояли за чисто женский состав общества, и так как нас было большинство, то предложение Идельсон было принято—„женский“ ферейн основан и краткий устав его утвержден.

Первый реферат представила сама Идельсон и, как это ни странно для аудитории очень юной и далекой от каких бы то ни было мыслей о смерти,—реферат говорил о самоубийстве, причем автор утверждал, что всякий самоубийца—психопат, и что нормальный человек ни при каких условиях не накладывает на себя рук.

Эта тема возбудила оживленные прения: громадное большинство находило взгляд референта ошибочным. Ставили вопрос: кого называть нормальным, кого ненормальным? Как провести границу между одним и другим? Да и существует ли вообще вполне нормальный человек? Большинство сомневалось в этом.

„Нормальный“... „Ненормальный“... так и звенело в зале. Не придя к единомыслию, не убедив друг друга, мы разошлись с миром.

Следующий реферат прочла Варя Александрова [1] на тему о Стеньке Разине. Бледный пересказ статьи Костомарова не был интересен и апофеоз вождя понизовой вольницы не вызвал разногласий: для всех одинаково он был героем.

Третье заседание нашего ферейна вышло крайне бурным. На обсуждении стоял вопрос, в то время очень жгучий: как при социальной революции быть с современной цивилизацией и культурой? Что давали они в прошлом и что дают в настоящем большинству человечества—трудящимся массам?

[1] Впоследствии Натансон.

Надо ли сохранить или разрушить эту цивилизацию и культуру?

Под влиянием идей Жан-Жак-Руссо и в особенности Бакунина, одни со всей решительностью объявляли, что цивилизация должна быть разрушена, так как в течение всех веков она служила на пользу только привиллегированному меньшинству и являлась орудием порабощения народных масс. Пусть при разрушении существующего строя погибнет и она бесследно — человечество от этого не проиграет. На развалинах уничтоженного разовьется новая культура, расцветет новая цивилизация; но они будут достоянием уже не кучки паразитов, а всех трудящихся, на костях и крови которых создавались существующие теперь культурные, научные и художественные ценности.

Другие с жаром возражали, защищая приобретения человечества, добытые путем тяжких жертв. Разрушить надо не цивилизацию, а тот экономический порядок, при котором все блага достаются только верхам общества. Будем,—говорили они,—стремиться к ниспровержению современного экономического строя и к водворению социалистического, при котором массы будут пользоваться всем, чем теперь пользуются только привиллегированные классы.

Спор расгорался; вместо правильных прений все заговорили разом, разбились на группы, которые с ожесточением разрушали и защищали цивилизацию. Шум и крик достигли невероятной степени. Напрасно звонила Эмме—никто не обращал внимания на колокольчик: все хотели сказать свое слово и не давали сказать его другим. От волнения у одной из спорщиц пошла кровь носом, но и это нас не остановило. Наконец, почти в отчаяньи, председательница зазвонила так неистово, что на минуту голоса смолкли. Поднявшись с места, Эмме патетически заговорила: „Mesdames! Подумайте, что вы делаете!... Вся Европа смотрит на нас!...“ Это воззвание, напоминающее Наполеона в Египте у подножия пирамид, вызвало общий смех. Настроение сразу упало. Аргументы „за“ и „против“ продолжали сыпаться со всех сторон, но уже без прежнего задора. Утомление заставило закрыть затянувшееся заседание, но споры не кончились и на улице. И долго еще

тихие кварталы спящего Цюриха оглашались звонкими восгласами: „Разрушить!“... „Сохранить!“...

Беспорядок этого собрания вызвал насмешки и дал повод сторонницам допущения в ферейн мужчин возобновить свое предложение. Но остальные упорствовали. Тогда те объявили, что выходят из ферейна. Это был уже раскол: он предвещал конец нашему начинанию.

Действительно, после этого общих собраний больше не было. Так после 5—6-недельного существования женский ферейн тихо скончался; никто этого и не заметил.

3. „Фричи“.

Еще в прежней библиотеке происходили постоянно разные сборы: на стачки рабочих, на коммунаров, на русских эмигрантов, на революцию в Испании и т. п. Большинство новичков давало деньги, не понимая хорошенько для чего, но постоянно повторяющиеся обращения вызывали, наконец, вопросы, на которые следовали объяснения. На стенах читальни часто виднелись объявления о сходках рабочих, о лекциях для рабочих и т. п. Надо было быть совсем слепым и глухим, чтобы не заинтересоваться; начались посещения рабочих совещаний, банкетов в честь Коммуны, собраний швейцарских рабочих союзов и секций Интернационала. Интерес к изучению социализма, как теоретического, так и практического, как он выражался в организации рабочих, достиг сильной степени. Для удовлетворения такой потребности сложились отдельные кружки. Одним из таких кружков был кружок „Фричей“, названный так по имени хозяйки дома, в котором жило большинство его членов; в него входило человек 12, все женщины; большинство судилось потом по процессу 50-ти. Кружок ставил задачей: 1) изучение развития социалистических идей, начиная с Томаса Моруса до последнего времени; сюда входили Фурье, С. Симон, Кабэ, Луи Блан, Прудон, Лассаль; 2) изучение политической экономии; 3) изучение народных движений и революций; 4) ознакомление с практической постановкой рабочего вопроса на Западе; изучение английских трэд-юнионов, истории Интерна-

ционала, истории Всеобщего Германского Рабочего Союза, основанного Лассалем и пр.

Насколько серьезно было отношение ко всем этим вопросам, показывает то, что на осуществление этой программы было употреблено два года систематического чтения и занятий.

Можно подумать, что общественные затеи и масса возникших вопросов, настоятельно требовавших разрешения, совершенно изгнали изучение специальности. Ничуть не бывало—это было время гармонического увлечения наукой, литературой и жизнью. Мы чрезвычайно дорожили лекциями анатомии, в особенности занятиями в анатомическом театре; лекции зоологии профессора Фрея возбуждали большой интерес; тот же профессор не мог нахвалиться способностями студенток к практическим занятиям гистологией, которую он читал. Конечно, мы не пропускали ни одной лекции по физиологии, которые читал известный профессор Германн, долго противившийся допущению женщин в цюрихский университет. Аудитории оставались пусты только у профессоров химии и минералогии, лекции которых были скучны и давали меньше, чем книга; зато химическая лаборатория была переполнена. В общем студентки занимались усерднее, чем мужской персонал университета.

В самый разгар цюрихской жизни, летом 73 года, вышел правительственный указ, приказывавший студенткам оставить цюрихский университет, под угрозой, в случае ослушания, не допускать к экзаменам в России. Все были поражены неожиданностью этого распоряжения. В мотивировке указа упоминалось увлечение социалистическими идеями, но, кроме того, был пункт, который задевал в высшей степени всех женщин: этот пункт гласил, что под покровом занятий наукой, русские женщины едут заграницу, чтобы безпрепятственно предаваться утехам „свободной любви“. Клевета была наглая; она повела к тому, что иные иностранцы стали смотреть на нас, как на женщин легкого поведения.

Тотчас после указа было созвано общее собрание студенток; на нем было предложено написать протест против оскорбления нашей чести, и напечатать его во всех европей-

ских газетах. К сожалению, голоса разделились: весь консервативный лагерь—старшие курсы—воспротивились; они решили не только проглотить обиду, но, в случае протеста, напечатать за своими подписями заявление, что они в протесте не участвуют. Благодаря этому, дело не состоялось.

После указа, говорившего *только* о Цюрихе, желавшему остаться заграницей оставалось воспользоваться лазейкой и перейти в другие университеты.

С тех пор Цюрих рассеялся: одни возвратились на родину по недостатку материальных средств, другие, чтобы приложить на практике идеи, с которыми они познакомились в Швейцарии, а третьи отправились в Париж, Берн и Женеву.

В моей жизни произошло за это время много перемен Как только муж и я пришли в соприкосновение с массой разнообразных лиц и натолкнулись на новые вопросы, между нами явилось разногласие: он примкнул к лицам, старшим по возрасту, к консерваторам, а я присоединилась к крайним. На всех собраниях, при всяком вопросе мы резко расходились. В кружок Фричей, при его возникновении, я не попала; на его чтениях я начала присутствовать гораздо позднее; меня не приглашали, потому что не любили мужа, который относился свысока к его занятиям; предполагали, что и я смотрю таким же образом. Гордость не позволяла мне высказаться, пока, наконец, как-то случайно, я не осталась вечером у Бардиной, у которой в этот день должно было происходить чтение. Когда начали собираться, я вскочила, чтобы убежать, но Бардина ласково остановила меня: мы объяснились, и с тех пор я не пропускала ни одного собрания.

За этот год в моих мыслях произошел такой же переворот, как и у других: то, что было прежде целью, мало-помалу, превратилось в средство; деятельность медика, агронома, техника, как таковых, потеряли в наших глазах смысл; прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое; мы предполагали лечить сам-

птомы болезни, а не устранять ее *причины*. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстур и порошков, получится лишь временное облегчение; заболевания не сделаются реже, так как обстановка, все неблагоприятные условия жилища, питания, одежды и т. п. у больного останутся все те же; это была бы белка в колесе. Цель, казавшаяся столь благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла, почти бесполезного.

Куда же обратить свой взор, куда направить силы? Что должен делать человек, желающий удовлетворить своей потребности в общественной деятельности? Все зло—отвечали нам новые впечатления заключается в существующих экономических отношениях. Эти отношения таковы, что ничтожное меньшинство владеет на правах частной собственности всеми орудиями производства, остальная часть человечества, составляющая громадное, подавляющее большинство, владеет только рабочей силой. Побуждаемое голодом, это большинство продает свой труд первой группе и, в силу конкурренции, получает за него лишь небольшую часть того, что создается его трудом; эта часть составляет минимум жизненных продуктов, необходимых для поддержания существования рабочего и продолжения его рода. Остальная часть продукта его труда удерживается владельцем орудий производства. Конкурренция капиталистов уничтожает средний зажиточный класс и приводит ко все бо̀льшему и бо̀льшему сосредоточению капиталов; вместе с тем ряды обездоленных все увеличиваются. И в то время, как наверху ничтожная кучка счастливцев наслаждается всем, что может доставить роскошь и цивилизация, внизу миллионы людей пресмыкаются в нищете, невежестве, преступлениях и пороках и осуждены на вырождение физическое, умственное и нравственное. Чтобы покончить с порядком вещей, столь отвратительным, необходимо одно:—изъять орудия производства из числа объектов частной собственности и передать их в коллективное владение трудящихся. Достигнуть такого переворота возможно лишь путем борьбы, так как класс, находящийся в хороших условиях, добровольно от своего положения не откажется. Для этой борьбы должен быть организован тот класс, кото-

рый наиболее заинтересован в успешном исходе ее, т. е. рабочий класс, народ. Люди, отождествляющие интересы этого класса с интересами всего человечества, должны отдать себя всецело делу пропаганды социалистических идей среди народа и организации его для активной борьбы за эти идеи.

Таков был итог цюрихской жизни.

Летом 73 года, при наступлении каникул, все разъехались. Моя сестра, Лидия, с товарками отправилась в кантон Невшатель. Не знаю как, но мне удалось тоже поехать с ними. Мы поселились в местечке Лютри, на берегу Невшательского озера. В один из поэтических швейцарских вечеров, во время уединенной прогулки среди виноградников, сестра, в выражениях, в высшей степени трогательных, поставила мне вопросы: решилась ли я отдать все свои силы на революционное дело? В состоянии ли я буду, в случае нужды, порвать всякие отношения с мужем? Брошу ли я для этого дела науку, откажусь ли от карьеры? Я отвечала с энтузиазмом. После этого мне было сообщено, что организовано тайное революционное общество, которое думает действовать в России; мне был прочтен устав и программа этого общества, и после того, как я выразила согласие со всеми пунктами, я была объявлена его членом. Мне было тогда 21 год.

Этот первоначальный устав был почти полной копией с устава любой секции интернационала; в нем не было и намека на особенности русского народа и условия русской жизни. Готовая западноевропейская формула переносилась целиком на русскую почву. Та же ошибка в более обширных размерах была повторена всеми пропагандистами начала 70-х годов. Положение рабочего класса на Западе сводилось всецело к изменению существующих экономических отношений, к борьбе с буржуазией. Но мы забыли прошлое этого вопроса: для того, чтобы он встал перед пролетарием во всей наготе и определености, потребовалось не мало времени, борьбы, горьких разочарований и крови. В 1789 г. народ, не отделяя своих интересов от интересов буржуазии и идя с ней рука в руку, низвергнул монархию „милостью Божиею“ и установил принцип „волею народа“ Были про-

возглашены права человека и гражданина, сословные привиллегии пали и политическая равноправность была водворена. В последующие годы политическое равенство раскрыло глаза всем: граждане, равноправные юридически, совсем не были таковыми на деле; общество представляло по прежнему иерархическую лестницу, изменился лишь принцип, на котором она была построена; вместо аристократии крови явилась аристократия капитала. Плоды переворота достались буржуазии, захватившей с тех пор кормило правления. По мере того, как выяснялась эти истина, народ стал понимать, что его интересы чужды интересам других классов, и что защитить их может лишь он сам; что политическое равенство останется пустым звуком, пока не будет уничтожено неравенство экономическсе, потому что рабочий находится в такой рабской зависимости от хозяина, что его права гражданина превращаются в иллюзию.

Запутанность и неопределенность отношений исчезла, задача упрощалась. Конечно, это был громадный выигрыш; но кроме этого, французская революция принесла с собой великое благо—политическую свободу. Свобода слова, свобода сходок давали народу могущественное орудие для пропаганды, агитации и организации; с таким оружием можно было завоевать мир. И пролетарий начал его завоевание Великая Международная Ассоциация рабочих широко раскинула свою организацию на страны всего цивилизованного мира. Мы видели конгрессы этой ассоциации (в Женеве, в 73 г.); делегаты Англии, Франции, Италии, Бельгии, Испании, Америки и Швейцарии представляли собой сотни тысяч рабочих, вступивших в союз для борьбы с эксплоатацией труда капиталом. Невозможно было представить себе что либо более величественное, чем собрание представителей различных национальностей, идущих к одной и той же цели, защищающих одни и те же интересы.

Видя, что на Западе политическая свобода не осчастливила народа, и оставила незатронутым целый ряд интересов, мы ухватились за последнее слово домогательств рабочего класса и стали исключительно на почву экономических отношений. Мы считали невозможным призывать русский

народ к борьбе за такие права, которые не дадут ему хлеба; вместе с тем, думая изменить существующие экономические условия, мы надеялись, подрывая в народе идею царизма, добиться демократизации политического строя. О гнете современного политического строя России, об отсутствии какой бы то ни было возможности действовать в ней путем устного и печатного слова, мы и не помышляли. Хотя мы и тогда думали, что попадем в ссылку и на каторгу, но сколько нибудь реального представления о предстоящих нам трудностях, препятствиях и опастностях мы не имели. Дорого пришлось после поплатиться за это.

Проводить в народе социалистические идеи мы думали без всяких уступок существующему народному миросозерцанию; считали необходимым говорить ему не только о коллективной собственности, но и о коллективном труде,— по принципу: „от каждого по его способностям", и о коллективном потреблении продуктов труда—по принципу: „каждому по его потребностям". Говоря коротко, думали вырабатывать среди народа сознательных социалистов в западноевропейском смысле. Для этого, конечно, надо было жить среди народа, по возможности даже сливаться с ним. Первоначально мы не считали необходимым, чтоб интеллигенты делались физическими работниками; к этому пришли позже. С самаго же начала отвергали только вполне привиллегированные положения: помещика, доктора, мирового судьи и т. п. Программа общества, членом которого я сделалась, резюмировала эти взгляды и говорила о социальной революции, которая осуществит социалистические идеалы, как о ближайшем будущем. Нас было всего 12 человек студенток, но мы знали, что, кроме нас, существует масса других групп, задающихся теми же целями, и потому были рены, что работа пойдет в широких размерах.

В это лето вышел первый № журнала „Вперед" Он дал сильный толчок нашим умам, вызвав много споров и вопросов.

После разгона Цюриха, один из наших членов, Евгения Дмитриевна Субботина, уехала в Россию, пять человек переселились в Париж (Бардина, Александрова, Лидия Фигнер

и две младшие сестры Субботиной); остальные, между прочим, две Любатович, Каменская, я и некоторые другие, поступили в бернский университет.

Вскоре в Берн явился Ткачев с предложением нашей группе вступить в федеративные отношения с „десятью десяткам“ революционеров, находящихся в России, и уполномочивших его на это предложение.

В то время мы, как и вообще громадное большинство социалистической молодежи, более сочувствовали федералистическим началам организации, и в споре, разделившем интернационал на две ветви,—централистическую и федералистическую, — держали сторону бакунистов, как и вообще были под обаянием личности Бакунина.

Ткачев явился к нам с программой якобинской и централистической, и так как он пользовался репутацией человека, признающего фикции полезными в революционном деле, а мы были против политики Нечаева, то после нескольких бесед с Петром Никитичем, мы отказались от предлагаемого союза.

Между тем, наши парижане познакомились, сошлись а впоследствии слились с кружком кавказцев, в который входили: Джабадари, Чикоидзе, Цицианов и некоторые другие. Несколько времени спустя, сестра Лидия и Надежда Дмитриевна Субботина уехали в Россию для деятельности; остальные сошлись с революционером Фесенко, который передал им связи в Сербии; так как тогда мы смотрели на вещи с точки зрения интернациональной, то решено было непременно воспользоваться этими связями и послать в Сербию когонибудь из членов для агитации и основания социалистического органа с помощью местных сил. Выбор пал на меня. В это время я была уже почти свободна, так как муж мой возвратился в Россию, чтобы занять место секретаря окружного суда в Казани. Но я совсем не знала сербского языка и не могла себе представить, как при таком условии я буду действовать в Сербии, то настоятельно просила не посылать меня. Тогда для этой цели была избрана Мария Дмитриевна Субботина, уехавшая потом из Сербии прямо в Россию.

Под конец учебного года еще шесть человек решили

бросить университет и приняться за деятельность в России Но я все еще не решалась последовать примеру этих наиболее искренних лиц. Меня связывали еще не порванные семейные отношения и желание окончить курс; в последнем меня поддерживали просьбы матери, очень огорченной тем, что Лидия оставила университет. Кроме того, уезжавшие женщины, члены группы, думали сдать в России экзамен на звание акушерок. Мне было хорошо известно, что необходимых для этого знаний они не имеют, и я не хотела шарлатанить. Окончив курс, я думала сделаться такой же скромной фельдшерицей или акушеркой в деревне, как и они, но принести на помощь народу всю опытность и знания врача-хирурга. Так я осталась в Берне почти в полном одиночестве и пробыла за границей еще полтора года.

4. Урок жизни.

В это время в России уже происходили погромы социалистических кружков, и на Запад потянулась новая формация эмигрантов. В Женеве на вакатах мне приходилось встречаться со многими из них; некоторых я знала еще в Цюрихе, когда они учились вместе со мной, например, Николая Жебунева и его жену. В Женеве же я познакомилась

Чубаровым, Ник. Морозовым, Саблиным, Судзиловским. позднее с Клеменсом, Кравчинским, Иванчин-Писаревым. Иваном Дебагорио-Мокриевичем, Пименом Энкуватовым и многими другими. Кроме русских, были у меня знакомые и между иностранными выходцами, члены коммуны: Pindy и Lefrançais; эмигрант Brousse—выдающийся по своей энергии деятель интернационала; Guillaume редактор органа Юрской федерации и др.

Некоторые из русских навещали меня в Берне и так как находили во мне сочувствие и денежную помощь, то многие кружки в России знали о моем существовании раньше моего приезда на родину. Многие возвратились в Россию на мои средства, например, Чубаров (повешенный) с одним товарищем, Николай Морозов и Саблин (когда оба

были арестованы на границе), а также Иван Мокриевич, Энкуватов и два их товарища. Кроме того, я поддерживала каких-то русских в Берлине и Лондоне. В то время я сама располагала некоторыми средствами и, сокращая до минимума свои потребности, могла уделять немало окружающим; кроме того, старалась возбудить сочувствие к социалистам в других и побуждала их к пожертвованиям. Все это делало меня более или менее известной; кажется, с тех пор и явилось, впоследствии ходячее в нашей среде мнение, что, если нужны деньги, то надо обращаться ко мне. В самом деле, я никогда не могла переносить мысли, что хорошее или полезное дело может останавливаться из-за презренного металла и, если дело шло о сотнях, то выкапывала их хоть из-под земли.

Из эмигрантов более старшего поколения в Женеве жили: писатель-публицист нечаевец Ткачев и его жена Дементьева, судившаяся, как и он, по процессу 1872 года. Мы, новое поколение, относились отрицательно к личности Нечаева и к приемам, къ которым он прибегал при вербовке членов в свои кружки. Его теория—цель оправдывает средства—отталкивала нас, а убийство Иванова внушало ужас и отвращение. Отношение к Ткачеву, как революционному деятелю, придерживающемуся тех же приемов, было тоже отрицательно, но он был веселый и занимательный собеседник, очень живой и общительный, поэтому я часто заходила к ним.

Въ институте я слыла насмешницей и в Цюрихе отличалась тем же. Какие злые шутки я могла позволять себе, показывает следующая проказа. Летом 1874 г. в Женеве среди нас вращался человек лет 50-ти, полковник Фалецкий. Из хвастовства он сообщал всем и каждому, что приехал за границу, чтобы переговорить с Лавровым об организации в России кассы помощи эмигрантам, устав которой он привез с собой. Когда наступило время возвращения на родину, полковник стал обнаруживать беспокойство: встречному и поперечному он высказывал опасение, как бы полиция не пронюхала об его миссии и не арестовала на границе. Заметив, что он трусит, я и Ткачев вздумали мистифицировать

его. Мы написали подметное письмо, которое извещало Фалецкого, что ему угрожает опасность, что при переезде границы он будет арестован. Подробности будут ему сообщены дамой, которую он увидит на острове Жан-Жак Руссо. Она будет сидеть на садовой скамейке и он узнает ее по зеленому вуалю, закрывающему лицо. Затем мы отправились к сестре известного литератора Николадзе, студентке Като, очень резвой девушке, и, посвятив ее в наш заговор, заручились ее согласием пойти в условный час на остров Руссо. Там, в условном месте, она должна была ждать Фалецкого и сказать ему, что один из ее знакомых, служащий в полицейском бюро иностранцев, сообщил ей, что в этом учреждении есть донос, по которому Фалецкий при возвращении в Россию должен быть арестован. Переговорив с Като Николадзе, мы отправились к дому, в котором квартировал Фалецкий, заглянули в окно его комнаты, расположенной в нижнем этаже, и, удостоверившись, что его нет дома, подбросили составленное нами письмо с подписью „Незнакомка". Затем все пошло, как по маслу. Фалецкий, придя домой, нашел письмо и страшно взволнованный отправился на место таинственного свидания. Като обморочила его, как нельзя лучше. Полковник был в отчаянии. Он побежал ко всем знакомым оповещать о своем несчастьи и чуть не рвал на себе волосы: всего три месяца оставалось ему до получения пенсии! Теперь не видать ему ее, как своих ушей. К чему после этого возвращаться в Россию? Его ждет арест и, несомненно, ссылка. На старости лет, без средств, ему приходится сделаться эмигрантом...

Однако, кто-то надоумил несчастного отправиться к Элпидину, старейшему среди эмигрантов, и посоветоваться с ним, что делать? Элпидин, уже много лет живший в Женеве и имевший связи с женевской администрацией, принял участие в соотечественнике. Он сам страдал шпиономанией: уверяли, что после нескольких лет счастливого супружества, он усомнился даже в собственной жене и наводил справки о ее политической благонадежности. Он был опытен в делах шпионажа и легко разоблачил даму под вуалью. Мне и Ткачеву пришлось пожать то, что посеяли. Когда Фалецкий

и вся остальная публика узнали, что все происшедшее было одной мистификацией, и мы услыхали, какое действие на Фалецкого имела наша проказа, я отправилась к нему. Я увидала его таким униженным и жалким от сознания обнаруженной им трусости, что мне стало больно и стыдно. Я чистосердечно покаялась и просила у старика прощения, которое и получила без труда, но с той поры уж закаялась подобным образом вышучивать людей.

5. Отъезд в Россию.

Тем временем в России кружок наш действовал на всех парах. Его организация выработала стройный план, как можно судить по программе, читанной на процессе 50-ти. Численность его, в действительности, была не более 20—25 человек. Он имел свой орган - газету „Работник", издававшуюся за границей. Имея задачей образование среди народа социалистического меньшинства путем мирной пропаганды, организация признавала и агитацию, необходимость поддержания и возбуждения частных бунтов. не дожидаясь общего и победоносного взрыва. План самой организации оставался чисто федералистическим, без всякой иерархии и подчинения групп одного разряда—другим; форма, в которой должен был действовать интеллигент, была обязательно рабочая, демократическая. Организация избрала сферой своей деятельности среду фабричных рабочих, как более развитых и, вместе с тем, не порвавших связи с деревней, проводником идей в которую они могли стать весьма легко, возвращаясь на летние работы домой, в крестьянство; на этом и был основан план пропаганды устной и литературной. Члены организации расселились по фабричным центрам: одни поступили на фабрики в Москве, другие сделались ткачами въ Иваново-Вознесенске, третьи работали на свекло-сахарных заводах в Киеве, четвертые поселились в Туле. Но к осени 1875 года вся организация погибла: все члены, лица, близко стоявшие к ним, и много рабочих были заключены в тюрьмы. Но и после этого кое-что оставалось и думало продолжать начатое.

Тогда вспомнили о том, что за границей имеются члены той же организации, давшие обет быть „всем за одного и каждому за всех“. Мне и Доротее Аптепман Марк Натансон передал просьбу о приезде в Москву для упорядочения и поддержания дел кружка. Я сказала бы ложь, если бы не упомянула о той борьбе, которую мне пришлось испытать прежде, чем решиться на этот шаг. Муж уже не был мне помехой, так как еще весной я написала ему, что отказываюсь от его денежной помощи и прошу прекратить со мной все сношения. Но медицина, диплом? До окончания курса оставалось каких-нибудь полгода; я уже обдумывала тему для докторской диссертации, к которой должна была приступить через два-три месяца. Надежды матери, ожидания знакомых и родных, смотревших на достижение ученого звания, как на блестящий и тяжелый подвиг, самолюбие, тщеславие! Все это приходилось разбить собственными руками, когда цель была уже перед глазами. Когда я проанализировала, как эту сторону, так и другую, где были друзья, отдавшиеся делу беззаветно, всей душой, люди, пренебрегшие теми же чувствами, теми же благами и не уступившие ни эгоизму родных, ни личному самолюбию; когда я вспомнила, что эти люди томятся в тюрьме и уже испытывают тяжелую долю, к которой мы вместе мысленно приготовляли себя, подумала о том, что в настоящий момент уже обладаю знаниями, необходимыми для врача, и мне не достает лишь официального ярлыка на это звание, и что лица, знающие положение дел, говорят, что я *нужна*, нужна именно теперь, и буду полезна для того дела, к которому готовила себя,— я решила ехать, чтобы мое слово не расходилось с делом. Решение мое было обдуманно и твердо, так что потом, ни разу во все время, я не посмотрела с сожалением назад. В декабре 1875 года я выехала из Швейцарии, унося навсегда светлое воспоминание о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель, столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными.

В то самое время, как я ехала в Россию, моя мать собиралась приехать в Швейцарию для поправления здоровья, сильно подорванного арестом Лидии. Я явилась к ней бе-

предупреждения и едва застала в Петербурге. Нечего и говорить, как тяжел был для нее этот новый удар. Через несколько дней она выехала, взяв с собою моих сестер, Ольгу и Евгению, уже кончившую гимназию. Для последней эта поездка не была бесследной: за границей она познакомилась с некоторыми эмигрантами—Иванчин-Писаревым, Лешерн и др. и по возвращению в Россию в ее развитии я заметила значительную перемену.

После отъезда матери я поселилась в Москве, где был центр погибшей организации. Для того, чтобы не навлечь на себя и новых товарищей полицейского надзора, мне пришлось отказаться от свидания с сестрой Лидией, которая содержалась в одной из полицейских частей г. Москвы. Я легко примирилась с этим, т. к. приехала не ради нея; я была полна надежд и уверенности, что общественное дело предъявит такие широкие требования на мои умственные и нравственные силы, что элемент личный будет совершенно вытеснен из моей жизни. Меня ждало разочарование, самое горькое: товарищи, привлеченные к деятельности на-ряду со мной, составляли группу необъединенную, недисциплинированную, без всякаго опыта и общего плана действий; лучшие, более опытные—Василий Ивановский и Ионов скоро были арестованы; окружающая молодежь не имела ни малейшей подготовки; рабочие, с которыми приходилось встречаться, были развращены и бессовестно тянули от нас деньги. Вместо широкого плодотворного дела, в руках были какие-то обрывки, без системы и связи; я никак не могла ориентироваться среди этого хаоса.

На меня были возложены сношения с товарищами в тюрьмах. Целые дни я проводила за шифровкою писем, а по вечерам отправлялась в грязные трактиры, чтобы видеться с какими-то темными личностями, или на бульвары и в мрачные московские переулки для свиданий с жандармами и городовыми. Отвратительно было видеть этих людей, готовых каждую минуту продать и ту, и другую сторону. Мы замышляли несколько побегов [1]), но кроме значитель-

---

1) О. Любатович. Бардиной.

ных затрат в результате не вышло ничего. К этому же времени относится процесс жандармского унтер-офицера Буханова, приговореннаго к арестанским ротам за то, что он хотел вывести из места заключения Цицианова и Джабадари.

Надо всем этим тяжелым гнетом лежало общее положение дел революционной партии: все кружки к этому времени были разбиты правительственными преследованиями; судя по докладу министра юстиции гр. Палена, около 800 лиц были привлечены к следствию; количество лиц, подвергнутых кратковременному аресту и обыскам, было много больше; точно моровая язва прошла по известному слою общества—каждый потерял друга или родственника: масса семейств испытывала горе; но все эти тревоги были ничто пред тем нравственным потрясением, которая принесла с собой неудача пропагандистского движения; у многих надежды рухнули; программа, казавшаяся столь осуществимой, не привела к ожидаемым результатам; вера в правильность постановки дела и в свои собственныя силы поколебалась; чем сильнее был энтузиазм лиц, шедших в народ для пропаганды, тем более горько было разочарование. Старое было разбито; но новые взгляды еще не выработались.

Напрасно отдельные лица старались сплотить разрозненные ряды,—они тотчас распадались, так как основания были прежние и действовать думали по рутине. Самому талантливому, Марку Андреевичу Натансону, удалось слить уцелевших чайковцев с лавристами (кружком, наиболее близким к Лаврову, поддерживавшим „Вперед" деньгами и литературным материалом); но через месяц новое общество распалось. К тому же времени относится поездка группы пропагандистов в Нижегородскую губернию (Ю. Богданович, А. Квятковский и др.). Едва основавшись, они возвратились; полицейский надзор так обострился, и было возбуждено такое недоверие ко всякому пришлому элементу, что удержаться в деревне было невозможно. После этих попыток инициатива исчезла. Лично я была в таком настроении, что думала лучше бы умереть. Из всех знакомых этого периода я могу с любовью остановиться на одном нелегальном лавристе Антоне Таксис. Он поддержал меня в самые тяжелые минуты

я внушил некоторые принципы, с тех пор не покидавшие меня. Он указал мне некоторые причины неудачи революционного движения; как настоящий лаврист, он видел беду не в постановке дела, слишком теоретичной, а в неподготовленности, непрактичности и неумелости деятелей; он глубоко верил в будущее революционного дела и на современное состояние смотрел, как на скоро-преходящий момент, неизбежный в движении, только что начавшемся. Кроме того, он постоянно твердил мне, что для дела нужны не порывы, а терпеливая и кропотливая работа; что результаты этой, по истине черной, работы могут быть ничтожны, но мы должны быть к этому готовы и не отчаиваться, так как каждая новая идея лишь медленно воплощается в жизнь и, при известных исторических условиях, каждый делает лишь то, что он может сделать. Он же поддержал меня в желании оставить Москву, поселиться в деревне и самой увидеть, что за сфинкс—народ.

Весной я нашла человека, взявшего на себя мои обязанности, и я уехала в Ярославль. По совету одного практичного человека, я скрыла свое пребывание за границей и университетские занятия—это считалось неблагонадежным, и стала посещать Ярославскую земскую больницу. Через полтора месяца я держала экзамен на фельдшерицу при врачебной управе. По выражению инспектора врачебной управы, я отвечала, „как студент", а латынь знала лучше его; в дипломе было сказано, что я сдала экзамен блестящим образом, но мне пришлось не раз прикусить язык, чтобы не пуститься в слищком научные рассуждения.

Из Ярославля я отправилась в Казань, чтобы покончить мои семейные дела, так как муж и я думали развестись формальным порядком. Через несколько месяцев этот развод состоялся, и я приняла свою прежнюю фамилию. По возвращении в Петербург я сдала экзамен при мед. хирург. академии на звание акушерки. К ноябрю 1876 г. все мои житейские расчеты были кончены. Над прошлым был безповоротно поставлен крест. И с 24 лет моя жизнь связана исключительно с судьбами русской революционной партии.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

1. Программа „народников“.

До конца 76 года русская революционная партия разделялась на две большие ветви: пропагандистов и бунтарей. Первые преобладали на севере, вторые—на юге. В то время как одни придерживались, в большей или меньшей степени, взглядов журнала „Вперед“, другие исповедывали революционный катехизис Бакунина. И те и другие сходились в одном—в признании единственной деятельностью деятельность в народе. Но характер этой деятельности понимался обоими фракциями различно. Пропагандисты смотрели на народ, как на белый лист бумаги, на котором они должны начертать социалистические письмена. они хотели поднять массу нравственно и умственно до уровня своих собственных понятий и образовать из среды народа такое сплоченное и сознательное меньшинство, которое вполне обезпечивало бы в случае стихийного или подготовленного организацией движения, проведение в жизнь социалистических принципов и идеалов. Для этого требовалось, конечно, немало труда и усилий, а также и собственной подготовки. Бунтари, напротив, не только не думали учить народ, но находили, что нам самим у него надо поучиться; они утверждали, что народ—социалист по своему положению и вполне готов к социальной революции; он ненавидит существующий строй и, собственно говоря, никогда не перестает протестовать против него; сопротивляясь, то пассивно, то активно, он постоянно бунтует. Объединить и слить в один общий поток все эти отдельные протесты и мелкие возмущения—вот задача интеллигенции. Агитация, всевозможные тенденциозные слухи,

разбойничество и самозванщина—вот средства, пригодные для революционера. Никому неизвестен час народнаго возмездия, но когда в народе накопилось много горючего материала, маленькая искра легко превращается в пламя, а это последнее—в необъятный пожар. Современное положение крестьянства таково, что недостает только искры—этой искрой будет интеллигенция. Когда народ возстанетъ, движение будет безпорядочно и хаотично, но народный разум выведет народ из хаоса и он сумеет устроиться на новых и справедливых началах.

При такой программе не требовалось даже особенной организации и дисциплины среди деятелей и так как народ повсюду готов к восстанию, то не нужно намечать и определенного места для него: где бы ни сверкнула первая искра, огонь все равно разольется повсюду.

В противоположность югу, на севере вопрос об организации был одним из самых серьезных вопросов и удовлетворительное решение его оказало громадные услуги революционному делу, так как обезпечивало преемственность, накопление опыта и постепенную выработку высшего типа организации. В самом деле, южане исчезли, не оставив на месте никакой традиции, их родословное древо прервалось; как Каракозовцы, Нечаевцы, Долгушинцы, они были вырваны с корнем; отдельные, очень немногие уцелевшие личности, если и были, то приставали к новым группам и вполне поглощались ими. А на севере, благодаря большой организованности, существовала преемственность революционных групп: чайковцы—последняя группа, носившая имя отдельного лица—положили в 1876 году начало обществу „Земля и Воля", а из него в 1879 году образовалась партия „Народной Воли".

Но как бы то ни было, и прапагандисты, и бунтари в своей практической деятельности в народе потерпели фиаско, т. е., как в самом народе, так и в политических условиях страны встретили неожиданные и непреодолимые препятствия к осуществлению своей програмы, как в то время они понимали ее. Людей, готовых продолжать революционную работу, пристать к определенному плану действий, было,

однако, довольно много. Несмотря на все аресты, более опытные из них приступили к оценке прошлого, к выработке новых начал революционной практики.

Осенью 76 года в Петербурге три чайковца: Юрий Николаевич Богданович, Александр Иванович Писарев и Н. Драго начали разрабатывать принципы революционной деятельности в народе, положив в основу новой программы как свой личный, так и весь общественный опыт предшествующего времени, со всеми его надеждами и неудачами. В то же время, независимо от них, другие революционные группы разрабатывали в Петербурге те же вопросы и пришли к тождественным выводам [1]). Результатом всех этих трудов была программа, известная впоследствии под именем „народнической" [2]). Она вошла целиком в программу общества „Земля и Воля", а позднее частью и в „Народную Волю".

В основание этой программы легла мысль, что русский народ, как и всякий другой, находящийся на известной ступени исторического развития, имеет свое самобытное миросозерцание, соответствующее уровню нравственных и умственных понятий, которые могли в нем выработаться при условиях, среди которых он жил. В народное мировозрение входят, как часть, известные отношения народа к вопросам как политическим, так и экономическим. При обыкновенном течении жизни, без изменения учреждений, окружающих народную жизнь, переформировать раз установившиеся взгляды его на эти вопросы—вещь крайне трудная. Поэтому необходимо сделать попытку при революционной деятельности в народе—отправляться от присущих ему в данный момент отношений, стремлений и желаний, и на своем знамени выставить уже самим народом сознанные идеалы. Таким идеалом в области экономической является земля и трудовое начало, как основание права собственности. Относительно земли народ никак не может и не хочет примириться с мыслью, что она может принадлежать кому-нибудь, кроме него, ее сеятеля и ревнителя; он смотрит на нее, как

---

[1]) См. Воспом. Антекман.

[2]) Раньше это название нами не употреблялось.

на дар Божий, которым должен пользоваться лишь трудящийся над нею; на современное же положение земельной собственности—как на временное пленение его поительницы и кормилицы; но рано или поздно—эта земля вся отойдет к нему.

На этой земле народ живет по своим исконным обычаям—общиной; с ней он ни разу не расставался во все свое тысячелетнее существование, ее же он придерживается с традиционным уважением и теперь. Отобрание всей земли в пользу общины — вот народный идеал, вполне совпадающий с основным требованием социалистического учения. На нем следует остановиться, во имя его начинать борьбу.

Но взгляды народа на государственную власть, на ее выразителя—царя? Как быть с его упованиями на государя, как на защитника, покровителя и источника всех благ?

Разбить веру в царя возможно лишь путем фактических доказательств, что царь не стоит на страже его интересов и не приклоняет уха своего к народным жалобам и стонам. Одним из средств для достижения этой цели может служить систематическая организация ходоков от волостей, уездов и целых губерний к царю с изложением народных нужд и желаний. Судьба подобных челобитчиков известна—одни ссылаются в далекие губернии, другие подвергаются аресту, третьи возвращаются на родину по этапу. Горький опыт покажет народу, что ждать от царя нечего и что приходится надеяться лишь на свои силы в деле добывания лучшего будущего. Но, чтобы поднять дух народа и его способность к защите своих интересов, нужна известная система действия со стороны революционеров. Живя среди народа в форме, не насилующей резко привычек и слабостей культурного человека, но тем не менее близкой к народу, форме полуинтеллигентной, если можно так выразиться (волостного писаря, бухгалтера ссудосберегательной кассы, фельдшера, мелкого торговца и т. п.), революционеры должны пользоваться всеми случаями и сторонами крестьянской жизни, которые дают повод оказать поддержку идее справедливости или возможность помочь личности и обществу в защите ими своих интересов или достоинства. Становясь в положение, близко сопри-

касающееся с повседневными интересами народа, каково напр. положение волостного писаря, революционер должен влиять на волостной суд, изгоняя из него водку и подкуп, и делая его настоящим судом народной совести; он должен поднять значение мирской сходки и волостного суда, делая их действительным выражением общественного мнения, а не игрушкой разных сельских проходимцев; он должен оттирать от общественных дел кулаков и мироедов и поднимать значение деревенской голытьбы; возбуждать и поддерживать тяжбы с помещиками, кулаками, с казенными учреждениями; везде, где возможно, настаивать на защите крестьянами их прав и домогательств; словом, развивать в крестьянстве дух самоуважения и протеста; вместе с тем, высматривать энергичных людей, вожаков, которые особенно горячо относятся к интересам мира; сплачивать и соединять их в группы, чтобы на них опереться в борьбе, которая, начинаясь с легального протеста, должна вступить, наконец, на путь чисто революционный.

Эти основные начала были предложены на рассмотрение сходок. На сходки приглашались по выбору люди, чем нибудь себя проявившие, многие нелегальные. Программа деятельности в народе была одобрена единодушно, но к ней были сделаны новые и весьма важные добавления, носившие в себе зародыш будущего. Во-первых, было предложено избрать для деятельности в народе определенный район, который по своим традициям был бы наиболее революционным, и где аграрный вопрос наиболее обострен; такой местностью было названо нижнее Поволжье. Когда на революционном знамени ставились уже существующие народные требования, то не было необходимости раскидываться по всей России: достаточно было довести до восстания одну местность, чтобы остальные, проникнутые теми же желаниями и стремлениями, примкнули к движению, выставляющему общенародный идеал. Во-вторых, на этих сходках было впервые указано, что никакому восстанию не будет обеспечен успех, если часть революционных сил не будет направлена на борьбу с правительством и подготовление такого удара *в центре* в момент восстания в провинции, который привел бы государственный

механизм в замешательство, в расстройство, и тем дал возможность народному движению окрепнуть и разрастись. Тогда же заговорили о возможности, посредством динамита, взорвать Зимний дворец и похоронить под его развалинами всю царскую фамилию. Обе эти поправки были единодушно одобрены присутствующими. Кроме того, тогда же было решено защищать оружием честь и достоинство товарищей и обуздывать ударами кинжала произвол слишком рьяных правительственных агентов. Этот акт революционного правосудия был окрещен не совсем удачным названием—дезорганизация правительства, и первым человеком, который должен был поплатиться за свой карьеризм и беспощадное притеснение арестованных, был прокурор Желеховский. Он остался однако жив, хотя и не получил отличия за созданный им процесс-монстр, по которому значительный процент обвиняемых погиб от чахотки, самоубийства и умопомешательства во время более, чем трехлетнего предварительного заключения.

2. Общество „Земля и Воля".

Нарождавшаяся революционная организация не была построена на федеративном принципе; уже тогда были положены основы централизма, хотя еще довольно слабого; в обсуждении программы участвовало человек 30—40, а когда начали считать лиц, которые могли быть тотчас привлечены к ней, вышло 120 душ. К сожалению, когда зашел вопрос о том, чем следует руководиться в деле привлечения новых членов, вышло разногласие: одни, из которых большинство побывало в группах, связанных узами самой тесной дружбы и симпатии, стояли за то, что глубокое взаимное доверие, близкое знакомство и взаимная симпатия должны быть непременным условием всякой организации; другие утверждали, что организация, построенная на таких началах, будет прочна, но тесна, и никогда не примет таких обширных размеров, как в том случае, когда одной деловитости человека, его доказанной полезности и честности будет достаточно для принятия в члены. Этот вопрос так и не привел к соглашению: образовались две группы, в начале почти равные. Одной

основанной на новом начале, суждено было процветать и расширяться — это было общество „Земля и Воля“, другой же пришлось все умаляться. С величайшим сожалением приходится сказать, что в этой второй группе была и я.

При организации осенью 1876 г. о-ва „Земля и Воля“ главным деятелем и руководителем являлся несравненный агитатор, возвратившийся из административной ссылки бывший чайковец, умный и энергичный Марк Андреевич Натансон. Название О-ва, как он сам *тогда же* мне объяснил, было принято в память общества „Земля и Воля“, существовавшего в 60-х годах [1]). В первоначальный состав „Земли и Воли“, кроме самого Натансона, вошли: его жена Ольга, Оболешев, Адриан Михайлов, Александр Михайлов, Боголюбов, Трощанский, Плеханов, Баранников и многие другие; в другую группу того же направления входили: Юрий Ник. Богданович, Писарев, нечаевец Пимен Энкуватов, Мария Лешерн, Веймар, Грибоедов, М. Субботина, Драго, А. Корнилова, я и другие. В противоположность прежним программам, новая распространяла сферу деятельности своих сторонников на все слои общества, указывала на необходимость проникать в войско, администрацию, земство, в среду лиц либеральных профессий для привлечения этих элементов к борьбе с правительством и возбуждения их ко всякого рода протестам и заявлениям неудовольствия на правительственные меры. Эта политика, начавшаяся неудавшейся демонстрацией у Исаакиевского собора и Казанской демонстрацией 6 декабря, после некоторого перерыва, продолжалась в виде похорон Чернышева, умершего в доме предварительного заключения, возбуждения стачек на фабрике Шау и новой бумагопрядильне, в виде шествия рабочих к Аничкову дворцу для обращения к наследнику с просьбой встать на защиту интересов рабочих против эксплоатации фабрикантов, в виде требования высшими учебными заведениями Петербурга корпоративных прав, проекта студентов мед.-хирург. академии подать наследнику

---

[1]) Необходимо заметить, что в публике в то время мы не называли себя землевольцами. Ходовым обозначением было: „народники“. Вероятно, это и подало повод к утверждению, что О-во „Земля и Воля“ основано *только* в 1878-м году, когда появился печатный орган с этим названием.

петицию о даровании конституции и т. д. Все эти и подобные факты должны были поддерживать в обществе возбужденное состояние, недовольство и внушать безпокойство властям. Казанская демонстрация была затеяна именно с этой целью; она должна была, после безпримерной экспедиции шефа жандармов, сделать вызов правительству и среди всеобщего затишья своей дерзостью поразить противников и ободрить сторонников. И этой цели она, конечно, достигла. Неудовольствие против нее явилось лишь в некоторых кружках молодежи в Петербурге, которые считали, что организаторы демонстрации употребили публику, как орудие для своей цели. Но это была неправда, уже по одному тому, что вся организация присутствовала самолично на демонстрации и не поплатилась за нее лишь по обстоятельствам чисто случайным. Так и моя политическая карьера чуть не кончилась участием в этой демонстрации.

После речи Плеханова, когда поднятый над толпой молодой рабочий Яков Потапов развернул красное знамя с девизом нового О-ва: „Земля и Воля", городовые подняли свист и демонстранты поспешили рассыпаться. Я с сестрой Евгенией и Яковым Потаповым, которого мы пригласили обедать, пошли по Невскому. Мы были все трое так неопытны, что и не подумали об опасности для Потапова, которого легко могли проследить, благодаря его нагольному полушубку. Так оно и вышло: у Б. Садовой два шпиона, вероятно, давно шедшие за нами, внезапно набросились на Потапова и схватили его за руки. Они так занялись им, что не обратили никакого внимания на нас: мы взяли извощика и уехали, но в обвинительном акте было сказано, что Потапов шел под прикрытием двух барышен в серых шапочках. Эти серые шапочки были я и Евгения.

Первоначальной мыслью членов „Земли и Воли", организовавших эту демонстрацию, был созыв возможно большего числа фабричных рабочих и произнесение на площади речи, изображающей бедственное положение и бесправие их в борьбе с хозяевами, после чего должно было быть выставлено знамя „Земли и Воли", как девиз будущего. Но бывший накануне Николина дня праздник помешал этому созыву; ра-

бочие разбрелись по домам, на демонстрацию явилась, главным образом, учащаяся молодежь, а речь, произнесенная Плехановым об участии Чернышевского и о политических преследованиях — была экспромтом. Полицейские и дворники избили и захватили 35 человек, которые были преданы суду. Такой финал для пострадавших, их друзей и знакомых, конечно, не был утешителен, потому что уличная расправа была дикая и суд беспримерно жестокий; кроме того, многие из подсудимых были люди, далеко стоявшие от дела и явившиеся на демонстрацию, как на зрелище. Если была какая-нибудь вина со стороны организаторов, так та, что они предоставляли каждому самому взвесить, какие последствия могут иметь уличные беспорядки в столице.

Во всяком случае дело было сделано, 6 декабря новое знамя водружено и новая организация открыла свои действия.

После Казанской демонстрации часть членов „Земли и Воли“ осталась в городе, в центре России, другая отправилась в Саратовскую и Астраханскую губернии. Наш кружок, прозванный сепаратистами, избрал районом своей деятельности Самарскую губернию, куда весной 1877 г. отправились: Писарев, Богданович, Лешерн, московский рабочий Грязнов, а позднее моя сестра Евгения и я. Александр Константинович Соловьев, друг Богдановича, уже находился в Самаре и там присоединился к нашему кружку; кроме того, было еще несколько лиц, близких кружку, частью местных, частью приезжих. Два наших члена уехали в Одессу, где Пимен Энкуватов умер трагической смертью — от руки близнеца-брата, а Драго отстал от революционной деятельности. Остальные остались в Петербурге, некоторые были потом сосланы административно и по суду, другие же никакой энергии и организаторской способности не выказали, и скоро связь с ними, постепенно слабея, порвалась совсем.

Так как мы не имели никаких знакомых в Самаре, то я осталась в Петербурге до тех пор, пока друзья не завели связей, давших возможность им самим устроиться в качестве волостных писарей, а мне занять место фельдшерицы, что было возможно лишь при рекомендации какого-нибудь ме-

стного земского врача, так как земство *боялось* взять фельдшерицу из Петербурга; вследствие этого я пробыла в Петербурге до августа 1877 года.

За это время перед обществом прошел целый ряд политических процессов: дело по поводу демонстрации на Казанской площади, процесс 50-ти, процесс Заславского, Голубевых и др. Эти процессы вызвали общее внимание; первый из них возбудил в либеральных слоях негодование строгостью наказаний, иногда при полном отсутствии улик, так как было общеизвестным фактом, что дворники хватали на улице, кого попало; суд пародировали в форме Горбуновского разсказа. Второй процесс возбудил общую симпатию. Самоотверженность женщин, бросивших привилегированное положение для тяжелого труда на фабриках, чистота их убеждений, их стойкость возбуждали восхищение; их нравственный облик надолго запечатлелся в душах многих; некоторые смотрели на их деятельность, как на святой подвиг. Речи Софьи Илларионовны Бардиной и рабочего Петра Алексеева читались с восторгом среди интеллигенции и рабочих. Партия, разбитая в своих начинаниях, приобретала нравственный авторитет и ореол мученичества за свои убеждения. Если что и говорило не за социалистов, так то, что они идеалисты, но это-то и ставило их выше толпы. Словом, результат процессов, общее впечатление, которое они производили, было таково, что могло только возбуждать стремление новых лиц итти по следам осуждаемых на каторгу, на поселение, но никоим образом не отвращать от опасного пути; так самая гибель социалистов способствовала росту движения. Впоследствии, при процессе 193-х, казалось, и правительство готово было сделать шаг назад: приговор особого присутствия Сената был таков, что громадное большинство обвиняемых возвращалось к жизни; к несчастью, нельзя было возвратить жизнь безвременно и невинно погибшим в тюрьмах. Во всяком случае, правительство позднее поняло, что результаты суда не в его пользу; отсюда целый ряд мер, уничтожавших гласность судопроизводства; сначала перестают допускать на политические процессы постороннюю публику, потом перестают печатать

отчеты по процессам в газетах, помещая в них лишь обвинительный акт и приговор суда. Затем, в газетах появляются лишь краткие реляции: совершено такое-то покушение, схвачено столько-то злодеев, такого-то числа они преданы суду, такого-то повешены; а некоторые повешены даже и без всякого объявления (Легкий в Сибири). Наконец, чтобы не напоминать обществу о революционерах, и казнить их велено втихомолку, не на площади среди народа в поучение ему, а за стенами тюрьмы.

3. Каблиц.

Оставаясь в Петербурге и оказывая в это время возможную помощь заключенным, я не прерывала самого живого общения с членами Общества „Земля и Воля", которые уже пользовались тогда типографией и печатали разные мелкие вещи, как речи Бардиной, Петра Алексеева и т. п. Я имела доступ на общественную квартиру землевольцев; многие из них собирались у меня. Это были: Лизогуб, Зунделевич, Ольга Натансон, Оболешов, Баранников, Валериан Осинский и другие.

В числе посетителей был Каблиц, о котором стоит упомянуть, так как его имя связано с введением в борьбу динамита. В революционной литературе я не встречала указаний относительно того, когда и у кого явилась мысль о применении в революционной борьбе динамита. Между тем, эта мысль имеет свою историю. Применение динамита в промышленной и военной технике, конечно, было давно известно многим, но инициатива обратиться к динамиту, как оружию против самодержавия, принадлежит, насколько я знаю, бунтарям-южанам, и не только мысль, возникшая у них еще в 1873—1874 гг., но и в практических попытках применить его против Александра II южане были первыми пионерами, задумав взрыв в Николаеве, что стоило жизни Витенбергу и Логовенко. Что касается севера, о котором я более осведомлена, то среди землевольцев в 1876—1877 гг. горячим пропагандистом применения динамита являлся Каблиц, в литературе известный под псевдонимом Юзова, а

среди нас носивший прозвище „Око“, потому что он имел лишь один глаз: другой он носил искусственный.

В 1876 году Каблиц был нелегальным—его разыскивали по делу 193-х и он скрывался, проживая в Петербурге под чужим именем. Прежним местом его деятельности был Киев; там он учился в университете, имел сначала свой собственный кружок, а потом присоединился к „Киевской коммуне“. В тот период страстных споров между пропагандистами в духе Лаврова и бунтарями, последователями Бакунина, Каблиц выступал, как горячий сторонник последнего, и на сходках побивал мирных лавристов, рекомендуя вспышки, мятежи и бунты, как наилучшее средство вызвать социальную революцию. С этими взглядами он переехал в Петербург, где я познакомилась с ним в первый период существования общества „Земля и Воля“, когда литературная карьера Юзова только начиналась и он был более известен своими выступлениями на собраниях молодежи, чем как участник в прессе.

В то время полицейские нравы были еще патриархальные, и на Петербургской стороне, в небольших домиках, во флигелях во дворе, на студенческих квартирах происходили многолюдные сходки. Тесной толпой все стояли в страшной духоте, слушая ораторов, сражавшихся между собой. Окруженный кольцом внимательной аудитории, Каблицъ, хотя нелегальный и разыскиваемый, чувствовал себя в этой дружественной атмосфере в полной безопасности и с энергией развивал свою любимую идею революционизирования народа путем упражнения его в революционном чувстве на всякого рода столкновениях, протестах и восстаниях [1]). Говоря об этом, он ссылался на Спенсера и цитировал его взгляды на то значение, которое имеет упражнение на развитие и отправления органов. Аргументация Каблица была, вообще говоря, сухая, академическая и нельзя сказать, чтоб очень убедительная. Как оратор, он не производил впечатления: его голос, небогатый регистром и бедный интонациями, был совершенно лишен музыкальности, а наружность—тоже не

---

1) Ту же мысль он развивал на страницах „Недели“.

способствовала успеху. Это был сухопарый блондин, с лицом бесцветным, сухим и узким, с небольшой русой бородой клином и невыразительными серыми глазами за золотыми очками, В общем—сухарь, и по типу скорее немец, чем русский. Однако, его речь была логическая, обдуманная, говорил он легко, и, как полемист, отличался быстрыми репликами. При встречах, в частной беседе, мне кажется, он был интереснее; как человек не глупый и начитанный, он имел достаточно ресурсов для этого.

Кроме уже упомянутого конька, другим увлечением Каблица был раскол и сектантство. Со статьями о них он выступал позднее и в литературе, а в беседах часто останавливался на этих явлениях русской жизни и настаивал на революционном значении их, как протесте против существующего государственного строя.

Среди землевольцев „Око" считался своим человеком, но до известного предела. Ни в выработке программы „Земли и Воли", ни тем более в обсуждении устава общества, распределении работы между членами и т. п., никакого участия он не принимал и в члены Общества его не приглашали, так как моральным авторитетом он не пользовался. Но он постоянно вращался среди нас и имел доступ на одну из общественных квартир, на которую пускали с разбором, потому что она была постоянным местом наших сборищ. На этой квартире обсуждались исключительно теоретические вопросы, а практические начинания вершились на Бассейной, где заседал Натансон и всегда можно было застать кого-нибудь из лицъ, ставших близко к организации: Харизоменова, Тищенко, Преображенского, Плеханова, Сергеева, Ал. Михайлова и др. Даже люди испытанные, как Клеменц и Иванчин-Писарев не знали адресов этих квартир, и в случае нужды не могли без затруднения найти землевольца.

Однажды, как-то в разговоре, когда сошлись Писарев, Клеменц, я и еще кто-то, Клеменц в юмористическом духе изображал эту невозможность добраться до хорошо законспирированных товарищей. „Это какие-то пещерные люди, — говорил он с обычной насмешливой улыбкой,—троглодиты, скрывающиеся в недоступных расщелинах и скрытых пеще-

рах“. Сравнение понравилось и стало повторяться: отсюда и пошло шутливое прозвище „троглодиты“, а позднейшие „историки“ превратили шутку в серьезное название—„Общество троглодитов“.

В одну из пещер этих „троглодитов“, в центре города, где-то близ Чернышева моста, часто заходил Каблиц и был там главным оратором и собеседником. В разговорах и обсуждениях тут не раз поднимался вопрос о „центральном ударе“, о котором говорилось в программе „Земли и Воли“, и Каблиц при каждом удобном случае возвращался к нему. Под „центральным ударом“, как было сказано, разумелся такой крупный факт, который, направляясь на главу государственной власти, парализовал бы центральное правительство и обеспечивал успех первого взрыва революционного движения. Разумелось истребление царя и, если возможно, то и всей императорской семьи, и никто иной, как Каблиц, постоянно указывал на динамит, как на средство наиболее подходящее для этой цели. Тогда же от землевольцев мне стало известно, что он ездил в начале семидесятых годов по поручению южан в Англию со специальной целью изучить приготовление динамита и ознакомиться с фабричным производством его. Однако, они добавляли при этом, что поездка только скомпрометировала Каблица: из нее ничего не вышло, были истрачены деньги, вот и все. Каблиц ничего не изучил, приготовлению и употреблению динамита не научился, так что позднее, когда в 1879 году революционная партия, в лице „Народной Воли“, перешла от слов к делу, то оно повелось совершенно самостоятельно другими людьми путем опытов и изысканий, кроме идеи не имевших ничего общего с прошлым. Но в то время,—время первых шагов „Земли и Воли“, мы были так далеки от осуществления „центрального удара“, вполне зависящего от движения народных масс, что о практической работе по динамиту не было и не могло быть речи. Все же часто повторяемая мысль о динамите, как могучем средстве борьбы, западала и врезывалась в умы. О разрушительной силе его еще в 1873—1874 гг. слышали самые широкие круги: вся Европа была тогда потрясена загадочными катастрофами, которые стоили многих жиз-

ней, и происходили с кораблями в открытом море по выходе их из гаваней Галландии. Разоблачения показали, что судовладельцы страховали ветхие негодные корабли и с помощью часового механизма взрывали их динамитом.

С упорством настаивая на употреблении динамита, Каблиц строил и планы, как выполнить цареубийство. Но то, что по этому поводу говорилось тогда серьезно, не возбуждая возражений, позднее, когда динамит действительно стал применяться „Народной Волей", оказалось просто смешным. Каблиц думал, что динамит (о нитроглицерине, о запалах никогда не упоминалось) взрывается от простого сотрясения. Так, для взрыва Аничкова или Зимняго дворца, когда там соберется царская семья, он считал достаточным, чтобы ко дворцу подвезли воз, нагруженный динамитом, и просто-напросто опрокинули его на землю.

От этого примитивного построения, какую длинную эволюцию приспособлений, опытов и усовершенствований пришлось пройти этой идее до тех изящных, тонких снарядов, которые для 1-го марта 1881 г. изобрели члены „Народной Воли" Исаев и Кибальчич!

А Каблицъ, этот теоретический фанатик динамита, легализовавшись при Лорис-Меликове в 1880 году, к 1-му марта уж совершенно отошел от движения и повернул вправо, вплоть до монархизма, как я читала где-то.

4. Первые шаги.

Весной 1877 года в Петербурге землевольцами был убит предатель рабочий Финогенов и арестован глава организации М. А. Натансон. А летом в доме предварительного заключения произошла возмутительная история: градоначальник Трепов подверг телесному наказанию Емельянова, который под именем Боголюбова, был лишен всех прав состояния за участие в „Казанской" демонстрации. Это событие имело потрясающее действие: все заговорили о мщении насильнику, и несколько времени спустя после приготовлений, бесплодно начатых южанами, приехавшими в Петербург с целью покушения на жизнь Трепова, этот мститель явился в лице Веры Засулич.

Когда раздался выстрел Веры Засулич, я была уже в самарских степях, и только издали могла рукоплескать ее героическому поступку, от души пожалев, что вынесла лишь бледное впечатление от встречи с ней у Малиновской, незадолго до моего отъезда из Петербурга.

В Самаре меня встретили друзья и целый кружок неглупых и честных людей, готовых оказывать нам всякую поддержку и услуги; там же в то время находился Николай Николаевич Богданович, брат Юрия, думавший устроить кузницу в самом губернском городе, а также Александр Квятковский. Меня отрекомендовали молодому земскому врачу Николаю Семеновичу Попову, который немедленно настоял в земской управе на принятии меня на место фельдшерицы в его участке. Когда я явилась в село Екатериновку, Самарского уезда, где была земская больница, которой он заведывал, он сказал мне, что я назначена в с. Студенцы, объяснил мои обязанности и то, что за лекарствами я, по мере надобности, должна обращаться к нему. Эти поездки в Екатериновку за лекарствами дали мне возможность сойтись с Поповым; в особенности нас сблизило то, что через некоторое время он вспомнил, что видал меня с сестрой Лидией на лекциях Лесгафта. Любовь к этому профессору, рассказ мой о судьбе Лидии, сосланной в то время в Сибирь по процессу 50-ти, и о моих занятиях медициной за границей, сделали наши отношения вполне товарищескими: ему было приятно встречаться в деревенской глуши с человеком, понимавшим медицинские вопросы, интересовавшие его в высшей степени. А когда я изложила нашу программу деятельности в деревне, то он выразил полное сочувствие ей. Скоро я очутилась в Студенцах, громадном селе бывших удельных крестьян. В моем ведении были две волости; система оказания медицинской помощи в Самарском уезде была разъездная: фельдшер в течение месяца должен был посетить все селения своего участка; в моем их имелось 12. В первый раз в жизни я очутилась лицом к лицу с деревенской жизнью, наедине с народом, вдали от родных, знакомых и друзей, вдали от интеллигентных людей. Признаюсь, я почувствовала себя одинокой, слабой, бессильной

в этом крестьянском море. Кроме того, я не знала, как и приступить к простому человеку.

До сих пор я не видала вблизи всей неприглядной обстановки крестьянства, я знала о бедности и нищете народа скорее теоретически, по книгам, журнальным статьям, статистическим материалам. Ведь до шести лет я прожила в дремучем лесу Мамадышского уезда, где одинокий дом лесничего стоял в 40 верстах от человеческого жилья; следующие пять лет, прожитые в деревне, тоже были далеки от жизни крестьянства, затем следовали шесть лет в институте. Правда, по выходе из него, я прожила около двух лет в своем родном селе; там явилось у меня первое желание притти на помощь народу, но это желание вытекло не из непосредственного знакомства с его бедственным положением, а из настроения по выходе из института, как было уже рассказано, и из отрицательного отношения к жизни окружающих, существование которых казалось пустым, бесцветным и узкоэгоистичным. Чтобы выйти из мелкой колеи интересов семьи, кухни, карт, погони за наживой, я взяла науку, как средство, а народ, как цель. Тогда я замкнулась в книги, которые могли мне дать умственное развитие и более серьезную подготовку к университету; изучение жизни в ее реальном проявлении отошли на задний план; затем потянулись университетские годы, новые впечатления, новые взгляды, ниспровержение только-что построенного либерального плана и замена его новым идеалом; а далее—полтора года в России... Но где же все это время был реальный народ? Теперь, въ 25 лет, я стояла перед ним, как ребенок, которому сунули в руки какой-то диковинный, невиданный предмет.

Я принялась, прежде всего, за свои оффициальные обязанности. Восемнадцать дней из тридцати мне приходилось быть вне дома, в разъездах по деревням и селам, и эти дни давали мне возможность окунуться в бездну народной нищеты и горя. Я останавливалась обыкновенно в избе, называемой въезжей, куда тотчас же стекались больные, оповещенные подворно десятским или старостой. 30—40 пациентов моментально наполняли избу; тут были старые и моло-

дые, большое число женщин, еще больше детей всякого возраста, которые оглашали воздух всевозможными криками и писком. Грязные и истощенные,—на больных нельзя было смотреть равнодушно; болезни все застарелые: у взрослых на каждом шагу — ревматизмы, головные боли, тянущиеся 10 - 15 лет; почти все страдали накожными болезнями; в редкой деревне были бани; в громадном большинстве случаев они заменялись мытьем в русской печке; неисправимые катарры желудка и кишек, грудные хрипы, слышные на много шагов, сифилис, не щадящий никакого возраста, струпья, язвы без конца, и все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище, столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в отупении над вопросом: есть ли это жизнь животного или человека? Часто слезы текли у меня градом в микстуры и капли, которые я приготовляла для этих несчастных; их жизнь, казалось мне, немногим отличается от жизни сорока миллионов париев Индии, так мастерски описанной Жакольо.

Я терпеливо раздавала до вечера порошки и мази, наполняя ими жалкие черепки кухонной посуды, а шкалики и косушки - отварами и настойками; по три-четыре раза толковала об употреблении лекарства и, когда работа кончалась, бросалась на кучу соломы, брошенной на пол для постели; тогда мной овладевало отчаяние: где же конец этой нищете, поистине ужасающей; что за лицемерие все эти лекарства среди такой обстановки; возможна ли при таких условиях даже мысль о протесте; не ирония ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствиями, о сопротивлении, о борьбе? Не находится ли этот народ уже в периоде своего полного вырождения; не одно ли отчаяние может еще нарушить это бесконечное терпение и пассивность?

Три месяца изо дня в день я видела одну и ту же картину.

Для того, чтобы проникнуться положением народа до глубины души, недостаточно изредка заглянуть в крестьянскую избу, посмотреть из любопытства на его пищу, бросить беглый взгляд на его одежду; недостаточно видеть мужика на работе

и даже при его появлении у доктора, в больнице. Для того, чтобы понять весь ужас его положения, всю массу его страданий, надо быть или рабочим, чтобы на своей шкуре испытать его жизнь, или фельдшером, человеком, который видит крестьянина у себя дома, видит его и в холодную зиму, и в весеннюю бескормицу, и в летнюю страдную пору, видит его каждый день и каждый час, наблюдает его во время эпидемий и в обыкновенное время, постоянно видит его лохмотья, ту грязь, которою он окружен, и собственными глазами может проследить бесконечную вереницу его всевозможных болезней. Только тогда эти впечатления, мало-по малу наслаиваясь, могут дать истинное представление о том, в каком состоянии находится наш народ.

Эти три месяца были для меня тяжелым испытанием по тем ужасным впечатлениям, которые я вынесла из знакомства с материальной стороной народного быта; в душу же народа мне не удалось заглянуть,—для пропаганды я рта не раскрывала.

В это время свидетельница по делу 193-х Чепурнова, при возвращении из Петербурга в Самару, была арестована, и у нее найдено множество компрометирующих писем ко мне и другим товарищам от наших петербургских друзей. Мы получили по этому поводу предостережение по телеграфу, кроме того из Петербурга был прислан Александр Квятковский, чтобы увезти меня из деревни, что он и сделал. Через неделю в Студенцы приехали жандармы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

1. В деревне.

Когда Квятковский и я приехали в Самару, то Писарев, Лешерн и Богданович, раньше меня бросившие свои места, уже были там, готовые к отъезду. Вместе с нами выезжал и Соловьев, уже несколько времени тому назад оставивший деревенскую кузницу, в которой он работал вместе с двумя товарищами. Мы решили поселиться в Воронежской губернии, куда и направились втроем, послав Писарева и Лешерна в Петербург для того, чтобы взять там рекомендации к местным людям. Вскоре после этого был объявлен приговор по делу 193-х,—приговор нежданно-негаданно возвращавший нам массу товарищей. Невозможно было упустить счастливую возможность навербовать между ними лиц, желающих тотчас же приняться вместе с нами за работу в деревне; поэтому Богданович и я тоже уехали из Воронежа в Петербург.

Мы встретили необычайное оживление: молодежь ликовала, старые и новые друзья приветствовали освобожденных, как выходцев с того света, а они, измученные и разбитые физически, забыв только-что перенесенные страдания, с жаром, свойственным молодости и долго сдерживаемым порывам, уже мечтали о новой деятельности, создавали новые планы для осуществления своих идей. В их квартирах с утра до вечера толпился народ; это был непрерывный революционный клуб, где бывало от 90—100 посетителей в день; знакомые приводили незнакомых, желавших пожать руку тем, которых считали заживо погребенными. К этому периоду относится мое знакомство со многими деятелями первой поло-

вины семидесятых годов; дружба Любовь Ивановны Сердюковой и Александры Ивановны Корниловой обеспечила мне любовь многих из них и, между прочим, Софии Львовны Перовской, которую я увидала тогда в первый раз. Отрекомендованная ей в самых горячих выражениях, я была вполне очарована демократизмом ее вкусов и привычек, простотой и мягкостью ее обращения; с тех пор наши хорошие отношения не прерывались до ее смерти, когда из-за стен тюрьмы, она завещала своим товарищам „беречь Наума [1]) и Верочку".

Старые чайковцы, оставшиеся на свободе и освобожденные судом, порешили восстановить свою организацию; вместе с тем, они наметили из среды товарищей по заключению лиц, которых наиболее желательно привлечь к ней. Так образовалась группа в 40 человек; сюда вошли Богданович и Писарев, как члены прежней организации, Лешерн, я, сестра Евгения, Соловьев, как новые. В этой группе, между другими, были: Клеменц, в то время вернувшийся из-за границы, Софья Львовна Перовская, Татьяна Ивановна Лебедева, Зубок-Мокиевский, Саблин, Морозов, Кувшинская, Корнилова, Сердюковы муж и жена; из лицъ не принадлежавших до того к чайковцам: Завадская, Якимова и пр. На общем собрании членов была прочтена и принята „народническая" программа и избрано бюро, в которое вошел Клеменц; оно должно было оставаться в Петербурге и администрировать дела группы. Порешив на этом, большинство разъехалось: мы, чтобы устроиться в деревне, другие, чтобы покончить с семейными и финансовыми делами, третьи для поправления расстроенного здоровья. К сожалению, на этом и окончилось существование группы: вследствие неутверждения царем приговора суда, многие члены были арестованы и сосланы административным порядком, некоторые бежали за границу; наше бюро расстроилось, и отдельные лица (покончившие свои дела или бежавшие из ссылки), являясь в Петербург, одно за другим, вступали в организацию „Земля и Воля". С нами поехал один Морозов; позднее в Саратов

---

[1]) Псевдоним Суханова

приехала Татьяна Ивановна Лебедева, но ни тот, ни другая в деревне не устроились и вернулись в город. Меня все это время сильно уговаривали тоже остаться в Петербурге, считая наиболее пригодной для работы среди интеллигенции; но так так в своих убеждениях я была упорна и от намерений отказывалась только тогда, когда собственный опыт доказывал их ошибочность или нецелесообразность,—то и осталась при своем желании продолжать жизнь в народе.

Во время пребывания в Петербурге мы познакомились с одним господином из Тамбова [1]), который обещал нам протекцию в деле добывания мест; это заставило нас переменить Воронеж на этот город. Но и в Тамбове дело пошло очень туго. Не желая терять времени в бесплодных ожиданиях, мы решили присоединиться к землевольцам, находившимся в Саратове, куда и переехали, должно быть, в марте 1878 года; но слияние, о котором я уже давно хлопотала, не состоялось вследствие резкости Иванчина-Писарева. В то время в Саратове уже было кое-что сделано: человек 12 жило по деревням; тут были: сельские учителя, сельские писаря, деревенские сапожники, земледельцы-работники, бродячие торговцы; кроме того, велась деятельная пропаганда между городскими рабочими в самом Саратове. Александр Михайлов жил в селе „Синенькие“ в качестве неофициального учителя среди раскольников, которыми он увлекался в высшей степени. Он мечтал основать новую рационалистическую секту, в основу которой был бы положен принцип активной борьбы; он с увлечением рисовал нам нравы бегунов и странников и типические характеры раскоучителей, по своему умственному развитию и взглядам далеко превышающих уровень обыкновенного крестьянства. Позднее, петербургские дела—арест О. Натансона, Оболешева и др. вырвали его из этой излюбленной среды. Перед отъездом, со слезами на глазах, он говорил мне, что боится не встретить в столице должного сочувствия к своей идее—воспользоваться для революционных целей расколом, как готовой организованной силой. Очутившись в Петербурге,

---

[1]) Девель.

эта цельная натура вскоре с таким же фанатизмом отдалась новым интересам и с несокрушимым упорством пошла по новому пути. Когда в декабре того же года я из деревни приезжала на короткое время в Петербург, он уже развивал политическую программу, которую я оспаривала; каждый из нас остался при своем, и я уехала к мужикам, тогда как он отдавал уже полное предпочтение деятельности в городе.

Так-называемых „связей в обществе" в Саратове почти не было; для нас они были необходимы, потому что мужчины должны были непременно занять такие места, которые сами по себе вводили бы их в крестьянскую жизнь, давали бы возможность вмешиваться решительно во все дела общины—мира. В этом случае саратовский нотариус Василий Степанович Праотцов, как старожил, знающий всю подноготную не только губернского города, но имеющий связи и знакомства по всем уездам, был для нас сущим кладом. Этот честнейший человек, несколько избалованный в своих привычках, сохранил всю отзывчивость молодого возраста когда он, как студент московского университета, был исключен из него в шестидесятых годах и отправлен в ссылку в северные губернии. Встретившись с нами, он совершенно увлекся нашими личностями; в моем лице он встретил первую образованную молодую женщину, желающую не по нужде занять положение, в котором, как он думал, придется подавать шубу и галоши доктору; а когда я сообщила ему, что имею друзей честных и хороших, которые не могут достать себе места волостных писарей, то он заявил, что эти места будут, и вскоре без всяких экскурсий в биографии устроил Богдановича в Вольске, отрекомендовав его нотариусу Флорову, после чего тот сам пробился в волостные писаря и так понравился непременному члену и предводителю дворянства, что провел на такие же должности Писарева и Соловьева; эти три лица поставили себя так, что потом могли бы заместить по своей рекомендации все места писарей в Вольском уезде.

Но это продолжалось недолго: вскоре исправник заподозрил в них пропагандистов; уже существовавшие тогда

урядники начали следить за ними. По мере того, как они приобретали опору, поддержку в народе, задетые интересы заговорили: поднялись помещики, приказчики, кулаки и мироеды; все начали шушукаться, пошли доносы. Защита большинства мира против эксплоатации зажиточным меньшинством, борьба с кулаками, отстаивание интересов рабочего против нанимателя и хозяина, тяжбы по крестьянским делам—все обличало их и, наконец, сформулировало обвинение в крамоле: революционеры, социалисты, не признают права собственности, восстанавляют одно сословие против другого и т. д. С первого же месяца их положение сделалось шатко; исправник уже тогда хотел арестовать их, но старшины отстояли их. Позднее ни поддержка непременного члена присутствия по крестьянским делам Кострицина, ни защита предводителя дворянства Фролова, одобрявших защиту крестьянских интересов против всех и вся,—не могли ничего сделать; продержавшись 10 месяцев, Писарев, Богданович и Лешерн, занимавшая должность бухгалтера ссудо-сберегательнаго товарищества, должны были уехать, чтоб не попасть в острог [1]).

Почти одновременно с устройством товарищей, получила место и я в Петровском уезде. Вместе со мной поселилась моя сестра Евгения, только что сдавшая экзамен на фельдшерицу при саратовской врачебной управе. Председателем земской управы в Петровске в то время был Михаил Сергеевич Ермолаев, с женой которого, урожденной Унковской, мы сошлись скоро самым тесным образом. Наше появление в уезде вызвало сенсацию, как в обществе, так и в народе. Петровское общество стало в тупик над вопросом: зачем мы, при нашем образовании и положении, „хороним“ себя в деревне? С какой стати, для чего? [2]). На наше счастье наши манеры и наружность не давали возможности окрестить нас

---

1) См. воспоминания Иванчина-Писарева о его деятельности в народе.

2) В противоположность этому некультурный народ, которому известно, что человек имеет не одни только материальные потребности, тотчас же нашел возвышенное объяснение для нашего поведения, сформулировав его словами: „для души“. Вкладывая свой смысл в эту формулу, он вместе с тем говорил, что душевная потребность руководит нашими поступками.

нигилистками. Благодаря этому, а еще более скоро замеченной дружбе с председателем и его женой,—все вдруг залиберальничало, все двери раскрылись перед нами. Только предводитель дворянства Устинов, просидевший, как говорили, 6 лет в остроге и осужденный за уголовное преступление (убийство) на поселение, но прощенный, и непременный член Деливрон, признававший вредным для народа всякое знание, кроме знания нескольких молитв и перечня лиц царствующего дома, тогда же громогласно заявили, что это неспроста, что за нами надо „смотреть в оба“. Такого же мнения оказался и Вязьминский волостной писарь, князь Чегодаев, разорившийся потомок, достойный отца, сосланнаго в Сибирь за то, что до смерти засек крепостного человека. Этот князь, бок-о-бок, с которым мне пришлось жить, так как я была назначена в с. Вязьмино, в первый же день, после наблюдения над тем, как я принимала больных, сказал знаменательную фразу: „Новые люди приехали к нам“.

При таких предзнаменованиях мы принялись за дело. Для крестьян появление фельдшерицы, лекарки, как они выражались, было диковинкой. Мужики шли к попам для разъяснения, для всех ли я приставлена или только для баб. После разъяснений меня осадили пациенты. Бедный народ стекался ко мне, как к чудотворной иконе, целыми десятками и сотнями; около фельдшерского земского домика стоял с утра до позднего вечера целый обоз; скоро моя слава перешла за пределы трех волостей, которыми я заведывала, а потом и за пределы уезда. Нестесняемая надзором доктора, котораго все время в моем участке не было, и получая непосредственно из Управы от председателя столько медикаментов, сколько мне было надобно, я, быть может, помогала потому, что давала лекарство в надлежащем количестве; какая-нибудь несчастная баба шла ко мне пешком за 60—70 верст, страдая кровотечением; возвращаясь, она разсказывала, что как только я прикоснулась к ней, кровотечение остановилось; другие привозили воды и масла, прося меня „наговорить“ на них, так как слышали, что я хорошо „заговариваю“ болезни; ко мне приводили седых, как лунь, стариков, 15—20 лет тому назад потерявших зрение и чающих перед

смертью увидеть при моей помощи свет. Народу было в диковинку внимание, подробный расспрос и разумное наставление, как употреблять лекарство. В первый месяц я приняла 800 человек больных, а в течение 10 месяцев 5000 человек, столько же, сколько земский врач в течение года в городе, при больнице, с помощью нескольких фельдшеров. Если я помогла одной десятой из этих 5 тысяч человек, то за мои прегрешения они вымолят мне прощение у самаго жестокого Иеговы. Этот громадный труд, конечно, был бы мне не по силам, если бы сестра Евгения не разделяла его со мной.

Вскоре нам удалось открыть школу. Евгения заявила крестьянам, что она возьмется даром обучать детей, пусть только присылают их: все учебные пособия у нас есть, отцам не придется покупать ни азбук, ни бумаги, ни перьев. У нее сейчас же собралось 25 человек учеников и учениц. Надо заметить, что во всех трех волостях моего участка не было *ни одной* школы. Когда жители с. Ключевки, бывшие крепостные Устинова, выразили ему желание устроить училище, тот отсоветывал им, как вещь несвоевременную и дорого стоющую. Некоторые из учеников были привезены к Евгении из других сел и деревень, иногда верст за 20. Кроме учеников маленьких, были и взрослые; некоторые мужики просили заниматься с ними арифметикой, необходимой для всевозможных мирских и волостных учетов. Скоро сестра приобрела лестное название: „наша золотая учительша".

Покончив занятия в аптеке и школе, которая помещалась в том же фельдшерском домике, мы брали работу, книгу и шли „на деревню" к кому-нибудь из крестьян. В том доме в тот вечер был праздник; хозяин бежал к шабрам и родственникам оповестить их, чтобы и они пришли послушать. Начиналось чтение; в 10—11 часов хозяева все еще просили почитать еще. То были: Некрасов, некоторые вещи Лермонтова, Щедрина, иногда статья толстого журнала, разсказы Наумова, Левитова, Галицинского, некоторые вещи по истории и т. д. Книг, доступных для народа, было так мало, что опытный в этом деле Иванчин-Писарев, на мой вопрос, мог рекомендовать мне суворинские: „Земля и

народы, ее населяющие"; „Земля и животные, на ней обитающие", и только. Каждый раз приходилось говорить об условиях крестьянской жизни, о земле, об отношениях к помещику, к властям; входить в крестьянские нужды, выслушивать их сетования, надежды; сочувствовать их горю, разделять симпатии и антипатии. Иногда просили оставить книгу, чтобы еще раз прочесть понравившееся место или даже заучить его; приглашали притти на сход, чтобы обличить кляузы писаря, его взяточничество, мошенничество старшины, чтоб защитить мир. Евгению все прочили в сельские писаря, обязанность которого тогда совмещал в себе Чегодаев, ненавистный мужикам; просили приходить на волостной суд и вообще почаще заглядывать в волостное правление, чтоб не давать писарю возможности ругаться, сквернословить, гнать мужиков в шею. „Он вас стыдится",—говорили крестьяне. Когда было, наконец, пора итти домой, то прежде чем выйти от хозяев, каждый раз мы должны были дать торжественное обещание сделать детей их такими же „письменными", как мы сами.

Такая жизнь, такое отношение к нам простых душ, чающих света, имела такую чарующую прелесть, что мне и теперь приятно вспомнить ее: каждую минуту мы чувствовали, что мы нужны, что мы не лишние. Это сознание своей полезности и было той притягивающей силой, которая влекла нашу молодежь в деревню; только там можно было иметь чистую душу и спокойную совесть, и если нас оторвали от этой жизни, от этой деятельности, то в этом были виноваты не мы.

Как подобает „новым" людям, мы старались вести жизнь самую простую. Не роскошь, тень роскоши была изгнана из нашего домашнего обихода; мы не употребляли белого хлеба, по неделям не видали мяса; каждый лишний кусок становился нам поперек горла среди общей бедности и скудности. Из 25 руб. жалованья, которое я получала, мы проживали 10—12, включая и плату женщине, которая вела наше скромное хозяйство. Нечего и говорить, что мы совершенно изгнали крестьянские приношения деньгами и натурой, столь обычные в деревне. Когда какая-нибудь бедная баба при-

носила свой скромный подарок—пару яиц, то чтоб не показаться гордой, я принимала их и совала ей в руку мелкую монету, и так как я говорила: „годится на свечи“, т. е. на ее религиозную потребность, то не было случая, чтоб плата отвергалась.

Совестно выговорить, что жизнь, которая казалась нам естественной, и которая должна бы назваться нормальной, была диким, раздирающим диссонансом в деревне; она нарушала ту систему хищения и бессовестного эгоизма, которая, начинаясь миллионами у подножия трона, спускалась по нисходящим ступеням до грошей сельских обывателей.

Деревенские хищники были мелки, ничтожны, жалки, но и бюджет крестьянина охватывал рубли, десятки рублей; его платежи (подушные, поземельные, земские, мирские) равнялись в отдельности копейкам, но далеко превосходили платежные силы его. При таких условиях урвать много, конечно, нет возможности; зато то, что урывалось, составляло последнее достояние неимущих,—трудно расставаться с трудовыми грошами. Борьба из-за этих грошей с посторонними аппетитами наполняла жизнь деревни. Наше появление угрожало этим аппетитам. Когда к постели больного призывали одновременно меня и священника, разве мог он торговаться за требу? Когда мы присутствовали на волостном суде,—разве не считал писарь четвертаков, полтинников или взяток натурою, которых мы лишали его? К этому прибавлялись опасения, что, в случае злоупотребления, насилия или вымогательства, мы можем написать жалобу обиженному и через знакомство в городе (с председателем, следователями) довести дело до суда, до сведения архиерея и т. п. И деревенские пауки принялись за свою паутину. То недоверие, которое царило между властью, с одной стороны, и народом, обществом, интеллигенцией—с другой, давало готовое оружие, с которым трудно было бы не победить.

2 Выживают.

Борьба против нас так типична, так характерна, что нельзя не коснуться ее. Замечу кстати, что в противополож-

ность остальным товарищам, мы были людьми легальными. Несмотря на самарскую историю, надеясь на несовершенство полицейских розысков, я жила под своим паспортом; в уезде, кроме Ермолаевых, никто не знал, что одна из наших сестер уже находится в Сибири. Мы еще не успели, что называется, обжиться, когда крестьяне сообщили нам, что священник нашего села распространяет слух, что мы беспаспортные, что мы нигде не учились, никаких бумаг не имеем, и что он такой же лекарь, как и мы. Когда крестьяне звали нас крестить, то поп отказывался, говоря, что не знает, кто мы такие, откуда мы, замужние или девицы и т. п. Через некоторое время тот же священнослужитель сделал заявление в земской управе, что со времени нашего приезда в Вязьмино, душевное настроение его паствы изменилось: храм Божий мало посещается, усердие оскудело, народ стал дерзок и своеволен. В управе батюшке сказали, что все это не касается выполнения моих обязанностей и к управе не относится. Тогда началось шпионство за школой; то управляющий помещика, то писарь, то священник зазывали мальчуганов: „все пытают, учишь ли ты нас молитвам“,—рассказывали дети сестре. Но сестра молитвам учила; тем не менее, в Саратов полетели доносы, что Евгения внушает ученикам: „Бога нет, а царя не надо“, а по селу распространился слух из волостного правления, что мы укрываем беглых. С тех пор, кто бы к нам не приехал, урядник, под тем или другим предлогом, являлся к нам на квартиру, чтоб посмотреть... Когда мы приезжали в город, следователи рассказывали нам, что князь Чегодаев уверял всех и каждаго, что мы ходим из избы в избу и читаем прокламации, что мы не пропускаем ни одного больного, чтоб не растолковать ему, что во всем царит неправда и что все чиновники-взяточники.

В январе 1879 г. в нашей волости должны были происходить выборы должностных лиц; на волостном сходе крестьяне избрали нового старшину и на 100 р. убавили писарю жалованье. Это произвело бурю. Князь Чегодаев считал нас виновницами своего несчастья. Непременный член Деливрон, заявил: „Везде сходы, как сходы, в одном Вязьмине не ладно!“. Сход был объявлен незаконным и назначен новый, на

который самолично явился предводитель дворянства Устинов. Многие избиратели не были оповещены и отсутствовали; мужики соседнего села государственных крестьян, народ бойкий и независимый, таинственным образом были устранены; новый старшина объявлен, под каким-то сомнительным предлогом, не имеющим права быть избранным; оставлен прежний—взяточник, и жалованье писарю восстановлено в прежних размерах—законный порядок водворен.

Вслед за этим поднялся вопрос земельный,—произошло столкновение крестьян с помещиком. Жители села Вязьмина и двух ближайших деревень—бывшие крепостные графа Нессельроде. Его сиятельство отпустил их на даровой, так называемый, нищенский надел, оставив за собой ни больше, ни меньше, как 18.000 десятин земли. Как ни покажется странным, нищенский участок Вязьминцев был еще обмерен на 25 десятин, как доказало межевание, произведенное летом 1878 года. Положение бывших крепостных его сиятельства было безвыходно в полном смысле слова; все они единогласно считали свое разорение с эпохи освобождения; не имея выгона, они находились в кабальной зависимости от землевладельца, так как с другой стороны их окружало 10 тыс. дес. земли другого помещика—Устинова. Арендная плата за землю, равнявшаяся в первые годы после освобождения 25 коп. за десятину, поднялась в 1878 году до 8 р. серебром. Но на 1879 год управляющий графа поставил новое условие: сверх этой суммы, за каждую десятину в поле крестьяне должны были вывести по пяти тесин или бревен, уже не помню хорошенько, за 60 или 70 верст от селений, почти с границы Кузнецкого участка. Крестьяне были в отчаянии: на такие условия они не могли согласиться, они были решительно сверх сил, и три сельские общества от земли отказались. До тех пор крестьяне, арендовавшие землю Нессельроде, снимали ее целым участком, всем обществом, разверстывая ее потом между собой, и вносили плату за круговой порукой. Это обезпечивало исправность платежа помещику, а в данном случае делало сопротивление крестьян единодушным, крепким. Чтоб разбить это единство, управляющий стал предлагать землю отдельным лицам на усло-

виях более льготных, чтоб, соблазнив одних, разбить упорство других. Конечно, склонить каждого порознь было легче, чем сговориться с миром, но не удалось и это. Наконец два общества сдались, но крестьяне Вязьмина так и не взяли земли. Это было приписано нашему влиянию. Деревенский поп, пользовавшийся щедротами помещика, писал ему о сопротивлении крестьян, поясняя, что „причины тому—фельдшерицы". После этого приехал исправник, произвел дознание о нашем поведении, образе жизни, о нашей школе, допросил отцов, перепугал ребятишек и закрыл нашу школу, как существующую без разрешения училищного совета.

Надо было видеть горе крестьян, когда они узнали об этой новости. Незадолго перед тем их уговаривали выстроить земское училище, смета постройки равнялась 1,000 руб., при чем они приглашались еще нанимать училищного сторожа и поставлять дрова для отопления школы; по бедности они отказались от столь дорогого предприятия; теперь у них отнимали даровую учительницу, их дети лишались бесплатного обучения. Все в один голос говорили о несправедливости и о том, что их хотят силою заставить войти в неоплатные расходы на казенную школу. Но это было не все. через некоторое время двое крестьян были арестованы и препровождены в город вследствие доноса писаря, который под видом частного разговора выпытал их взгляды на землю вообще. Крестьяне говорили, что как все сравнены воинской повинностью, так все будут сравнены и землей; что они заслужили эту землю турецкой кампанией; что дальше так жить, как они живут, сил нет; что сам наследник убедился в этом: он объехал с тридцатью сенаторами всю Россию, везде выслушивал жалобы и прошения крестьян и везде говорил: „Будет по-вашему". И что как в 1861 году были отняты от помещиков крестьяне, так теперь, в ближайшем будущем, будет отнята земля. Когда арестованные были освобождены, то вернувшись домой, они рассказывали нам, что исправник всячески наводил их на то, чтобы они показали на нас, как на лиц, внушивших им эти мысли и „вычигавших им эти права". С тех пор нам не давали покоя сотские и десятники, детей которых я спасала

от смерти, которым я сохранила немало рабочих дней; они жаловались, что их заставляют подсматривать в наши окна, следить за нами, подслушивать у изб наши разговоры с крестьянами; сами крестьяне стали бояться приходить к нам днем и являлись вечером тайком, проходя по задворкам; старшина, жену которого я долго лечила, с наивным сокрушением говорил мне: „Ну, что мне делать, Миколавна? Кажинный раз меня Устинов стращает: смотри, говорит, старшина за фершалицами,—ты за все отвечаешь“!

Один помещик, задетый сухостью моего обращения, не стыдился приезжать в волостное правление для справок: все ли у нас спокойно в волости? И когда писарь широко раскрывал глаза, не ожидая встретить в образованном человеке соперника своей наглости, помещик, с выразительным жестом, прибавлял: „Да что же они две на целый уезд сделают“! Одним словом, щедринский „мерзавец“ стоял перед нами в бесцеремонной позе и гнал нас вон из деревни, где он хозяин и господин. Как в борьбе за существование побеждают наиболее приспособившиеся к окружающей среде, так в сфере деревенской неурядицы одерживал верх тот, чьи приемы были бесзастенчивее, а стремления и идеалы наиболее гармонировали со всем строем жизни, со всей атмосферой общества, с его рутиной и обычными нормами. Официальная деревня не предъявляла спроса на силы людей, не подходящих под ее марку.

3. Поворот.

Наше положение еше не вполне обострилось, когда к нам в деревню приехал Александр Константинович Соловьев, чтобы посоветоваться о своем намерении ехать в Петербург, с целью убить императора; он изложил нам свой взгляд на деятельность в народе и на общее положение дел в России. Первая была, по его мнению, простым самоуслаждением при современном порядке вещей, когда борьба за интересы массы на почве легальной является бесзаконием, нелегальностью в глазах всех представителей собственности, всех лиц администрации. Стоя на этой почве, вооружу-

женные лишь принципом народной пользы и чувством справедливости, мы не имеем никаких шансов на успех, так как на стороне наших противников — материальное богатство, традиции и власть.

В виду этого, еще на последнем собрании в Саратове, мы решили, что в деревню надо внести огонь и меч, аграрный и полицейский терроры, физическую силу для защиты справедливости; этот террор казался тем более необходим, что народ подавлен экономической нуждой, принижен постоянным произволом, и сам не в силах употреблять такие средства; но для такого террора нужны новые революционные силы, а приток их в деревню почти прекратился, так как реакция и преследования убили в интеллигенции энергию и веру в возможность производительного приложения своих сил в деревне, и молодежь не видела ни малейших результатов работы предшествовавших деятелей в народе; при известной силе реакции лучшие порывы замирали, не находя себе исхода. В тот момент Россия переживала именно такое время, когда общественная инициатива исчезла, а реакция могла только расти, но не убывать. „Смерть императора,—говорил Соловьев,—может сделать поворот в общественной жизни; атмосфера очистится; недоверие к интеллигенции прекратится, она получит доступ к широкой и плодотворной деятельности в народе; масса честных молодых сил прильет в деревню, а для того, чтобы изменить дух деревенской обстановки и действительно повлиять на жизнь всего российского крестьянства, нужна именно масса сил, а не усилия единичных личностей, какими являлись мы". И это мнение Соловьева было отголоском общего настроения.

Мы уже видели ясно, что наше дело в народе проиграно. В нашем лице революционная партия терпела второе поражение, но уже не в силу неопытности своих членов, не в силу теоретичности своей программы, желания навязать народу чуждые ему цели и недоступные идеалы, не в силу преувеличенных надежд на силы и подготовку массы; нет и нет,—мы должны были сойти со сцены с сознанием, что наша программа жизненна, что ее требования

имеют реальную почву в народной жизни, и все дело в отсутствии политической свободы.

Это отсутствие политической свободы может быть замаскировано, может не ощущаться в острой форме, если деспотическая власть находится в каком-нибудь взаимодействии с народными потребностями и общественными стремлениями; но если она идет своим путем, игнорируя и те и другие; если она глуха к воплю народа, и к требованию земца, и к голосу публициста; если она равнодушна к серьезному исследованю ученого и к цифрам статистика; если ни одна группа подданных не имеет никаких способов влиять на ход общественной жизни; если все средства бесполезны, все пути заказаны; если молодая, более пылкая часть общества не находит ни сферы для своей деятельности, ни дела во имя блага народа, которому она могла бы отдать свой энтузиазм,—то положение делается невыносимым, все негодование обрушивается на выразителя и представителя этой разошедшейся с обществом государственной власти, на монарха, который сам объявляет себя ответственным за жизнь, благосостояние и счастье нации, и *свой* разум, *свои* силы ставит выше разума и сил миллионов людей; и если все средства к убеждению были испробованы и оказались одинаково безплодными, то остается физическая сила: кинжал, револьвер и динамит. И Соловьев взялся за револьвер.

Тем временем к тому же выводу приходили и члены партии, находившиеся в городах. Оправданная судом присяжных Вера Засулич едва не была арестована; в то время, как вся Россия рукоплескала приговору суда, члены царской фамилии делали визиты Трепову. Когда по процессу 193-х сенат признавал возможным смягчить наказание, царь увеличивал его; на каждое обуздание произвола его слуг он отвечал усилением реакции и репрессиями; военное положение было следствием нескольких политических убийств. Становилось странным бить слуг, творивших волю пославшего, и не трогать господина; политические убийства фатально приводили к цареубийству, и мысль о нем явилась у Гольденберга и Кобылянского почти одновременно с тем, как она овладела Соловьевым. А эта мысль действительно овладела им

всецело. Я думаю, если бы мы все восстали против нее, он все-таки осуществил бы ее. Кроме того, он безусловно верил в успех; когда я высказала ему мнение, что неудача покушения может привести к еще более тяжкой реакции, он с такой верой и увлечением стал уверять меня, что неудача немыслима, что он не переживет ее, и что пойдет на дело при всех шансах на успех,—что мне оставалось лишь пожелать, чтобы его надежды оправдались. Так мы расстались с этим человеком, соединявшем мужество героя, самоотречение аскета и доброту ребенка. С тех пор мы долго ждали с тревогой вестей из Петербурга. Между тем, наши деревенские дела шли все хуже и хуже. Я решила оставить петровское земство, но оно положительно не хотело отпустить меня. Тогдашний председатель управы Кропотов на мое заявление прислал мне письмо, где в самых лестных для меня выражениях просил не покидать земство и продолжать полезную деятельность, предлагая на выбор другой участок. Чтобы не показаться чванной, пришлось остаться еще на время, пока не явится предлог для отъезда. Оставаться долее в деревне было бесполезно и невыносимо

Когда 2-го апреля раздался неудачный выстрел Соловьева, первой моей мыслью было: надо продолжать. Вместо того, чтобы сломить реакцию, мы дали ей повод разыграться еще сильней, и мы должны были довести дело до конца. В это время наши товарищи в Вольском уезде уже принуждены были выехать оттуда; вместе с тем, из Петербурга писали, что пребывание Соловьева в Саратовской губернии открыто, и для расследования его деятельности назначена особая комиссия; вскоре пришло известие из Саратова, что эта комиссия уже прибыла туда и отправляется в Вольский уезд; друзья торопили нас выехать из опасения, что наши сношения с Соловьевым будут открыты. Наконец, из Вольского уезда явился посол, чтобы объявить нам, что уже отысканы ямщики, возившие Соловьева в Петровский уезд. После этого надо было спешить отъездом.

Уговорив сестру выехать без меня, я заявила земству, что прошу принять от меня должность, так как болезнь матери призывает меня в Петербург, но как ни настаивала я

на том, чтобы управа выдала мне все мои документы, председатель заставил меня принять лишь временный отпуск. Приходилось удовольствоваться им, чтобы отъезд не походил на бегство; в тот же день городской фельдшер был послан для приема от меня книг, инструментов, медикаментов и пр. А на другое утро, в воскресенье, простившись с вязьминцами, я уже ехала по дороге в Саратов. Неисповедимый случай и на этот раз спас меня: власти явились в Вязьмино в понедельник, опоздав не на неделю, как это было в Самаре, а на сутки.

Так кончилось наше пребывание в Саратове, с надеждами в начале, с минусом в конце. Но, если на вопрос возможна ли желаемая нами деятельность в народе? мы, в силу внешних условий, опутывавших деревню, пришли к ответу отрицательному и к выводу, что, прежде всего, необходимо сломить эти самые условия, то, вместе с тем, мы уносили сознание, что народ понимает нас, что он видит в нас своих друзей. Когда в Вязьмино явились жандармы и полиция, общий говор крестьян был: „Все это потому, что они стоят за нас“. Когда позднее писарь распустил слух, что мы арестованы, а Евгения повешена, крестьяне ночью отправились к Ермолаевым узнать, правда ли это? Они вернулись успокоенные и радостные.

Когда несколько месяцев спустя я встретилась с девушкой, жившей в одной с нами местности, она бросилась мне на шею с горячим приветствием: „Вы прожили там недаром“. Мои друзья, Богданович и Писарев, могли с удовольствием узнать, что за одного из них старшина готов был внести 5,000 руб. залогу, лишь бы его выпустили. Одна, компетентная по своей опытности и знанию крестьянской жизни, личность, которую, по ее выражению, нельзя заподозрить в пристрастии к социализму, узнав, что Богданович и Писарев отказываются от дальнейшей жизни в деревне, выразилась так: „Они никогда не отказались бы от этой жизни, если бы увидали, как относятся к ним крестьяне их волостей“. Это был голос местного жителя, очевидца всех событий, последовавших за выстрелом Соловьева.

Когда наш кружок собрался в последний раз в Сара-

тове, то я заявила, что выхожу из него, чтобы пристать к обществу „Земля и Воля“, так как не вижу смысла в самостоятельном существовании маленькой группы, и в этом обществе буду поддерживать тех, которые будут стоять за дальнейшее цареубийство. Впрочем, борьба с правительством сделалась лозунгом и всех остальных. После этого мы рассыпались. Писарев и Лешерн уехали на север, Богданович, Евгения и я остановились пока в Тамбове, где было много землевольцев; вскоре я получила из Сибири письмо от Бардиной, просившей помочь ее бегству. За эту помощь взялся Юрий Богданович, и на целый год исчез с нашего горизонта. Между тем, общество „Земля и Воля“, предупреждая мое собственное желание, вновь предложило мне чрез Михаила Родионовича Попова, находившегося в то время в Тамбове, вступить в его члены. Когда я изъявила согласие, Попов сообщил мне, что организация созывает съезд в Воронеже, куда потом мы и поехали вместе с еще несколькими землевольцами.

4. Общее положение.

Общее положение революционной партии за весь период от конца 1876 г. до съезда в Воронеже летом 1879 г., характеризуется тем, что партия еще не проявляла стремления к объединению в одну всероссийскую организацию всех единомышленников, так что при солидарности в программе, в целях и средствах, они распадались на несколько вполне самостоятельных групп, связанных друг с другом только личным знакомством отдельных своих членов. В то время, как на севере Общество „Земля и Воля“ представляло собою организацию, тесно сплоченную, связанную общим уставом, регулирующим взаимные отношения членов и определяющим их права и обязательства, южане продолжали выказывать размашистую русскую натуру, не признавали дисциплины, не обособлялись резко от массы революционной молодежи и постоянно кочевали между Одессой, Харьковом и Киевом. Ряд правительственных преследований 1877—1879 гг. раздавил эти города; процессы, в которых фигурировали: Осиновский, Мокриевич, Ковалевская, Стеб-

лин-Каменский, Волошенко, Чубаров, Виттенберг, Ковальский и вереница других имен, унес их лучшие силы. Для севера подобные же преследования не имели рокового значения, потому что *организация* обеспечивала при каждой потере вызов сил из провинции. Таким образом, летом 1879 г. Общество „Земля и Воля“ представляло единственную организованную революционную группу, владевшую литературным органом[1]) (издававшимся с осени 1878 г.) и располагавшую обширным контингентом лиц. Во главе общества стоял центр, местопребыванием которого был Петербург; этот центр заведывал типографией, изданием органа, всеми денежными средствами общества, вел сношения с провинциями, заправлял всеми текущими делами, не касавшимися провинциальной деятельности, на нем же лежала обязанность расширения связей и сил организации и посылка новых людей в деревню. Провинциальные члены размещались по губерниям: Саратовской, Тамбовской, Воронежской и Земле Войска-Донского, образуя так-называемые „общины“, автономные и самостоятельные в своих местных делах. Эти „общины“ вербовали новых членов между местными людьми, имеющими определенное положение, между рабочими и местной молодежью; принимали в свою среду лиц, вновь прибывающих в провинцию, и составляли с ними одно равноправное по местным делам целое, не делая, однако, этих лиц членами Общества „Земля и Воля“ и не посвящая их в дела и организацию этого Общества. Это были местные организации, задающиеся местными целями и связанные с петербургской организацией лишь посредством некоторых своих сочленов, сохранявших в тайне свою связь с ней. Главной задачей провинциальных групп была деятельность среди крестьянства для подготовления восстания; сообразно этому, небольшая часть членов оставалась в городах для пропаганды среди рабочих, поддержания денежных связей, заведения полезных для организации знакомств и т. п.; большинство было рассеяно по деревням и селам, съезжаясь в губернский город раз в два-три месяца на общее

[1]) „Земля и Воля“.

собрание для обмена наблюдениями, совещания о ведении дела и т. д. Общие нужды и интересы мало-по-малу сближали провинциалов между собой в союз, все более и более тесный, а расстояние и разобщение с Петербургом ослабляли связь с прежними товарищами. Род деятельности и местонахождение вдали от университетских городов, поставляющих главный контингент революционных сил, ставили провинциальные общины полную зависимость от центра, как в денежном отношении, так и в еще более важном деле—в притоке к ним свежих деятелей из молодежи. Общие условия деятельности в деревне не благоприятствовали этому притоку. По мере того, как часть программы, гласившая об обуздании произвола правительственных агентов, все более и более сосредоточивала на себе внимание петербургских землевольцев, сами они все менее и менее заботились о своих провинциальных товарищах: все средства и силы шли на освобождения, на террористические акты; приток тех и других в провинции все сокращался и они пришли, наконец, в совсем захудалое состояние.

Мало того, началось и нравственное разъединение. Петербургские землевольцы, упоенные успехами, раздраженные неудачами, в пылу борьбы, которая требовала постоянного напряжения сил, но, вместе с тем, давала неслыханное по своей силе средство для агитации, с удивлением и презрением стали смотреть на тишину саратовских сел и тамбовских деревень. Отсутствие там всяких признаков активной борьбы, видимая безрезультатность пребывания в деревне целых десятков лиц—возмущали их до глубины души. Если десятки революционеров, посвятивших деревенской деятельности более двух лет, оказывались не в состоянии не только поднять народ, но даже представить какие-либо фактические данные относительно возможности подготовления народного восстания в ближайшем будущем, то к чему дальнейшее пребывание их в деревне? Каждый член, остающийся среди крестьян, казался им отнятым от той кипучей борьбы, которой они отдавались с увлечением. Народникам же, в тесном смысле слова, казалось, что городские землевольцы занимаются фейерверками, блеск которых отвлекает молодежь от настоящего дела, от народной среды, столь нуждающейся

в ее силах. Убийства генералов и шефов жандармов были в их глазах работой менее производительной и нужной, чем аграрный террор в деревнях; террористические акты проходили в деревне бесследно, не над кем было наблюдать производимое ими впечатление; без пролога и эпилога они не потрясали и самих деревенских землевольцев; они не переживали тревог, опасений и радостей борьбы; среди однообразия необозримых степей и моря крестьянских голов, они не оплакивали товарищей, которые шли на казнь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

1. Разлад.

Но если нравственное отчуждение развивалось между землевольцами, жившими в городе, и теми, которые занимались деятельностью в деревне, то не было единодушия и в самом центре—в петербургской группе землевольцев, которая вела всю политику партии. Там, где замышлялись и приводились в исполнение акты борьбы, различие точек зрения отдельных членов естественно приобретало острый характер и все чаще и чаще приводило к конфликтам.

Настроение молодежи и общества повышалось по мере того, как одно за другим, как электрические искры, проносились известия о покушениях и политических убийствах, совершавшихся то здесь, то там. Убийство жандармского офицера барона Гейкинга, покушение на прокурора Котляревского в Киеве и убийство губернатора Крапоткина в Харькове, организованные и осуществленные землевольцем Осинским и киевлянами; вооруженное сопротивление при аресте Ковальского и его товарищей в Одессе и демонстрация по поводу суда над ними; убийство шефа жандармов Мезенцева и покушение на Дрентельна, заменившего его, исполненные петербургскими землевольцами, вооруженная попытка под Харьковом освободить Войнаральского на пути следования в централ, сделанная ими же—все эти факты, необычные в серой, тусклой жизни России, производили громадное впечатление и встречали такой прием, который окрылял сторонников нового течения. Осинский, живший в Киеве, живой и увлекающийся, с головой отдавался этому течению, а его петербургские товарищи Александр Михайлов, Н. Морозов,

А. Квятковский, Баранников и Ашанина, нащупывая верно новый путь революционной деятельности, все яснее сознавали необходимость добиться политической свободы путем активной борьбы с правительством.

Мало-по-малу в их глазах две стороны программы „Земли и Воли“ меняли свое место. В 1876 году, при основании Общества, центр тяжести полагался в деятельности в деревне, в подготовлении и организации народного восстания, а „удар в центре“ ставился в зависимость от того, что будет делаться в массах; теперь же, в 1878—1879 г., этот „удар“ полагался во главу угла и занимал первое место: *ни что другое а именно он* должен был развязать живые силы народа, дав возможность к выявлению их в момент дезорганизации и смущения правительства. На создание этого момента и должны были отныне направляться все силы партии, все усилия ее.

Так думали А. Михайлов, Квятковский и их единомышленники. Но в той же петербургской группе, наряду с ними, находились ярые противники таких взглядов, энергично и упрямо защищавшие прежнюю позицию; таковы были Плеханов и М. Попов, со всей резкостью своих ярких индивидуальностей боровшиеся против новшеств.

Ссылаясь на первоначальную программу, оставшуюся неизмененной, они опирались и на практические соображения, указывая, что после каждого террористического выступления происходят разгромы организации. Правительственная репрессия вспыхивает с новой силой и аресты часто выхватывают самых ценных людей. Не слишком ли дорогой ценой этих, можно сказать, невознаградимых утрат, покупается то сочувствие и одушевление, которое ослепляет товарищей, увлекая их все дальше на односторонний политический путь? И моральное влияние политического террора на молодежь было в глазах Плеханова и Попова вредно для интересов народа: громкие блестящие схватки с правительством волновали воображение молодежи и отвлекали ее от малозаметной работы среди крестьян—этой насущной деятельности партии, нуждающейся в опоре среди масс.

И вот, каждый раз, когда новаторы задумывали новое

дело, их планы встречали горячий отпор, вызывали едкую полемику, обостряли взаимные отношения.

Когда в декабре 1878 г. из Петровского уезда, Саратовской губернии я приезжала в Петербург, разлад между членами центра был очевиден: они тянули в разные стороны. Морозов и Михайлов, горячо убеждали меня оставить деревню и перебраться в Петербург, доказывая бесцельность дальнейшей жизни среди крестьян, а на собрании членов группы Плеханов говорил с таким раздражением, таким тоном, что враждебность к Михайлову и Морозову коробила меня, непривыкшую к подобным отношениям.

Но пререкания и распри достигли апогея, когда весной 1879 года из Саратовской губернии в Петербург приехал Александр Соловьев.

„Безрезультатна была при существующих политических условиях жизнь революционера в деревне"—таков был вывод, сделанный им после пребывания в ней. „Какой угодно ценой надо добиваться изменения этих условий и прежде всего сломить реакцию в лице императора Александра II", и он решил, что убьет его.

Но для этого в Петербурге ему нужна была помощь, за которой он и обратился к товарищам-землевольцам. Вопрос о покушении был поставлен в центральной группе, но, передавая о намерении и просьбе Соловьева, сторонники вооруженной борьбы сочли необходимым умолчать об его имени— таково было недоверие и опасения относительно настроения Плеханова и Попова, но в ходе прений им было сообщено, что решение сделать покушение непоколебимо и никакой отказ не отвратит его. Это добавление—не считаться с мнением организации—переполнило меру терпения Плеханова и Попова. Возмущенный Попов воскликнул: „Если среди вас найдется Каракозов, то не явится ли и новый Комиссаров, который не пожелает считаться с вашим решением?!" На это друг Попова, Квятковский, вместе с ним ходивший в народ, крикнул: „если этим Комиссаровым будешь ты, то я и тебя убью!"

Бурное столкновение кончилось компромиссом: как организация, „Земля и Воля" отказывала в помощи покушению,

но, индивидуально, отдельные члены могли оказать ее в той мере, какую найдут нужной.

2-го апреля покушение состоялось и было неудачным: большой револьвер, из которого стрелял Соловьев, был доставлен землевольцами. Этот револьвер повлек за собой арест Веймара, купившего револьвер в магазине, который помещался в доме его матери на Невском, а обнаружение личности Соловьева, которому не удалось отравиться, вызвало многочисленные аресты его друзей и знакомых в Петербурге, в Псковской губернии и наезд жандармов в Вольский и Петровский уезды Саратовской губернии, откуда все, кто имел там сношения с ним, должны были скрыться.

2. Организация в организации.

После выстрела Соловьева Плеханов и Попов заговорили о необходимости созвать общий съезд членов О-ва, чтобы на нем решить тяжбу между новым и старым направлением: намерено ли О-во держаться прежней программы, или желает внести изменения в духе защитников политической борьбы? В результате—которой-нибудь из сторон пришлось бы подчиниться решению большинства или же выйти из состава О-ва, чтоб не произошло исключения из него.

Настроение провинции было мало известно в Петербурге. Попов считал его благоприятным для своих взглядов, и это внушало тревогу тем, кто был за новое. Чтобы не быть захваченным врасплох, надо было принять меры и обеспечить себе возможность продолжать политическую борьбу даже в случае разрыва с прежними товарищами. Тогда-то и возникла группа, послужившая потом главным ядром будущего „Исполнительного Комитета партии Народной Воли“. Александр Квятковский, Александр Михайлов, Морозов, Ашанина, Тихомиров и Баранников организовались внутри О-ва „Земля и Воля“ в обособленную группу, о которой остальные члены не знали, и стали втайне подбирать себе сторонников. Таких в Петербурге было не мало: скоро около Михайлова и Квятковского составился подсобный кружок, в который вошли нелегальные из процесса 193-х: Кибальчич, А. Акимова и

Софья Иванова, студенты Исаев и Арончик, супруги А. и приехавший из-за границы Степан Ширяев.

Программа кружка носила характер политический, она признавала необходимость политического террора и девизом взяла громкий клич: „Победа или смерть".

Уже Осинский в Киеве вместе с несколькими местными террористами употреблял термин: „Исполнительный Комитет" в прокламациях, которые они издавали по поводу террористических актов, совершаемых по их инициативе, на собственный риск и страх. По примеру Осинского, его единомышленники в Петербурге стали ставить ту же подпись в „Листке Земли и Воли", который издавался под редакцией Морозова, как приложение к партийному органу, носившему название: „Земля и Воля". Листок при постоянной оппозиции Плеханова, носил агитационный характер и выпускался, когда главный орган почему-либо запаздывал. В нем, время от времени, от имени „Исполнительного Комитета" появлялись объявления о шпионах и провокаторах, сведения о которых доставлял Клеточников, приехавший из Крыма с предложением служить партии и с одобрения А. Михайлова и его друзей поступивший с января 1879 г. делопроизводителем в 3-е отделение.

Благодаря киевским прокламациям и публикациям листка, название Исполнительного Комитета уже имело известное распространение и группа Квятковского, образовавшаяся в недрах „Земли и Воли", решила воспользоваться им и приняла это, уже популярное, наименование. Через Морозова, как представителя этого Исполнительного Комитета, кружок „Победа или Смерть" был связан с Комитетом, а Михайлов и Квятковский, входя, неведомо для кружка, в состав Исполнительного Комитета, являлись рядовыми членами его. „Победа или Смерть" в боевом смысле активно себя ничем не проявил; образование его, по словам участников, не смотря на свирепое название, преследовало скорее некоторые технические задачи и подготовляло членов для дальнейшей группировки. Действительно, через некоторое время, почти весь кружок вошел в состав Исполнительного Комитета Народной Воли; только супруги А. отошли совсем от революционного

движения, но дали, однако, материальные средства, без которых было бы трудно осуществить террористические акты против самодержавия.

Не ограничиваясь работой организационной, „Исполнительный Комитет“ этого периода позаботился о том, чтоб. в случае выхода или исключения из „Земли и Воли“ обеспечить себе техническую возможность дальнейшей деятельности. С помощью своего единомышленника, бывшего чайковца Зунделевича, Комитет приобрел достаточное количество шрифта для устройства, если это будет нужно, собственной типографии, а в лице Кибальчича нашел человека, который уже со времени выхода из тюрьмы в начале 1878 года обдумывал вопрос о приготовлении динамита домашним способом, а затем не только теоретически изучил свойства и приготовление его, но сделал и лабораторные опыты в этом направлении.

Действенность была характерным признаком этих новаторов и, как только подготовка Кибальчича закончилась, они воспользовались персоналом кружка „Победа или Смерть“ и устроили мастерскую для приготовления нитроглицерина, затем и динамита, необходимого для будущих целей. Во главе мастерской в качестве химика стал Кибальчич, а техниками являлись Ширяев, Исаев и Якимова, причем последняя была и хозяйкой конспиративной квартиры, в которой происходила работа.

В примитивной обстановке этой импровизированной лаборатории, в постоянной опасности быть открытыми полицией, или быть взорванными вместе со всем домом, эти отважные товарищи приготовили к лету 1879 г. несколько пудов динамита, хотя не прошли никакой правильной школы и работали ощупью, когда смерть могла застигнуть их каждую минуту.

3. Липецк и Воронеж.

Когда вопрос о съезде членов „Земли и Воли“ был решен, то приготовившиеся к битве члены Исполнительного Комитета решили предварить его, собрав своих единомышленников на тайное сепаратное совещание с участием выда-

ющихся революционеров юга, не входивших в состав „Земли и Воли". Это были: Колодкевич из Киева, Желябов из Одессы и Фроленко, который был известен на всем юге, потому что освободил Костюрина из тюрьмы в Одессе, а Стефановича, Дейча и Бохановского—из тюрьмы в Киеве; участвовал в попытке освободить Войнаральского под Харьковом и в подкопе под Херсонское казначейство, из которого, как я уже упоминала, было похищено полтора миллиона рублей.

Местом съезда землевольцев был выбран Воронеж, а временем—24 июня; несколькими днями раньше в маленьком курортном городке Липецке, из которого быстро можно было переехать в Воронеж, решили собраться все те, кто стоял за новое направление. К назначенному времени из Петербурга туда прибыли члены Исполнительного Комитета, а по телеграммам явились приглашенные южане. В количестве 11—12 человек съехавшиеся объединились в группу, приняв с поправками устав, составленный секретарем Исполнительного Комитета — Морозовым. Программа группы ставила целью организации—ниспровержение самодержавного строя и водворение политических свобод, а средством вооруженную борьбу с правительством.

Быстро покончив дела, члены, входившие в „Землю и Волю", отправились в Воронеж, а южан и Ширяева оставили в Липецке, чтобы в Воронеже предложить их в члены общества и затем вызвать на общий съезд. Такие кандидаты, как Фроленко, Желябов, Колодкевич без возражений были тотчас приняты; приняли и Степана Ширяева, горячо рекомендованного теми, кто знал его по Петербургу. Они явились и усилили собой левое крыло съезда. С другой стороны, были предложены и приняты находившиеся еще за границей Стефанович, Засулич, Дейч и Бохановский. По приезде первых трех в Петербург, они оказались на стороне Плеханова.

Теоретические разногласия, личное раздражение и взаимное недоверие, опасения обоих сторон, как бы противники не взяли верх, скрытое существование в недрах одного тайного общества другого, вдвойне тайного, общая настороженность в виду угрожающего конфликта—вот напряженная атмосфера, в которой собрался этот революционный съезд,

первый, как по времени, так и по общероссийскому характеру своего состава.

Но как только съезд открылся, стало очевидно, что взаимные отношения горожан и землевольцев деревни далеко не так обострены, как можно было ожидать, судя по бурным стычкам в Петербурге.

Вместо резкой критики и нападений обнаруживался дух миролюбия и терпимости: отрицательное отношение деревенских землевольцев к политическому террору явно преувеличивалось петербургскими противниками его. Постановления съезда носили компромиссный характер. Тяжело было расколоть организацию, разойтись с товарищами в разные стороны: всем хотелось сохранить единство, все боялись потери сил от разделения.

Программа „Земли и Воли“, составленная в очень общих чертах, давала каждой стороне возможность толковать ее в свою пользу. Как городские, так и деревенские члены в своих домогательствах и претензиях с одинаковым правом ссылались на нее и приводили ее тезисы в защиту своей деятельности. После взаимных объяснений и дебатов, программа „Земли и Воли“, также как и устав общества, были оставлены без изменения. Деятельность в народе было решено продолжать, но включить в нее аграрный террор; наряду с этим постановлено продолжать и террористическую борьбу в городе, включая в нее и цареубийство.

Орган „Земля и Воля“ должен был сохранять прежний характер в духе программы общества, а „Листок Земли и Воли“ получил санкцию издаваться в качестве агитационного прибавления.

Лишь вначале был острый момент: несдержанный и раздраженный Плеханов, с силой защищавший свою позицию и видевший, что присутствующие склонны к соглашению, с гневом поднялся с места и покинул собрание, происходившее на лужайке в ботаническом саду, за городом. Уходя, он бросил слова: „мне нечего больше здесь делать“! Я бросилась, чтоб удержать его, но Ал. Михайлов остановил меня: „Оставьте его“,—сказал он.

Я не помню, но, по словам Морозова, после этого был

поставлен вопрос, считать ли уход Плеханова за выход из Общества? Ответ был утвердительный. Должно быть, он сам считал себя вышедшим из членов, потому что с тех пор и до отъезда Плеханова за границу я уже не встречала его.

На воронежском съезде присутствовали: Ал. Михайлов, Ал. Квятковский, Морозов, Баранников, Тихомиров, Ашанина, Фроленко, Желябов, Колодкевич, Перовская, я, Ширяев, М. Попов, Плеханов, Преображенский, Тищенко, Харизоменов, Аптекман, Хотинский, Мощенко и Николаев. Всего 21 человек.

Некоторые землевольцы, живущие в деревне, не явились: они не придавали значения съезду; другие, приехав раньше общего сбора, возвратились домой из боязни потерять свои места.

В общем, съезд прошел бледно; он не был решающей битвой, как этого ждали петербургские члены. У собиравшихся в Липецке еще не было категорического желания самим порвать с остальными товарищами, но они воспользовались воронежским съездом, чтоб сделать смотр всем работникам Общества, узнать настроение их для того, чтоб привлечь кого можно в свои ряды, если в будущем придется прибегнуть к решительному шагу—расколу партии.

Так, с первой же встречи в Воронеже мой давний друг, Морозов, делал всякие подходы, чтоб привлечь меня в свою тайную группу. Он не говорил, что она уже существует внутри „Земли и Воли", но старался убедить в необходимости создать ее. Но я не поддавалась: я отвергала не только необходимость или нужду в такой группе, но находила совершенно недопустимым в тайном обществе заводить еще тайное сообщество. „Так поступал Нечаев",—говорила я, и решительно отказывалась от проекта, который казался мне излишней выдумкой ультра-конспиратора.

4. Либералы.

В виду интереса, который внушает личность Желябова, быть может, не лишне упомянуть о вопросе, который он задал на съезде, когда речь зашла о введении в программу

аграрного террора. „На кого думает опираться революционная партия?—спрашивал он.—На народ или на либеральную буржуазию, которая сочувствует ниспровержению абсолютизма и водворению политической свободы? Если первое, то уместен и фабричный и аграрный террор, говорил он.— „Если-ж мы хотим искать опоры среди промышленников, земцев и деятелей городского самоуправления, то подобная политика оттолкнет от нас этих естественных союзников". И он указывал, что в Черниговской и Таврической губерниях, в Киеве и Одессе есть деятели, которые в видах общности политических целей ищут сношений с революционной партией. Так, Осинский, тогда уже казненный, имел в Киеве довольно обширные связи с либеральными кругами и было заметно, что он сам уклоняется от социализма к программе чисто политической. А в Одессе в то время в городской думе существовала большая группа интеллигентов, которая устраивала собрания и обсуждала ни более, ни менее, как проекты конституции. „Парижская Коммуна",—называл эту думу Панютин, правая рука генерал-губернатора Тотлебена, и летом того же 1879 года не преминул разгромить этих преждевременных конституционалистов, отправив лидеров в отдаленные места Сибири.

На вопрос Желябова последовал единодушный ответ, что мы будем опираться на народные массы и сообразно с этим строить свою программу теоретическую и практическую [1].

Надо сказать, что у нас на севере либералы никогда не считались силой и в целом в 70-ые годы к ним относились отрицательно и с насмешкой. Их бездействие, отсутствие какого-либо протеста против политического гнета со всеми его безобразиями, приниженность по отношению к центральной и губернской администрации совершенно дискредитировали в глазах молодого поколения буржуазно-либеральные элементы, о которых говорил Желябов, а культурное значение земства и городского самоуправления в области

---

[1]) Слово „тактика" в нашем революционном обиходе тогда отсутствовала, как и слова и понятия: платформа, программа минимум, программа максимум.

народного образования было тогда ничтожно: по результатам, как в городе, так и в деревне, оно было совершенно незаметно.

На севере со стороны этих кругов были и попытки сношений с „радикалами“, как мы обыкновенно называли себя; но эти попытки только роняли их. Так в 1878 году, когда издавался орган „Земля и Воля“, либералы (если не ошибаюсь Тверской губернии) задумали издавать свой собственный подпольный орган. И что же? Обратившись за помощью к землевольцам, они предложили, чтобы мы устроили тайную типографию, оборудовали ее, дали нужный персонал и печатали то, что они, либералы, будут доставлять для этого, а со своей стороны обещали денежные средства. Так весь риск и ответственность перекладывались на плечи землевольцев, которые пошли бы потом на каторгу и поселение за дело, в которое не могли вкладывать душу.

Предложение возбудило лишь иронический смех.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

1. Раздел „Земли и Воли".

После воронежского съезда началась нелегальная жизнь моя. Я уехала в Петербург с Квятковским, который привез меня в Лесной, где вместе с С. Ивановой он держал общественную квартиру.

Квятковский всегда находил простых женщин, всецело преданных ему, и прислугой у нас в Лесном была немка, совершенно безопасная для того необычного образа жизни, который на ее глазах мы вели совершенно откровенно.

Это была штаб-квартира землевольцев боевого направления. Стояло лето и дачная местность представляла много удобств для подобной квартиры. Все мы были нелегальные и множество лиц такого же положения приходило к нам по делам, не возбуждая внимания, а в сосновом парке, на выходе, легко было устраивать собрания под видом невинной прогулки.

Мы так и делали: собирались на далекой окраине, куда публика не заглядывала, и располагались на сухом слое хвои среди сосен, где издалека можно было заметить всякого постороннего, еслиб он случайно забрел сюда.

Эти собрания начались вскоре после нашего приезда; но это были уж не собрания землевольцев, а только тех, кто присутствовал на липецком съезде или был постоянным посетителем дачи. Тут на первых же порах Квятковский, Морозов и Михайлов стали жаловаться на сторонников деятельности в деревне, что они тормозят работу по террору. Решение воронежского съезда о цареубийстве, говорили они, надо выполнять, не теряя времени, иначе приготовления к осени, когда Александр II из Крыма должен возвращаться в

Петербург, не будут сделаны. Между тем для устройства покушений в нескольких местах по пути следования есть и достаточный запас динамита, и необходимый персонал. Но, как было раньше, так и теперь, по их словам, противники террора всячески оттягивают выполнение. Силы уходят на споры и внутренние трения; вместо того, чтобы действовать решительно и единодушно, в будущем предстоят колебания, уступки и компромиссы. Воронежский съезд не устранил, а только затушевал разногласия и, чтоб не парализовать друг друга, лучше разойтись и предоставить каждой стороне итти своим путем.

Еще и еще говорили они на ту же тему и возражений теперь не было: главные оппоненты—Плеханов, Попов, Стефанович—отсутствовали, Перовская и я, которые в Воронеже колебались, стараясь сохранить единство организации, перестали сопротивляться, когда дело коснулось практики и петербургские товарищи открыли нам, что все средства для покушений приготовлены и остается только осуществлять замысел, вместо того, чтобы стоять на мертвой точке. Общее настроение, очевидно, было за раздел. Вопрос о судьбе „Земли и Воли", о разделе был поставлен наконец ребром и решен утвердительно.

Для выработки условий с обоих сторон были выбраны представители. Они предложили и обе стороны согласились, чтоб типография, в которой печатался партийный орган, осталась в руках сторонников прежней программы. Старая Мария Константиновна Крылова, которую, вероятно, благодаря имени, называли Богородицей, была определенно против новшеств и, как прежняя хозяйка типографии, осталась при ней. А группа Михайлова, благодаря запасу шрифта, добытого Зунделевичем, могла тотчас же организовать свою собственную печатню. Ее хозяйкой намечалась Софья Иванова [1]), знакомая с типографским делом, так как в свое время была наборщицей в типографии Мышкина в Москве. Мало образованная Грязнова, игравшая роль прислуги в типографии „Земли и Воли", переходила к нам, как к людям, которым она сочувствовала больше. В остальном персо-

[1]) Впоследствии по мужу Борейшо

нале недостатка не было: хозяином согласился быть Бух, а Цукерман и „Пташка“ взялись быть наборщиками. Денежные средства решили разделить поровну, но они были лишь в перспективе: большое состояние прежнего чайковца, члена „Земли и Воли“, Дм. Лизогуба, состояло в имениях; полную доверенность на управление ими он дал Дриго, которому доверял безгранично. Ему он поручил продать все и деньги передать „Земле и Воле“. Но Лизогуб уже несколько месяцев находился в тюрьме в Одессе. Осенью его казнили по делу Чубарова вместе с Малинкой и Дробязгиным. А Дриго? Дриго изменил чести и продался правительству, надеясь сам воспользоваться богатством своего великодушного и доверчивого друга. Ал. Михайлов, через которого землевольцы вели денежные сношения с Дриго, не мог не только получить никаких сумм от Дриго, но чуть не попал в ловушку, устроенную предателем.

Так, насколько я помню, наши прежние товарищи по „Земле и Воле“ не получили ничего, а у нас оставался рессурс 23,000 руб., обещанные и действительно переданные нам супругами А., членами „Победа или Смерть“, которые сочувствовали террору.

По соглашению, ни одна из двух фракций, на которые распалась „Земля и Воля“, не должна была пользоваться прежним названием, уже завоевавшим известность и симпатии в революционных кругах: обе стороны оспаривали друг у друга это право и ни одна не хотела уступить другой всех преимуществ продолжателя и наследника раньше действовавшей организации.

Сторонники старого направления, сосредоточившие свое внимание на аграрном вопросе и экономических интересах крестьянства, приняли название: „Черный Передел“, а мы, стремившиеся в первую очередь к ниспровержению самодержавия и замене воли одного—волей народа, взяли название: „Народная Воля“.

Так, по выражению Морозова, мы разделили и самое название прежней организации. Чернопередельцы взяли „Землю“, а мы—„Волю“, и каждая фракция пошла своей дорогой.

2. «Народная Воля».

В то время, как фракция „Черного Передела“, сохранив в главных чертах программу „Земли и Воли“, лишь подчеркнула в ней непосредственную деятельность в народе и необходимость организации его для экономической борьбы против буржуазии, народовольцы в основание своей программы положили начало совершенно новое. Этим началом было значение и влияние централизованной государственной власти на весь строй народной жизни. Этот элемент играл, по их мнению, громадную роль во все моменты нашей истории. Как во времена, давно минувшие, эта государственная власть разрушила федеративные начала политического строя древней России; народ, искони обращенный в податное сословие, она сделала сначала крепким земле, а потом отдала в личное рабство; создала дворянство, сначала как служилый, потом как свободный от тягостей государственной службы поместный класс, а когда этот класс обнищал и захудал, а знатнейшие боярские роды к началу XVIII столетия обеднели и вымерли, то рядом „всемилостивейших“ колоссальных раздач государственных земель и казенных крестьян, положила начало той крупной, знатной и богатой собственности, которую застала эпоха освобождения крестьян; так, в новейшее время, освободив в 1861 г. крестьян от личного рабства, та же государственная власть взяла на себя роль главнейшего эксплоататора свободного народного труда: она наделила крестьянство земельным наделом, стоящим далеко ниже крестьянской рабочей силы; обременила этот недостаточный надел такими несоразмерными платежами и налогами, что они поглощали весь валовый доход крестьянина, а во многих местах превышали доходность земли на 205 и более процентов. Эти платежи составляли, таким образом, непомерный налог на труд, доходивший до 40—50 рублей на взрослого работника [1]).

Создав таким обременительным способом громадный государственный бюджет, 80—90 процентов которого доста-

---

1) Головачев. Наша государственная роспись. „Русская Мысль“, 1880 г.

вляются низшими классами, централизованная государственная власть употребляла его почти всецело на поддержание внешнего могущества государства, на содержание армии, флота и на уплату государственных долгов, сделанных для тех же целей, бросая лишь жалкие крохи на производительные расходы, удовлетворяющие таким насущным народным потребностям, как народное образование и т. п. Такое положение вещей соответствовало вполне принципу, что народ существует для государства, а не государство для народа. Рядом с подобной эксплоатацией народа государством бледнеет всякая частная эксплоатация. Но, не довольствуясь этим, правительство употребляло все усилия для поддержания этой последней: как прежде оно создало дворянское землевладение, так теперь оно стремилось к созданию буржуазии. Вместо того, чтобы взять сторону народного хозяйства, оно поддерживало частных предпринимателей, крупных промышленников и железнодорожников. По свидетельству всех экономистов, за целое двадцатилетие со времени освобождения крестьян не было предпринято ни одной меры к улучшению экономического быта народа; напротив, вся финансовая политика правительства была направлена на создание и поддержку частного капитала; субсидии, гарантии и тарифы, все экономические мероприятия за этот период были обращены в эту сторону и, в то время, как на Западе правительство служит орудием и выразителем воли имущественных классов, уже достигших господства, у нас оно являлось самостоятельной силой, до известной степени, источником, творцом этих классов. Таким образом, в сфере экономической современное государство представлялось „Народной Воле“ крупнейшим собственником и главнейшим самостоятельным хищником народного труда, поддерживающим других более мелких эксплоататоров. Угнетая народ экономически, правительство оставляло все классы его бесправными в области политической: в лице более чем 10.000,000 сектантов и раскольников народ страдал от отсутствия свободы вероисповедания; фискальные и полицейские меры лишали его свободы передвижения; отсутствие свободы преподавания держало в вынужденном невежестве; народ был лишен всех

способов заявлять правительству о своих нуждах и потребностях, так как не существует права петиций и, наконец, вся жизнь народа была подчинена необузданному произволу администрации.

Не лучше,—говорили народовольцы,—политическое состояние и других слоев общества: земство превращено в сборщика податей; оно не может входить с представлениями о нуждах населения; умышленно держится в разобщении; его голос остается неуслышанным по самым существенным вопросам народного быта (например, по вопросу о введении подоходного налога); в области народного образования оно подчинено министерству народного просвещения, и в непосильной борьбе с ним приходит к грустному решению закрыть земские школы (как это было в тверском земстве); земские выборы и собрания поставлены в зависимость от административной власти. Единственный способ, чрез посредство которого общество могло бы влиять на правительтельство и через него на жизнь,—литература и пресса—находятся в состоянии полной подавленности. Там, где нет свободы научного исследования и свободы слова, что может представлять собой печать? Но и в тех узких рамках, которые ей предоставлены, она остается гласом вопиющего в пустыне,—средством воспитания в известном направлении читателей, но не способом непосредственного проведения идей в жизнь: на что бы она ни указывала, что бы ни предлагала,—все остается втуне. Ее лучшие представители были или находятся в ссылке; те, кто побывал в крепости, состоят под постоянным полицейским надзором (Чернышевский, Михайлов, Герцен, Салтыков, Флеровский, Шелгунов, Писарев, Лавров, Достоевский, Пругавин, Михайловский, Успенский и пр., и пр.). Молодая часть общества, учащаяся молодежь, подвергается мелким стеснениям, лишена корпоративных прав и пользуется усиленным вниманием полиции. Всякая попытка добиться тем или другим способом изменения в существующем порядке разбивается об инерцию или встречает ожесточенное преследование. Когда молодежь обратилась к народу с мирной пропагандой, ее встретили массовые аресты, ссылка, каторга и центральные тюрьмы; когда, воз-

мущенная насилием, она наказала нескольких слуг правительства, оно ответило генерал-губернаторствами и казнями. С половины 1878 по 1879 гг. Россия увидела 18 смертных казней над политическими преступниками. Государственная машина является при таких условиях настоящим Молохом, которому приносятся в жертву и экономическое благосостояние народных масс, и все права человека и гражданина.

Этому-то владыке русской жизни—государственной власти, опирающейся на несметное войско и всевластную администрацию, объявила войну революционная фракция „Народной Воли", назвав правительство, в его современной организации, главнейшим врагом народа во всех сферах его жизни. Этот тезис и его следствия: политическая борьба, перенесение центра тяжести революционной деятельности из деревни в город, подготовление не восстания в народе, а заговора против верховной власти, с целью захвата ее в свои руки и передачи народу, строжайшая централизация революционных сил, как необходимое условие успеха в борьбе с централизованным врагом,—все это вносило настоящий переворот в революционный мир того времени. Эти положения подрывали прежние революционные взгляды, колебали социалистические и федералистические традиции организации и нарушали всецело ту революционную рутину, которая уже успела установиться за истекшее десятилетие. Поэтому немудрено, что для того, чтобы сломить оппозицию и дать новым взглядам окончательное преобладание в революционной среде, потребовалось 1—1½ года неутомимой пропаганды и целый ряд ослепительных фактов: общий ропот неудовольствия поднялся при выходе номера „Народной Воли", который, указывая на монархию, провозгласил свое „Delendo est Carthago!" и единодушный взрыв рукоплесканий приветствовал 1 марта 1881 года.

После того, как раздел стал совершившимся фактом, квартира в Лесном была ликвидивована. С. А. Иванова устроилась с типографией в Саперном переулке, а я, под именем Лихаревой, поселилась вместе с Квятковским на той квартире, на которой в ноябре того же года он был арестован. Не помню, на какой это было улице.

Эта квартира должна была служить местом наших собраний; на ней мы обсуждали и приняли ту програму Исполнительного Комитета партии „Народной Воли“, которая была потом опубликована [1]).

Первоначально Морозов прочитал программу, принятую на липецком съезде, но она не удовлетворила присутствующих, и Тихомирову было поручено написать другой проект, который он вскоре и представил. Мы были все единомысленны, поэтому прения шли быстро, гладко, без многословия, которое вообще было не свойственно нашим деловым заседаниям.

В самом начале нас остановило определение: „Мы—народники-социалисты“. Можем и должны ли мы называть себя „народниками“, как звали себя члены „Земли и Воли“, переставшей существовать? Не вызовет ли это смешения понятий? Не будет ли слишком отдавать стариной, затемняя смысл нового направления, которое мы хотим закрепить своим отдельным существованием? „В таком случае употребим название „социал-демократы“,—предложил Желябов.— При передаче на русский язык этот термин нельзя перевести иначе, как социалисты-народники — продолжал он. Но большинство высказалось решительно против этого. Мы находили, что название „социал-демократы“, присущее германской социалистической партии рабочих, в нашей русской программе, столь отличной от немецкой, совершенно недопустимо. Кроме того, среди нас были и решительные защитники старого определения. Оно подчеркивало наше революционное прошлое, то, что мы—партия не исключительно политическая; что политическая свобода для нас *не цель, а средство*,—средство пробиться к народной массе, открыть широкий путь для развития ее. С другой стороны, сочетанием слова „социалисты-народники“ мы указывали, что, как социалисты, мы преследуем не отвлеченные конечные задачи социалистического учения, а те сознанные народом потребности и нужды, которые в основе своей заключают социалистическое начало и принципы свободы. Считая воплощение

---

1) См. приложение: Программа И. К. партии „Народной Воли“.

социалистических идеалов в жизнь делом более или менее отдаленного будущего, новая партия ставила ближайшей целью в области экономической передачу главнейшего орудия производства,—земли в руки крестьянской общины; в области же политической — замену самодержавия одного самодержавием всего народа, т.-е. водворением такого государственного строя, в котором свободно выраженная народная воля была бы высшим и единственным регулятором всей общественной жизни. Самым пригодным средством для достижения этих целей представлялось устранение современной организации государственной власти, силою которой держится весь настоящий порядок вещей, столь противоположный желательному; это устранение должно было совершиться путем государственного переворота, подготовленного заговором.

3. Захват власти.

Если в первых же строках программы было утверждено социалистическое и народническое начало, то в политической части, говорившей о низвержении самодержавия и водворения народовластия, которое мыслилось в форме народного представительства, мы логически были приведены к вопросу о государственном перевороте и образовании временного правительства.

Надо заметить, что в программе „Народной Воли“ не говорится о захвате власти партией, а лишь о временном правительстве, том промежуточном звене между низвержением царизма и водворением на его место народного правления, без которого не может обойтись никакое революционное изменение государственного строя.

„Захват власти“ появляется в записке „Подготовительная работа партии“—документе позднейшего происхождения. Не могу с уверенностью сказать — этот документ или аналогичное место о захвате власти в одном из наших изданий вызвало нарекания на Желябова, как автора, допустившего выражения в духе якобинизма, и я присутствовала на квартире Желябова в Измайловском полку при горячих нападках на него Перовской и Ланганса. Да и все мы были не-

довольны, так как не признавали себя якобинцами. Никогда у нас не было речи о навязывании большинству воли меньшинства, о *декретировании* революционных, социалистических и политических преобразований, что составляет ядро якобинской теории. При чем иначе была бы „Народная Воля“, взятая нами, как девиз и знамя партии? Самый вопрос о временном правительстве при наличном составе партии был у нас вопросом скорее академическим, без мысли что мы увидим его, а тем более, войдем в него, и ставился для стройности программы, для будущего, когда революционная партия разрастется до обширных размеров. А если доживем и увидим, то скорее всего жар загребут нашими руками либералы: земские и городские деятели, адвокаты, профессора и литераторы, как это было до сих пор во Франции XIX века.

И приходилось итти на это, лишь бы сбросить царизм, душивший все силы народа. осужденного на нищету, невежество и вырождение.

Как далеки мы были от якобинизма показывает письмо Исполнительного Комитета к Александру III-му после 1-го марта 1881 года [1]). Выставляя требование созыва Учредительного Собрания, Комитет обещает подчиниться *воле народа*, выраженной его представителями. И смысл этого обещания был тот, что в случае, если бы народное представительство не оправдало надежд революционной партии, она обратилась бы не к насилию над ним, не к террору, а к пропаганде своих идей в народе, оказавшемся не на высоте положения.

Было, однако, среди нас одно, и притом выдающееся своими качествами лицо, исповедывавшее убеждения якобинца. Это была Мария Николаевна Ашанина, урожденная Оловенникова. Мария Николаевна принадлежала к семье богатых помещиков Орловской губернии и воспитывалась в Орле. Там же она получила и революционное крещение. Ее учителем в этом отношении был человек, далеко немалого масштаба—старый революционер—якобинец Зайчневский, побывавший в шестидесятых годах на каторге и живший в

---

[1]) См. прилож.: Письмо к Александру III

Орле под надзором полиции. В течение ряда лет он был магнитом, который привлекал учащуюся молодежь, и Мария Николаевна воспиталась под его влиянием.

Мария Николаевна была женщина тонкого ума, ловкая, настойчивая и энергичная, и это обезпечивало ей влияние,— она имела вес, как среди своих, так и среди чужих. Но центром ее деятельности был не Петербург, а Москва, где она поселилась уже в самом начале „Народной Воли“ и ее якобинские взгляды, если могли проявиться, так именно там. Однако, на той революционной молодежи, центром которой, на-ряду с Телаловым, была она, влияние этих взглядов совершенно ничем не выразилось и не сказалось ни в чем. Тем более нельзя приписать ей появление „Захвата власти“, проскочившего в некоторых документах „Народной Воли“

Историк мог бы подумать, что якобинское влияние шло из-за границы. Там издавался в этом духе орган „Набат“ сначала Ткачевым, а потом Турским.

Когда революционное движение в России приняло боевой характер и атаковало самодержавие, „Набат“ горячо приветствовал эти выступления и приписывал себе, своему влиянию, поворот революционных сфер к политике. Напрасно. Издание „Набата“ не имело почти никаких связей в России; распространение его было так ничтожно, что за все время после моего возвращения в 1875 году из Цюриха в Россию, я ни разу ни у кого не видала ни одного номера этого издания и никогда вплоть до ареста в 1883 году не слыхала ни в одном из крупных городских центров России разговоров о нем. Отдельные лица якобинского толка, правда, были. Зайчневский—в Орле; бывшая цюрихская студентка Южакова—в Одессе, совершенно затушеванная, однако, окружавшей ее компанией южан (Ковальский и др.). Был, правда, и процесс якобинцев в Курске; судили Лаврениуса, Тимофеева Спицына и Лебедева. Но, кроме фамилий ни о них самих, ни о их деятельности никто ничего не знал и не слыхал. Ни один транспорт „Набата“ не проскальзывал благополучно в Россию. Я слышала от Поливанова, что в Петербурге никакой организации для приема и распространения у Турского

не было и он рассказывал, как однажды при нем, из боязни обыска, пришедшие немногочисленные номера „Набата“ были преданы сожжению.

И ни „Земля и Воля“, ни „Народная Воля“ с набатчиками эмигрантами не завязывали и не стремились завязать никаких сношений.

Но если среди основоположников „Народной Воли“ была якобинка Ашанина, то был среди нас один любимый товарищ, который заявлял, что он социал-демократ. Зунделевич бывший чайковец, а затем землеволец, бывал за границей, в Германии, и там не только познакомился с социал-демократической доктриной, но и воспринял ее, став социал-демократом в духе членов немецкой социал-демократической рабочей партии. Умный, живой, очень деятельный, первый добытчик всякого рода технических средств, необходимых для партии, Зунделевич, в силу условий русской жизни, не мог не видеть, что сплошь крестьянская Россия того времени не имеет элементов для создания рабочей пролетарской партии на подобие той, какая существует в промышленной Германии. Нельзя же было оставаться в стороне от движения, когда на лицо было зло самодержавия, и была группа, объявлявшая беспощадную войну этому врагу русского народа. Так, вопреки своему социал-демократизму в европейском духе, он стал в ряды „Народной Воли“, чтобы в *русских* условиях бороться рука-об-руку с теми, кого выдвинула *русская* жизнь, и *тем оружием*, которого требовали условия этой жизни.

По одним и тем же причинам Зунделевич и Ашанина вполне слились с остальными членами „Народной Воли“ и будучи очень активными членами ее, не вносили ни разногласия, ни какой-либо, им лично свойственной, тенденции в общее направление деятельности нашей партии.

То, что было общим, захватывающим всех без различия это—действенный дух, стремление к активной борьбе и чувство возмущения против пассивного состояния, в котором находился и народ, и общество, и до тех пор, на деле еще *мирные* социалисты.

4. В „народ“ нейдут.

В начале, когда организация „Народной Воли“ только еще слагалась и программа формулировалась для издания ее в свет, господствующим элементом во взглядах и настроении большинства из нас было народничество. Все мы так недавно жили среди крестьян, в деревне, и столько лет держались требования деятельности в этой среде! Отрешиться от прошлого было трудно и хотя не по своей доброй воле мы ушли в город, а были вынуждены к этому полицейским строем, парализовавшим наши усилия, в душе был тайный стыд, боязнь, что, отказываясь от традиций прошлого, изменяешь интересам народа, истинное освобождение которого находится в области экономической. Но, по мере того, как борьба разгоралась, время шло и одно грандиозное дело замышлялось и выполнялось нами, прежняя деятельность в народе в наших глазах тускнела, интерес к ней слабел, деревня отходила вдаль. Та часть программы „Народной Воли“, которая говорила о деятельности в деревне, постепенно приобретала чисто теоретический, словесный характер. И это обусловливалось чисто объективными обстоятельствами, а не нашим настроением: дело в том, что в период деятельности „Народной Воли“, приток свежих сил в глухую провинцию не существовал, и это произошло *раньше*, чем образовалась „Народная Воля“.

Когда Плеханов и Попов настаивали на сохранении старой программы и боролись против того, что они называли опасным увлечением, они обыкновенно упрекали товарищей в том, что боевые акты отвлекают молодежь от стремления жить и работать в деревне. Они не были правы, не террор отвлекал молодежь от деятельности в народе, а отсутствие результатов, как свидетельствовали те, кто этой деятельностью занимался: им нечем было похвалиться перед колеблющимися, нечем увлечь тех, кто хотел блага народа и ставил себе вопрос, как помочь ему, как и куда направить свою энергию, свои душевные силы? Все рассказы

лиц, живших в деревне, говорили одно: даже легальная культурная работа там невозможна; каждый деятель в деревне—в тисках урядника, волостного писаря, станового и исправника, и нет ему места в поле зрения этой вездесущей полиции. Понятно, что постоянное, вынужденное бегство каждого, кто хотел приблизиться к мужику, не могло поощрять попыток повторять такие опыты.

Я, жившая в провинции в 1877—1879 гг. и отлично знающая положение дел в Самарской, Саратовской, Тамбовской и Воронежской губерниях, могу удостоверить без всякой натяжки, что тяга к „хождению в народ", которая и в начале семидесятых годов была очень кратковременной и практически для отдельных лиц продолжалась недели, много-много месяц-два, к концу 1875 года остановилась и ограничивалась лишь повторением попыток со стороны тех, кто счастливо ускользнул от происшедших разгромов. На севере общество „Земля и Воля" дало новый толчок движению, а на юге вскоре была сделана чигиринская попытка Стефановича—„Земля и Воля" к остаткам старшего (на 2—3 года) поколения привлекла кое-кого из более молодого, но в сумме всех нас было мало. В Самарской губернии человек 8—10, в Саратовской вместе с теми, кто сносился с городскими рабочими, в самое горячее время насчитывалось человек 20—25. В Тамбовской и Воронежской губерниях в деревнях жили и старались устроиться только единицы. И если рассмотреть состав всех этих лиц, то можно увидеть, что новых людей почти не было, а были нелегальные из предшествующего периода.

Я прожила в Петровском уезде 10 месяцев, мои ближайшие товарищи в Вольском уезде немного более, и утверждаю, что к нам за все время не присоединился ни один человек, хотя устроиться на местах при уже заведенных связях было чрезвычайно легко. Можно было притти в отчаяние от революционного одиночества, в котором мы жили. Можно удивляться, как мы, живые, энергичные люди, так долго терпели это положение: только глубокая вера в народ, чаяние, что он и без усилий интеллигенции проснется поддерживали нас. „Земля и Воля" послала на Поволжье

только свой отряд, но влияния на стремление молодежи, в смысле „хождения в народ“, не создала. Лично я, живя в 1877 году в Петербурге, тщетно искала людей, которых можно было бы привлечь к деятельности в провинции.

Таким образом, Плеханов и Попов неправильно приписывали успехам террористических актов то состояние равнодушия к деятельности в деревне, которое все более и более распространялось среди учащихся высших учебных заведений—этих главных поставщиков революционных сил. Отвлечения не было, но увлечение в сторону активной борьбы было. Морозов, Осинский, Михайлов и Квятковский верно подметили, отчего сильнее забьются молодые сердца, в чем тот импульс, который расширит революционное движение и пробежит огоньком по всей России. Они создали пропаганду действием, сообщили импульс, указали конкретную цель и путь к достижению ее. Они одушевили примером, выводили из неподвижности и увлекали на бой, на подвиг смелый и отважный.

5. Исполнительный Комитет „Народной Воли“

Программа была прочтена, без лишних слов обсуждена и утверждена,—с ней покончили быстро, и мы перешли к плану организации партии и к уставу Исполнительного Комитета. Это название мы взяли у липецких товарищей, составлявших главное ядро нашей инициативной группы, которая должна была явиться самочинным центром—будущим руководителем и вершителем партии, замышляемой нами.

Сообразно требованиям напряженной борьбы с могущественным противником, план организации партии „Народной Воли“ был построен строго централистически и во всероссийском масштабе. Сеть тайных обществ—народовольческих групп,—из которых одни могли преследовать общереволюционные задачи в определенном районе, другие задаваться специальными целями, выбрав себе ту или иную отрасль революционной работы—должна была иметь один общий для всех центр—Исполнительный Комитет, чрез который устанавливалось общее единство и связь. Этому центру

местные группы обязывались подчиняться, по его требованию отдавать в его распоряжение свои силы и средства. Все *общепартийные* функции и *общероссийские* дела находились в ведении этого центра. В момент восстания он распоряжался всеми наличными силами партии, мог требовать революционного выступления их, а до того времени главное внимание направлял на организацию заговора, ту организационную работу, которая одна обезпечивала возможность переворота с целью передачи власти в руки народа. И силы партии были достаточно обращены в эту сторону; тем более странно было название террористической, которое она получила впоследствии; ее окрестили этим именем по одному, бросавшемуся в глаза, признаку — по внешнему направлению ее деятельности. Террор никогда сам по себе не был целью партии. Он был средством обороны, самозащиты, считался могучим орудием агитации и употреблялся лишь постольку, поскольку имелось в виду достижение целей организационных. Цареубийство входило в этот отдел, как частность. Осенью 1879 года оно было необходимостью, вопросом текущего дня, что и дало повод некоторым, в том числе Гольденбергу, потом изменившему нам принять цареубийство и террористическую деятельность за самый существенный пункт всей программы. Желание прекратить дальнейшее развитие реакции, мешающей организационной работе, и стремление, как можно скорее, перейти к ней, были единственной причиной, почему лишь только Исполнительный Комитет сформировался, как центр „Народной Воли“, он задумал одновременно предпринять в четырех местах покушение на жизнь Александра II. Однако, наряду с этим, члены комитета вели деятельную пропаганду как среди интеллигенции, так и среди рабочих. Желябов вел ее в Харькове, Колодкевич и я—в Одессе, Александр Михайлов—в Москве, а Квятковский, Корба и др.—в Петербурге. Деятельность пропагаторская и организационная всегда шла рядом с работой разрушительной, она была менее заметна, но тем не менее должна была принести свои плоды.

Сплачивая недовольные элементы в общий заговор против правительства, новая партия вполне понимала значение

поддержки, которую может оказать ей, в момент низвержения его, восстание крестьянских масс. Поэтому она отводила надлежащее место деятельности в народе и всегда рассматривала лиц, которые хотели бы отдаться ей, как своих естественных союзников; к сожалению, как было уже указано, таких лиц к моменту возникновения „Народной Воли“ и во весь период ее деятельности было до жалости мало. Не внося ничего существенно нового в самые приемы деятельности в деревне, она указывала деревенским сторонникам своим на необходимость разъяснять народу значение правительственной власти в сфере экономических отношений (систематическая поддержка, оказываемая дворянам-землевладельцам и промышленникам-капиталистам, таможенная политика и т. п.).

Устав Исполнительного Комитета, которым мы связывали себя, был написан еще теми, кто созывал липецкий съезд. Не помню, изменялось ли в нем что-нибудь и вносились ли к обязательствам добавления, которые каждый член комитета должен был взять на себя и свято исполнять. Эти требования устава состояли: 1) в обещании отдать все духовные силы свои на дело революции, забыть ради него все родственные узы и личные симпатии, любовь и дружбу; 2) если это нужно, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем и не щадя никого и ничего; 3) не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью организации, в которой состоишь членом; 4) отдавая всего себя тайному обществу, отказаться от индивидуальной воли, подчиняя ее воле большинства, выраженной в постановлениях этого общества; 5) сохранять полную тайну относительно всех дел, состава, планов и предположений организации; 6) ни в сношениях частного и общественного характера, ни в официальных актах и заявлениях не называть себя членами Исполнительного Комитета, а только агентами его; 7) в случае выхода из общества нерушимо хранить молчание о всем, что составляло деятельность его и протекало на глазах и при участии выходящего.

Эти требования были велики, но они были легки для того, кто был одушевлен революционным чувством, тем на-

пряженным чувством, которое не знает ни преград, ни препятствий и идет прямо, не озираясь ни назад, ни направо, ни налево. Если бы они, эти требования, были меньше, если бы они не затрагивали так глубоко личности человека, они оставляли бы неудовлетворенность, а теперь своею строгостью и высотой они приподнимали личность и уводили ее от всякой обыденности; человек живее чувствовал, что в нем живет и должен жить идеал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

1. Покушения.

Когда вся теоретическая и организационная работа была кончена, Комитет перешел к практическим делам и решил при возвращении царя из Крыма организовать в трех различных пунктах покушение на его жизнь. Несколько агентов получили назначение ехать тотчас же в Москву, Харьков и Одессу. Все покушения должны были произойти посредством взрыва динамитом. Комитет не предрешал, однако, в точности ни самых мест, ни способов выполнения покушений, предоставляя это на личное усмотрение агентов, но составленный план должен был итти на утверждение Комитета; помощников для выполнения агенты могли набирать сами из местных лиц. Состав исполнителей и способ совершения покушения в одном месте должны были оставаться неизвестными для агентов других пунктов. На-ряду со всем этим, Комитет в Петербурге приготовлял взрыв в Зимнем дворце, но это сохранялось в строжайшей тайне и находилось в ведении распорядительной комиссии (или администрации, как мы ее звали) из трех лиц, избираемых членами Комитета из своей среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были: Ал. Михайлов, Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала загадочную фразу: „В то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного, может покончить все“. Это был намек на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в Зимнем дворце ему случалось бывать наедине с государем, и удар молотка мог уничтожить его на месте.

Так как я не попала в число лиц, назначенных для

организации покушений, которые я одобряла, и так как для меня была невыносима мысль, что я буду нести только нравственную ответственность, но не участвовать материально в акте, за который закон угрожает товарищам самыми тяжкими карами, то я употребила все усилия, чтобы организация дала и мне какую-нибудь функцию при выполнении ее замыслов. После выговора, что я ищу личного удовлетворения, вместо того, чтобы предоставить организации располагать моими силами, как она сама найдет лучшим, была сделана уступка и меня послали с динамитом в Одессу. Чтобы не расстроить квартиру, необходимую для общественных целей, я, с согласия организации, просила поселить в этой квартире, вместо меня, мою сестру Евгению, которая незадолго перед тем приехала из Рязанской губернии, где она провела лето и проживала в Петербурге под фамилией Побережской. Не подозревая, что сестра по неопытности рекомендуется при знакомстве с разными лицами той фамилией, под которой живет, я предложила переселить ее к Квятковскому с тем же документом и, таким образом, была косвенной причиной ужасной участи Александра Васильевича. Курсистка Богуславская, на которую донес ея жених, указала, что номера „Народной Воли", найденные у нее при обыске, даны ей Побережской, и после справки в адресном столе, Евгения, а вместе с ней и Квятковский 24 ноября 1879 г. были арестованы и в 1880 г. он казнен, а она отправлена на поселение. На квартире были найдены динамит, запалы и бумажка, которую Квятковский, застигнутый врасплох, не успел сжечь: скомкав, он бросил ее в угол. Жандармы подобрали, но не могли понять ее значения: на бумажке был набросан план и в одном месте стоял крест. Бумажка стоила Квятковскому жизни. После взрыва 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце жандармы разобрали, что на ней был план дворца и крест поставлен на столовой, намеченной для взрыва, так как в ней собиралась вся царская семья.

Получив нужный запас динамита, я поехала с ним в Одессу, должно-быть, в первых числах сентября. Там я застала только Николая Ивановича Кибальчича, который заявил мне, что надо торопиться устройством общественной

квартиры, необходимой для совещаний, опытов с запалами и для хранения вещей, нужных для взрыва. Через несколько дней мы нашли подходящее помещение, где и поселились вдвоем, под именем Иваницких. Это было на Екатерининской улице, д. № 61, если не ошибаюсь. Вскоре приехали: Колодкевич и Фроленко, а позднее Лебедева; наша квартира была местом общих встреч и свиданий; на ней происходили все совещания, хранился динамит, сушился пироксилин, приготовлялись запалы, совершались пробы индукционных аппаратов,—словом, совершались все работы под руководством Кибальчича, но при помощи, и иногда очень существенной, со стороны других, включая и меня. На первых же порах надо было составить план, каким образом и где подвести мину под полотно железной дороги. Проектировали ночью, в промежуток между поездами, подложить динамит под рельсы непосредственно под Одессой, чтобы потом провести проволоку в поле; но это представляло много неудобств и трудностей, как в подготовительной работе, так и при самом действии. Думали, что самое лучшее было бы кому-нибудь из своих получить место железнодорожного сторожа и из будки провести мину; относительно момента действия нельзя было представить себе ничего более удобного и верного. Я предложила взять на себя добыть такое место. В случае удачи мы решили, что его займет Фроленко, а если ему нужно будет явиться семейным человеком, то роль его жены возьмет на себя Лебедева. Сначала я думала поместить Фроленко на железную дорогу при помощи знакомых; но сказать им настоящую цель было невозможно, да едва ли кто-нибудь из них и согласился бы на такого рода услугу; умолчать о цели —значило бы злоупотребить доверием в деле, грозящем серьезной ответственностью, да всякому должна была показаться необычайной и подозрительной моя просьба о месте железнодорожного сторожа. Поэтому я решилась в качестве неизвестной просительницы обратиться к какому-нибудь из влиятельных лиц, служащих в правлении Юго-Западной железной дороги и выставить филантропическую цель мотивом моей просьбы. По наведению справок о разных должностных лицах, я остановилась

на будущем зяте одесского генерал-губернатора графа Тотлебена, бароне Унгерн-Штенберге. В то время он содержался на гауптвахте за известную тилигульскую железнодорожную катастрофу, похоронившую несколько сот новобранцев. Узнав, что он принимает посетителей, я отправилась к нему. Когда я изложила барону свою просьбу дать место сторожа моему дворнику, жена которого страдает туберкулезом и нуждается в здоровой обстановке вне города, он сказал, что места сторожей зависят не от него, а от начальника дистанции, и он не может ничего сделать, так как ему неизвестно, есть ли теперь вакансии. Тогда я попросила записку—„два слова" к начальнику дистанции, говоря, что это вполне обезпечит участь моего клиента, и барон вручил мне несколько строк к Щигельскому. Заметив, что прием, оказанный мне Унгерн-Штенбергом, не походил на обычный прием светскими людьми „барынь-кукол", я поспешила исправить ошибку, сделанную мной в костюме, и явилась к начальнику дистанции в бархате, разодетая, как следует быть даме-просительнице. Меня встретили в высшей степени любезно и просили завтра же прислать „моего человека Придя домой и сбросив павлиньи перья, я написала Фроленко мещанский паспорт на имя Семена Александрова, как я назвала его будущему начальству. Этот документ так и остался в железнодорожной конторе, так как оставляя место, Фроленко не взял расчета. На другой день он отправился к начальнику дистанции и был определен на службу на 11 или 13-й версте от Одессы, близ Гнилякова, куда, по получении им отдельной будки, он перевез Татьяну Ивановну Лебедеву, как свою жену. После этого, когда к ним уже был перевезен динамит для закладки под рельсы, неожиданно приехал Гольденберг с требованием дать часть динамита в Москву, так как количество этого вещества там считается недостаточным, а Московско-Курская железная дорога имеет наибольшие шансы на проезд императора. Приходилось покориться. Гольденбергъ пробыл в Одессе не более двух дней, пока из Гнилякова не был привезен динамит. Адрес квартиры на Екатерининской он узнал, кажется, от Кибальчича, с которым встретился на пути в Одессу,

когда тот ехал по направлению к Харькову по приглашению тамошних агентов для каких-то технических приспособлений; впрочем, наверное не помню, знаю только, что на квартиру нашу его привел один из посетителей ее после того, как все меры были приняты, чтобы на следующий же день он мог выехать обратно в Москву Действительно, он во-время уехал, но в Елизаветграде был арестован. После этого мы узнали, что через Одессу государь не поедет; Фроленко и Лебедева уехали сначала из Гнилякова, а потом и из Одессы. Затем мы услышали, что царский поезд благополучно проследовал по Лозово-Севастопольской железной дороге через Харьков: покушение по этой дороге под Александровском, организованное Исполнительным Комитетом в лице Желябова, Якимовой и рабочего Окладского, не состоялось. Мина под железнодорожное полотно была заложена, провода от нее отведены далеко в поле и при проезде царского поезда действующие лица находились на местах, но взрыва не последовало, потому что электроды были соединены непраправильно и искры не дали.

В третьем месте,—по Московско-Курской железной дороге,—где приготовления были сделаны под Москвой из дома у вокзала, 19-го ноября в час, назначенный для проезда царя, один за другим шли два ярко освещенных поезда; по первому сигналу Софьи Львовны Перовской, бывшей хозяйкой дома, Степан Ширяев электродов не соединил и поезд прошел невредимо; по второму сигналу—второй поезд потерпел крушение, но царь ехал в первом, а во втором, как оказалось, находилась придворная прислуга. Это была неудача, но факт сам по себе произвел громадное впечатление в России и нашел отклик во всей Европе.

Осенью в Петербурге начались наши потери: погиб Квятковский, затем Ширяев и другие лица; потом после геройской вооруженной защиты пала в Саперном переулке типография „Народной Воли“, один из ее работников „Пташка“ застрелился или был убит, а четверо были схвачены.

В половине декабря из Одессы выехал Кибальчич; в

январе—Колодкевич; одновременно с ними разъехались и другие более влиятельные лица, и все дела были переданы мне и нескольким местным людям, малоизвестным в революционном мире.

Моим занятием была пропаганда. Просидев три месяца на квартире, требовавшей осторожности и не позволявшей частых сношений с внешним миром, с людьми посторонними, я жаждала знакомств, общества и живой деятельности. В то время я могла бы оказать значительные услуги организации, если бы мои проводники в различные сферы были людьми более способными или, лучше сказать, чуткими в выборе материала. Долго сдерживаемая энергия била во мне ключом, но то, что я получила в наследие, было вяло, трусливо и не смотрело с большой верой вперед; всех этих людей пришлось впоследствии откинуть, как неподходящих. Все же после отъезда Кибальчича я быстро завела обширный круг знакомств, в котором фигурировали представители всех классов общества, начиная от профессора и генерала, помещика и студента, врача и чиновника, до рабочего и швеи, и везде, где могла, проводила революционные идеи и защищала образ действия „Народной Воли". Но моей любимой сферой была молодежь, у которой так сильно чувство и так искренно увлечение; к сожалению, у меня было мало знакомых между студентами, а те, которые были, относились пессимистически к своей среде и решительно не верили в существование в ней революционных элементов.

2. Сашка инженер.

В Одессе, на Ямской улице, я жила под именем Антонины Александровны Головлевой, по документу, который я отделила у местного нотариуса от паспорта, которым пользовался знакомый мне еще с севера Ф. Н. Юрковский, проживший месяца полтора в Одессе.

Юрковский представлял собою яркую своеобразную личность, любопытную по тому отклонению, которое он представлял от обычного типа революционера того времени.

Я познакомилась с Юрковским осенью 1879 года в Пе-

тербурге, когда мы жили на даче в Лесном. Он приехал с юга, с одной стороны, упоенный артистическим подкопом под херсонское казначейство с его миллионом, а с другой— подавленный неудавшимся сохранением его для революции

Однажды в конке, когда я ехала в Лесное вместе с Квятковским, подсевшим в пути, он шепнул мне:

— Взгляните на человека против вас.

— Жулик? — спросила Александра, посмотрев на моего визави.

Я никогда не видала жуликов и воображала, что плутовство непременно написано у них на лбу, а у соседа, напротив, оно так и играло в огромных черных глазах.

Каково же было мое удивление, когда он вышел из вагона вместе с нами перед дачей, и Квятковский, улыбаясь, отрекомендовал его: „Сашка-инженер“, как газеты прозвали Юрковского за искусный подкоп в Херсони.

Предо мною был красавец-брюнет южного типа, среднего роста, широкоплечий силач, с правильным овалом и чертами породистого лица, обрамленного черной бородой. С небольшим улыбающимся ртом и черными необыкновенно большими глазами, смеющимися, плутовскими, мечущими искры,—на него нельзя было не обратить внимания.

Совершенно исключительной среди нас была и духовная физиономия его. Такой бесшабашной, веселой, необузданной, удалой головы ни раньше, ни позже я не встречала. Это было настоящее дикое дитя природы, не знающее и не желающее знать, что такое дисциплина, подчинение своей воли воле коллектива. И как был он степным конем, не знающим узды, так необузданным одиночкой и остался до конца, не войдя на севере в нашу организацию, несмотря на то, что тяготел к ней. По моральным качествам он так отличался от всех нас, что, познакомившись, я со смехом говорила ему: „Быть-может, одного „Сашку-инженера“ в партии иметь должно; двух—можно, но терпеть трех—невозможно“.

Человек с могучим физическим организмом, он не мог не иметь сильных страстей и любил все радости жизни, все лакомства ее. Для моих товарищей жизнь освящалась целью

которую они преследовали, а Юрковский казался воплощением принципа: „Жизнь для жизни нам дана“. С этой стороны он казался мне выродком среди остальных серьезных, аскетически настроенных, строгих товарищей-идеалистов. И все-таки я чувствовала некоторую слабость к нему, хотя из множества мелких черточек было ясно, что он человек „себе на уме“, что с ним надо держать ухо востро и беззаветно положиться на него нельзя. Мои товарищи были людьми правдивыми, искренними и прямодушными, но „Сашка-инженер“ был хитер, часто детски лукав, и я не поручилась бы за отсутствие двоедушия в его натуре.

Его отношение к нам, женщинам-революционеркам, было совсем иное, чем у других наших друзей: у них было простое товарищество, а Юрковский метал искры, ухаживал и угождал, старался исполнять прихоти, вызывал капризы, смех и шалости своими шутками и остротами.

С тем, что общепринято и с тем, что требовалось специальными условиями нашей революционной конспирации он не считался, и однажды со мной и Анной Павловной Корба устроил проделку, на которую не решился бы ни один из наших петербургских товарищей.

Одно время в Лесном я жила с Анной Павловной, занимавшей две комнаты с отдельным ходом. Раз ночью, когда мы уже засыпали, внизу, где была входная дверь, мы услышали осторожную возню с замком. Мы испугались: в доме, кроме нас двух, жили неизвестные молодые люди и мы подумали, не они ли ломятся к нам. Но когда из окна верхнего этажа мы спросили: „Кто там“? Голос внизу прошептал: „Сашка-инжер“... Отоприте“!

Калитка и ворота были заперты, на дворе была собака, которая, однако, не залаяла. Как мог Юрковский попасть во двор и решиться ломать замок нашей двери? Что случилось?

Оказалось, под Петербургом он на ходу соскочил с дачного поезда; железнодорожный жандарм заподозрил в нем вора и препроводил в участок для удостоверения личности. Полиция проверила прописку и отпустила его. Но Юрковский счел, что его квартира скомпрометирована и решил бросить ее, взяв „некоторые вещи“. Но он и не подумал про-

бродить всю ночь по улицам, как сделал бы всякий другой товарищ, а пришел к нам, перелез через забор, собаку, по его словам, „заговорил“, а замок стал ломать отмычкой, „которую всегда носил в кармане“...

„Некоторые вещи“, которые он взял с квартиры, были не белье или платье. Нет! Это была деревянная точеная чашечка, красная с черным и позолотой, и такой же боченочек кустарного производства. Он тотчас же подарил их нам и заявил, что кроме нас ему некуда было деться.

— Но куда же мы вас положим? — спрашивали мы. — У нас только две кровати.

— Много ли мне места нужно? Сам на лавку, хвостик под лавку,—отвечал веселый гость и расположился на полу, попросив плед.

На утро мы были смущены: убирать комнаты приходила жена дворника, она увидала бы „Сашку-инженера“, который провел у нас ночь.

— Вот гардероб,—сказал он,—заприте меня в него. Клянусь честью, не кашляну и не чихну пока идет уборка, — уверял он, опытный в приключениях этого рода, и спрятался за женское платье. Мы заперли шкап и он сидел смирно и был выпущен, когда самовар был поставлен на столе.

Приключение, смущавшее нас, казалось нам забавным, но строгий страж нашей безопасности, Александр Михайлов, которого мы звали „дворником“ за бдительный надзор над всеми нами, отнесся к делу совсем иначе, и так отчитал „Сашку-инженера“, что тот обиделся и после этого и слышать не хотел о том, чтобы „надеть ярмо“ организации с ее дисциплиной, конспиративными правилами и ограничениями.

К мало-мальски серьезным занятиям, к умственному труду или к чтению Юрковский был совсем не способен и не чувствовал потребности ни в чем подобном. От природы он был умен и не без способностей, но ему нужно было движение, шумиха, постоянное общение с людьми, разнообразие впечатлений, что-нибудь возбуждающее, стимулирующее.

Когда в Лесном мне надоело видеть его слоняющимся без дела, я сказала:

— Да займитесь, наконец, чем-нибудь! Ну, хоть книгу почитайте, что ли!

И дала ему „Отечественные Записки“ с рассказом Г. Успенского.

Через несколько дней Юрковский с виноватой миной подает книгу обратно.

— Извините, „Топни-ножка“, никак не могу читать... Смотрю в книгу, а в уме землю рою... — говорил он, думая о новом подкопе и новых миллионах для революции, которые кружили ему голову.

Юрковский кончил свою жизнь в Шлиссельбургской крепости.

Арестованный под именем Головлева совершенно случайно в Курской губернии при семейной катастрофе в доме одного помещика, в имение которого он приехал по делу, Юрковский был предан суду в декабре 1880 года в Киеве вместе с Поповым, Буцинским и другими и отправлен в Сибирь на каторгу в Карийские рудники: там сделал попытку к бегству, после чего его возвратили в Петербург и заключили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, а в 1884 г., вместе с народовольцами, перевезли в Шлиссельбург.

Здесь в 1896 году он умер от болезни, сломившей, наконец, его могучий организм.

3. Взрыв в Зимнем дворце.

В Петербурге, между тем, происходили события.

Как раньше было сказано, одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой, Комитет имел в виду еще одно начинание в самом Петербурге,—начинание, на которое мне намекал Александр Квятковский.

В то время народоволец, очень интеллигентный рабочий, Степан Халтурин, столяр по профессии, с благословения Комитета поступил в Зимний дворец для работ по своей спе-

циальности, но с целью совершить революционный акт против Александра II.

Ознакомившись с расположением комнат и обстановкой дворца, с нравами и обычаями служащих, Халтурин сошелся с низшим персоналом и, как искусный, трезвый мастер, в особенности расположил к себе жившего с ним в дворцовом подвале жандарма, который стал смотреть на него, как на желанного претендента на руку его дочери.

После такой подготовки Степан стал понемногу переносить в свой сундучек в подвале динамит, который получал от Комитета. Когда накопился порядочный запас и дальнейший перенос мог броситься в глаза и вызвать обыск, было решено действовать.

В день приезда в Петербург принца Баттенбергского, 5-го февраля 1880 года, Халтурин должен был произвести взрыв, который разрушил бы столовую и под развалинами похоронил царскую семью с ее гостем во время обеда, когда все будут в сборе.

Так он и сделал. В назначенный час он соединил Румфордов шнур определенной длины с запалом в динамите, зажег его и ушел, чтобы не возвращаться.

Страшный взрыв произошел в момент, когда царская семья входила в столовую. В этаже непосредственно над подвалом, где находился конвой Финляндского полка, 50 солдат были искалечены и убиты; количество динамита оказалось, однако, недостаточным, чтобы столовая в верхнем этаже обрушилась. Она уцелела. От сотрясения пол задрожал, скоробился, посуда на столе попадала и зазвенела.

Царская семья осталась невредима.

Вслед затем была объявлена диктатура графа Лорис-Меликова; его встретил выстрел Млодецкого, который через 3—4 дня умер на эшафоте с улыбкою героя. Все эти события, вместе с 19 ноября и настоящей осадой в Саперном переулке, наряду со слухами, явившимися после разоблачений Гольденберга о двух других подготовлявшихся покушениях, в высшей степени потрясли все общество. Страдающее, в известной части своей, от отсутствия политической свободы, давно недовольное реакцией, но пассивное и неспо-

собное к борьбе с правительством, это общество с удивлением и восторгом увидело в партии борца против деспотизма самодержавия. Смущенное ссылками многих своих членов, ошеломленное казнями, оно полагало, что вся энергия революционного движения исчерпана, и среди этой-то общей подавленности, безнадежности одно за другим прошли события, совершенно неслыханные. Взяв себе в помощники химию и электричество, революционер взорвал царский поезд и пробрался в царские чертоги. Чем больше были инертность и забитость общества, тем изумительнее казались ему энергия, изобретательность и решительность революционеров. В то время, как мы сами глубоко страдали от неудач, вокруг нас росла слава Комитета, эфект его действий ослеплял всех и кружил головы молодежи. Общий говор был, что теперь для Комитета нет ничего невозможного. За грандиозностью событий забывалась самая неудача. „Остановить на себе зрачек мира—разве не значит уже победить“—писал нам из-за границы глава „Черного Передела“, упоенный тем впечатлением, которое произвело 5-е февраля в Европе. Таким образом, в то время, как партия „Народной Воли“ желала лишь прекращения реакции, окружающее влекло ее на пьедестал.

Это отношение к Комитету и к партии все усиливалось и достигло своего апогея при 1-м марта, когда успех присоединился ко всем прочим действиям; общество ждало не того, что даст царская власть, а того, что сделает революционная сила. Я, конечно, должна оговориться, что подразумеваю во всем предыдущем ту часть общества, с которой мы, революционеры, входили в соприкосновение; но так как мы задавались целью, ставили единственной задачей и занятием своим проникновение во все слои, во все сферы, так как мы имели сообщников не только по губернским городам, но и по провинциальным закоулкам, и все эти сообщники имели друзей и близких, и были окружены целым слоем так называемых сочувствующих, за которыми обыкновенно следуют еще люди, любящие просто полиберальничать, то и выходило, в конце концов, что мы встречали повсюду одобрение и нигде не находили нравственного отпора и противо-

действия. С этой точки зрения мы имели право говорить от лица общества; мы составляли до известной степени передовой отряд части этого общества; быть может, эта часть казалась нам, вращавшимся в ней, больше, чем она была на самом деле, но зато она, наверное, была значительнее, чем думали люди противоположного нам лагеря. Зная, что эта группа сочувствует нам, мы не чувствовали себя сектой, изолированной от всех прочих элементов государства, и это немало способствовало той „закоренелости“, которую мы высказывали в своих поступках и о которой на процессах говорили прокуроры. Чтоб уничтожить ее, надо было уничтожить ту атмосферу недовольства, которою мы были окружены, единственным же средством для этого было—сделать недовольных довольными; но, в таком случае, и мы оказались бы в значительней мере удовлетворенными.

2 апреля, 19 ноября и 5 февраля создали такое настроение, что, если бы в то время Комитет и вся организация „Народной Воли“ отказались от своей разрушительной деятельности, то явились бы волонтеры или какая-нибудь новая организация, которые взяли бы на себя миссию цареубийства. Новые покушения были совершенно неизбежны, и Исполнительный Комитет предпринял их.

В марте или апреле 1880 года в Одессу приехали сначала Саблин, потом Перовская. Явившись ко мне на Ямскую улицу в дом Ставрова, где я жила, они заявили, что присланы Комитетом для приготовления в Одессе мины на случай проезда государя на лето в Крым.

Я была занята приготовлением террористического акта—убийства правителя канцелярии графа Тотлебена статс-секретаря Панютина. Он был правой рукой генерал-губернатора, который, кажется, всецело отдал в его распоряжение внутреннюю политику вверенного ему края; по крайней мере во все пребывание мое в Одессе говорили больше о Панютине, чем о Тотлебене, и Панютин был действительно грозой одесситов. Пройдя школу Муравьева-вешателя, он не церемонился с обывателями: одновременно с процессом 28-ми, кончившимся пятью виселицами, он предпринял коренное

очищение города; сравнивая городскую думу с Парижской Коммуной 1871 г., он выхватил несколько человек из ее служащих, затем пошли аресты учителей, литераторов, студентов, чиновников и рабочих; масса лиц была выслана и нигде, кажется, эти высылки не были так произвольны и возмутительны; кроме того, они совершались с лихорадочной поспешностью, даже без достаточного удостоверения в личности, по ошибке ссылались однофамильцы или родственники. В свое время в „Народной Воле" были опубликованы некоторые подвиги этого героя. Его обращение было грубое, родственникам ссыльных приходилось испытывать в его канцелярии унизительные сцены. Когда жена одного из арестованных, беременная, не могла удержаться от рыданий, он закричал ей: „убирайтесь! вы, пожалуй, вздумаете родить здесь!" Достаточно сказать, что при переводе летом 1880 г. Тотлебена в Вильно, граф, получивший, по слухам, в Петербурге, куда его вызывали перед тем, выговор за то, что в своей генерал-губернаторской деятельности он выказал себя plus royaliste que le roi, обратился на дебаркадере вокзала, в присутствии всей провожавшей его знати, к Панютину со словами упрека, что он злоупотреблял его доверием и поссорил его с обществом. По отъезде Тотлебена из Одессы большинство административно-сосланных было возвращено.

Против этого Панютина я и думала обратить оружие партии. Для этого сначала был поселен на Софийской улице, где помещалась канцелярия Панютина, человек, обязанный изучить его личность и образ жизни. Но это не привело ни к чему, потому что никто не мог тогда указать Панютина в лицо. Позднее, один молодой человек не только указал мне его, но рассказал его обычный маршрут, так что, выходя в определенный час, я имела возможность почти ежедневно встречать его тучную фигуру в сопровождении двух шпионов; одного, шедшего рядом, а другого, следовавшего за ними шагах в 4—5. Исполнитель для этого дела нашелся; он должен был поразить Панютина кинжалом в одну из его прогулок. Был уже составлен план относительно места и времени; чтоб дать возможность убийце скрыться, я думала приготовить лошадь.

Но приезд Перовской с поручением Комитета заставил· бросить этот проект.

Перовская сообщила мне, что привезла письмо от Желябова или Колодкевича к рабочему Василию, который может принять участие в предпринимаемом покушении, и что она желает видеть его. Этот Василий был Меркулов, выдавший потом в Одессе всех известных ему рабочих и члена группы—Сведенцева, на суде по процессу 20-ти обличавший своих бывших товарищей и, наконец, 10 февраля 1883 г. поймавший меня на улице в Харькове, куда этот предатель, будто бы сосланный на 20 лет каторжных работ, был отправлен специально для ловли меня. Я познакомилась с этим негодяем до приезда Перовской, когда вздумала учиться у него искусству резьбы на камне. Так как я слышала о нем еще осенью от Колодкевича, как о парне в высшей степени честном и хорошем, и знала, что он помогал кое-чем в приготовлениях в Гнилякове, то не задумалась сообщить ему адрес моей квартиры на Ямской, куда он должен был приходить учить меня резьбе. Свести Перовскую с ним ничего не стоило, и через несколько дней они свиделись.

Саблин и Перовская явились уже с готовым планом относительно покушения: они должны были выбрать улицу которая имела наибольше шансов на проезд государя от вокзала к пароходной пристани; на этой улице они должны были, в качестве мужа и жены, снять лавочку и завести торговлю; из лавочки предполагалось провести мину под мостовую улицы. Словом, это был проект, осуществленный потом на Малой Садовой в Петербурге. Технической стороной должен был руководить Григорий Исаев, вскоре приехавший вместе с Якимовой.

Перовская не привезла с собой денег: она должна была, вместе со всеми нами, составить смету расходов и представить ее в Комитет, который выслал бы требуемую сумму. Мы расчитали, что потребуется не менее 1000 рублей. Я предложила известить Комитет, что деньги не нужны, так как я берусь доставить средства, требуемые для выполнения покушения. Действительно я передала Перовской в разное время около 900 руб., которые пошли на плату за помеще,

ние, покупку бакалейного товара, бурава, на содержание всех участников и последующий разъезд их.

Лавка была нанята на Итальянской улице и тотчас было приступлено к работе: надо было спешить—государя ждали в мае, а наши приготовления происходили в апреле; между тем работать было можно только ночью, так как проведение мины начато было не из жилых комнат, а из самой лавочки, куда приходили покупатели. Мы предполагали провести ее не посредством подкопа, а при помощи бурава; работа им оказалась очень трудной, почва состояла из глины, которая забивала бурав; он двигался при громадных физических усилиях и с поразительной медленностью. В конце концов, мы очутились под камнями мостовой, бурав пошел кверху и вышел на свет Божий. Вскоре при неосторожном обращении с гремучей ртутью Григорию Исаеву оторвало три пальца. Он перенес это, как стоик, но мы были в высшей степени огорчены: он должен был лечь в больницу. После этого все вещи (динамит, гремучая ртуть, проволока и пр.), хранившиеся у него, были перенесены ко мне, так как мы боялись, что грохот взрыва в его квартире мог обратить на себя внимание всего дома. Одним работником сделалось меньше. Я предлагала привлечь некоторых местных людей, мне известных, но все оказались против этого. Было решено, бросив бурав, провести подкоп в несколько аршин длины, и уже с конца его действовать буравом; землю должны были складывать в одну из жилых комнат. По окончании работы мы решили непременно всю ее вынести вон, на случай осмотра домов на пути следования царя. Поэтому уже заранее начали уносить ее, кто сколько мог, и выбрасывать. У себя в квартире я нашла место, куда можно сложить массу этой земли; ее привозили и приносили ко мне в корзинах, пакетах, узлах, которые я опорожняла, пользуясь отсутствием домашних и отсылая прислугу с поручением. Между тем, слухи о поездке царя в Ливадию замолкли; потом мы получили от Комитета уведомление—прекратить приготовления. Тогда мы предложили ему воспользоватяся нашей работой, чтоб взорвать графа Тотлебена. Но это было отвергнуто, так как способ этот берегли специально для императора, а мы получили

разрешение на покушение против графа каким-нибудь другим способом.

После этого Саблин, я и несколько лиц, мной привлеченных, стали следить за генерал-губернатором. Мы думали применить метательный снаряд, и если бы тогда существовало позднейшее изобретение Исаева и Кибальчича, то, конечно, граф не остался бы тогда в живых, но мы имели лишь динамит и неусовершенствованные запалы; поэтому снаряд был неудобен по объему и мог быть неверен по действию. Все-таки мы выполнили бы свои замыслы, еслиб Тотлебен не был переведен из Одессы. Мы хотели смыть кровь: Чубарова, Давиденко, Логовенко, Виттенберга, Майданского, Дробязгина, Малинки и Лизогуба, из которых два последние были убиты им за свое богатство, а Майданский и Дробязгин взошли на эшафот по подозрению в знании и недонесении о покушении на шпиона Гориновича. Имена Тотлебена и Черткова были вообще ненавистны за кровожадность и мы имели в виду систематическим истреблением генерал-губернаторов добиться уничтожения самого учреждения, представителями которых они были.

После отъезда Тотлебена, все приготовления пришлось ликвидировать. Лавка на Итальянской была закрыта; подкоп в ней еще ранее заполнен землей, раньше вынутой из него. В этой нетрудной работе помогала и я, таская ночью мешки с землей из жилой комнаты и опуская их в подвал, где мужчины утаптывали рыхлую землю. Когда все было приведено в надлежащий порядок, Саблин и Перовская уехали, за ними последовали Исаев и Якимова. Я передала с ними в Комитет заявление, прося отозвать меня из Одессы и назначить лицо, которому я могла бы передать местные дела и связи. Я мотивировала свое желание тем, что почти год нахожусь в провинции, вдали от центра организации, и чувствую себя до некоторой степени отчужденной от общей работы; что мне необходимо побывать в Петербурге для отчета о сделанном мною за этот период времени и для того, чтобы посоветоваться о дальнейшем ведении дел.

Должно быть в июле я выехала из Одессы в Петер-

бург, не дождавшись преемника, которым был назначен Тригони.

Одновременно со мной, по приглашению из Петербурга, выехал Василий Меркулов. Неприятно вспомнить, что этот предатель, повидимому, относился тогда ко мне довольно дружелюбно, потому что по приезде в столицу несколько раз назначал мне свидание через лиц, которые имели с ним деловые сношения. Я выходила к нему в сад, так как в то время была еще теплая погода.

Он был вспыльчив и вечно недоволен; постоянно бранил интеллигенцию и хвалил рабочих и трудовую жизнь. Мы охотно прощали ему некоторое озлобление, считая его вполне естественным в пролетарии, прожившем жизнь в нужде и ненавидящем все барское. Единственным недостатком его мы считали самолюбие, которое старались щадить. В последний раз я виделась с ним не позже августа 1880 года. С тех пор ни личных, ни деловых сношений с ним не имела и не встречалась до 10 февраля 1883 г., когда вместе с Дегаевым он предал меня в Харькове.

4. Арест Михайлова.

Петербург встретил меня выговором за самовольный отъезд, вследствие которого я не могла лично ввести Тригони во все знакомства. Я понимала, что ему было бы легче ориентироваться в Одессе в моем присутствии, но оправдывалась беспокойством, которое мне внушало долгое отсутствие писем и каких-либо известий из Петербурга. Это, кажется, извинило меня в глазах организации. Когда я представила подробный отчет о положении дел в Одессе, то сообщила Тригони все нужные сведения и указания; дала рекомендательные письма, которые должны были сразу поставить его в известные отношения к окружающим и после этого Тригони отправился на юг, а меня Комитет оставил в Петербурге.

Там в это время на Гороховой улице, под Каменным мостом, шли новые приготовления к покушению на жизнь Александра II. Подробности тогда мне не были известны.

Подобно взрыву в Зимнем дворце, это дело хранилось в строгой тайне и было в ведении нашей „Распорядительной Комиссии". Я знала одно, что подготовляется взрыв при проезде царя, и на этот раз из-под-воды.

Так как я знала, что в известные часы царь проезжает к царскосельскому вокзалу, то однажды пошла по этому пути и действительно встретила коляску с императором. Мне хотелось хоть раз в жизни увидеть человека, который имел такое роковое значение для нашей партии. Ни раньше, ни после этого я не видала его. Кажется, это был последний проезд его по этому пути, так как вслед затем он отправился в Крым и не возвращался в Петербург до глубокой осени. Покушение не состоялось.

В октябре был арестован Александр Михайлов, этот неоцененный страж всей нашей организации, тип хозяина-устроителя, от бдительности которого не ускользала ни одна мелочь, касающаяся нашей безопасности.

Расдосадованный отказом одного юноши, он сам пошел в фотографию Александровского на Невском, в которой снимали арестуемых, и спросил карточки, заказанные там. Это были фотографии уже осужденных товарищей. В фотографии произошло замешательство: во время этой заминки один из служащих сделал жест по своей шее, указывая Михайлову на опасность, но когда Михайлов поспешил спуститься по лестнице, давно поджидавшие шпионы схватили его.

Для нас А. Михайлов был незаменимым товарищем. Он был, можно сказать, всевидящим оком организации и блюстителем дисциплины, столь необходимой в революционном деле; в его лице мы потерпели тяжелую и прямо невозместимую утрату: многих несчастий мы не испытали бы впоследствии, если бы он был среди нас. Вместе с фанатической преданностью революции, он соединял энергию, настойчивость, замечательную деловитость, практичность и такую осторожность, что самые трусливые люди при ведении дел с ним, считали себя в безопасности. Талантливый организатор, проницательный в распознании людей, он был педантичен, последователен и неумолим в проведении организа-

ционных принципов. Требовательный к выполнению каждым своих обязанностей, ставивший деловые интересы выше всего, он хотел, чтобы деятель-революционер забыл все человеческие слабости, расстался со всеми личными наклонностями. „Если бы организация",—сказал он мне при одном разговоре на эту тему,—„приказала мне мыть чашки, я принялся бы за эту работу с таким же рвением, как за самый интересный умственный труд". Сообразно этому, он строго преследовал взгляд на некоторые обязанности, как на малопроизводительные, низшие: по его мнению, все, что для „организации" было нужно—было достаточно высоко, чтоб с радостью взяться за дело. Такой законченный и цельный тип не мог не пользоваться громадным влиянием, как на самую организацию, так и на лиц, стоявших вне ее, и его авторитет был так же велик между товарищами, как и среди посторонних. Узкие рамки русской жизни не дали ему возможности развернуть свои силы в широком масштабе и сыграть крупную роль в истории, но в революционной Франции XVIII века он был бы Робеспьером.

Для нас, как организации, он имел еще значение одного из старейших (по участию) членов революционной партии, связывающих живой личной нитью настоящее с прошлым. Его связь с партией началась еще до 1876 года; с этого времени он становится членом общества „Земля и Воля", переживает все перипетии революционного движения и проходит всю эволюцию его вплоть до конца 1880 года.

Таким образом, он являлся хранителем революционной традиции и был связан интимными узами со всеми выдающимися личностями, погибшими за эти четыре года. Его гибель была ударом, который мы вспоминали при всех несчастиях, поражавших нас впоследствии.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

1. Военная организация. Суханов.

Осень 1880 и начало 1881 года были временем усиленной пропаганды и организационной работы партии „Народной Воли“. К этому времени относится заведение обширной связи с провинцией, организация местных групп, подробная выработка плана действий по отдельным местностям; агенты Комитета занимались разъездами по определенным районам, или были командированы для постоянного пребывания в главнейших пунктах империи. Все предыдущие события подготовили уже достаточную почву: „Черный Передел“, как организация, можно сказать, исчез, его предводители скрылись за границу; обширная группа Михаила Родионовича Попова в Киеве погибла от предательства Забрамского, пробравшегося в ее среду. Усиленное распространение органа „Народной Воли“, устная пропаганда программы Комитета, а главное, громкие эпизоды борьбы, говорившие сами за себя, привлекли общие симпатии к „Народной Воли“. Отовсюду к Комитету являлись делегаты для заведения сношений с ним, с предложением услуг для выполнения новых планов, с просьбами прислать агентов для организации местных сил. Таким благоприятным настроением Комитет, конечно, не замедлил воспользоваться; он пожинал плоды своих трудов и своих жертв. В ясно выраженном стремлении кружков и отдельных лиц к объединению, в домогательствах их примкнуть к партии и в постоянных заявлениях готовности принять участие в активной борьбе с правительством сказалось то громадное возбуждение умов, которое явилось следствием деятельности Исполнительного Комитета „На-

родной Воли". Смелость заразительна, как и панический страх; энергия и отвага организации увлекали за собою живые элементы, и самая смерть не была страшна.

В самом Петербурге пропаганда, агитация и организация велись в самых широких размерах; отсутствие полицейских придирок и жандармских облав за этот период диктатуры Лорис-Меликова очень благоприятствовало работе среди учащейся молодежи и рабочих. Это было время общего оживления и надежд. Все следы подавленности, явившейся после неудач первой половины 70-х гг. и последовавшей за ними реакции, исчезли, как будто все десять лет 1870—1880 гг не были хроническим кровопусканием всего, что протестовало в России. Требование цареубийства раздавалось громко, потому что политика графа Лорис-Меликова не обманула никого; она ничуть не изменяла сущности отношений правительства к обществу, народу и партии; граф изменил лишь грубые и резкие формы на более мягкие, но одной рукой отнимал то, что давал другой. Предприняв, например, столь прославленное возвращение административно-ссыльных, он сам, в то же время, широко пользовался этой мерой по отношению к Петербургу; по его инструкции 15 декабря 1880 года в Сибири была изменена к худшему участь карийцев; эта инструкция лишила их, между прочим, такого дорогого права, как право переписываться с родными. Непосредственно писать родным было запрещено, но завели комедию: тот, кто выходил в вольную команду при тюрьме, мог писать родственникам каторжан, извещать их о здоровье, нуждах заключенных и т. п. и эти письма официальным порядком, чрез канцелярию, отправлялись по назначению. Но каторжане, конечно, находили, помимо того, способы переписываться с родными тайно. Одно из подобных писем Т. И. Лебедевой я передала в петербургский Музей Революции. Оно написано на белой коленкоровой подкладке женского лифчика и в этом лифчике вынесено „на волю".

Общественное мнение в революционном мире требовало продолжения террора и казни, как самого царя, так и его лицемерно-либерального приближенного, и в то время, как большинство агентов Комитета было занято пропагандой

и организацией, его техники работали над усовершенствованием метательных снарядов, которые должны были играть вспомогательную роль при взрывах мин, до сих пор обнаруживавших недостаточную силу.

К этому блестящему периоду деятельности Исполнительного Комитета относится основание им военной организации партии „Народной Воли“.

Сознание, что в армии необходимо приобретать сторонников не в виде случайного привлечения отдельных лиц, поглощаемых революционной средой, но в видах систематического накопления в самом войске революционных элементов для вооруженной борьбы с самодержавием—такое сознание совершенно отсутствовало в эпоху 70-х годов. Только „Народная Воля“ сделала работу среди военных очередной задачей революционной партии. Военные были и в процессе 193-х, и в деле 50-ти, но они являлись обыкновенными пропагандистами, покидали свою среду, „шли в народ“—к крестьянам и городским рабочим [1]). „Народная Воля“, выдвинувшая на первый план политическую борьбу, свержение самодержавного правительства и завоевание свобод вооруженной рукой, не могла не понимать, что без организованной силы армии нельзя расчитывать на победу необученных военному делу народных масс. Поэтому, после разделения Общества „Земля и Воля“, когда кончилась сначала организационная работа, необходимая для конституирования новой партии, а потом все приготовления к покушениям на царя в Москве, Одессе и под Александровском, агенты Исполнительного Комитета стали искать связей в военной среде с целью подготовить кадры будущей военной организации для активной поддержки народного восстания, когда оно произойдет организованно или стихийно. Какого рода будет эта организация и ее отношение к Исполнительному Комитету—тогда еще не намечалось. Это было бы праздным делом, пока не имелось определенного материала для практического применения плана. Была важна самая постановка вопроса,

---

[1]) Вспомним: П. А. Кропоткина, Л. Э. Шишко, С. Кравчинского, А. Лукашевича и др.

что революционная партия, стремящаяся в первую очередь к насильственному ниспровержению самодержавия, должна искать опоры в войске, иметь в нем союзника, который в иных случаях пассивно, в других активно, оказал бы поддержку ей в момент, когда это будет нужно.

В общих чертах эта постановка была сделана в „Объяснительной записке“ о подготовительной работе партии, составленной зимой 1879—1880 г.г. Комитетом. В этой записке, среди других отделов, был отдел, говоривший о деятельности в войске, хотя далеко не в тех очертаниях, какие определились осенью 1880 года.

В ту же зиму 1879—1880 г.г. было положено начало сношениям Комитета с морскими офицерами Кронштадта, через посредство лейтенанта Суханова, и с артиллеристами Петербурга, главным образом, через С. Дегаева. Раньше он служил в крепостной артиллерии в Кронштадте, некоторое время был в артиллерийской академии, но был исключен за неблагонадежность.

Почва для этих сношений была подготовлена еще в предшествовавшие годы, частью кружками самообразования, как это было в морском училище в 1871—1872 г.г., когда в таком кружке участвовали Суханов, Серебряков, Луцкий и др., которых потом в шутку называли „китоловами“. Это название вело свое происхождение от объяснения, которое давали участники кружка своему начальству, открывшему, благодаря доносу, существование „тайного общества“ в стенах училища. Члены кружка указывали, что они имели в виду развитие промыслов северной России,—мысль которую дало сочинение Максимова об этих промыслах. По одной версии, это объяснение было придумано для начальства, которое само было радо придать делу невинный характер; по другому рассказу, слышанному мной, юноши действительно предполагали заняться ловлей китов для добывания материальных средств на дело революции.

Но и сама жизнь не могла не захватывать своим влиянием хотя бы части военного сословия: существовала легальная литература народолюбческого направления; прошла полоса движения молодежи в народ; происходили политические

процессы семидесятых годов; шли аресты по всем городам России, и еще до появления „Народной Воли“, начиная с выстрела Веры Засулич в 1878 году, целый ряд террористических актов волновал общественное мнение России (убийство Мезенцева; покушение на Дрентельна в Петербурге, убийство Гейкинга в Киеве, губернатора Крапоткина в Харькове, покушение Соловьева на жизнь Александра II). Было бы неестественно, если бы в армии и во флоте за все это время все поголовно оставались глухи к тому, что происходило вне военной среды. И действительно, мы видим, что в 1878 году самостоятельно образовавшийся кружок из морских офицеров и гардемаринов (А. Буланов, Вырубов, Лавров и другие) ведет пропаганду среди нижних чинов в Кронштадте. Русско-турецкая война, освобождение Болгарии и введение конституции в этой стране тоже сделали свое дело. Война выявила во всей наготе безобразие русских порядков; бессовестное хищение и казнокрадство, отсутствие какого бы то ни было попечения о солдате, оборванном, голодающем, лишенном медицинской помощи и т. д. Офицерство не могло не задумываться над причинами всех этих злоупотреблений и не искать средств для искоренения их. Болгарию освобождали от турецкого ига, вводили в ней конституцию, а Россию оставляли в политическом рабстве, при прежнем самодержавии. „Мы думали, — говорил на суде (в 1884 г.) участник осады Плевны Похитонов.—что вместо того, чтобы освобождать чужую страну, надо думать об освобождении России“.

Высшие военные заведения — академии, как дающие лучшее образование, не могли, в свою очередь, не выделять некоторого количества офицеров, одушевленных общественными стремлениями, потребностью в свободе и, действительно, они дали их в лице Рогачева, Похитонова, Буцевича и др.

Сношения членов Исполнительного Комитета с Кронштадтом начались поздней осенью 1879 г. и продолжались до весны 1880 года, когда моряки ушли в плавание. Первое знакомство с Сухановым произошло через его сестру Ольгу Евгеньевну, по мужу Зотову. Как ее, так и ее мужа, Желя-

бов знал по Крыму, а потом в Петербурге, где Ольга Евгеньевна была на курсах; он посещал ее, как и Перовская, тоже знакомая с Зотовым.

В воспоминаниях Э. А. Серебрякова („Былое“, 1907 г., апрель) очень ярко описано впечатление, которое произвел Желябов на первой сходке, созванной на квартире Суханова в Кронштадте. Здесь в первый раз морские офицеры сошлись лицом к лицу с талантливым представителем революционной партии, о которой до тех пор знали лишь по наслышке. Определенность программы „Народной Воли“, красноречие и сила внутреннего убеждения оратора, импозантная наружность его очаровали слушателей, которые, по словам Серебрякова, на этот вечер превратились в горячих революционеров, хотя за час до этого, частью почти не думали о политике, а на утро, быть-может, с ужасом вспоминали о том, что происходило накануне. Впечатление для многих было скоротечно. Это зависело от того, что приглашение на первую сходку было сделано без особого разбора, но для другой части присутствовавших, как и для самого Серебрякова, оно осталось неизгладимым.

Последующие собрания, в которых, кроме Желябова, участвовал Колодкевич, были не так многолюдны, но они углубляли влияние революционных идей „Народной Воли“ и теснее сплачивали тех, кто должен был войти в состав военной организации.

Суханов с самого начала, в общем, сочувствовал программе Исполнительного Комитета, как ее развивал Желябов на собраниях, но был в то время еще не готов к тому, чтобы вступить в партию: он долго был противником политического террора, да и план военной организации не был тогда еще выработан Комитетом. Это было сделано только через год, осенью 1880 г., когда мы ближе сошлись с Сухановым и его товарищами и убедились, что вопрос о военной организации может перейти на практическую почву.

В сентябре 1880 г. познакомилась и я с Ольгой Евгеньевной, милой и доброй женщиной, обожавшей брата до полного подчинения его авторитету; Николая Евгеньевича еще не было в Петербурге: он не вернулся из плавания, но

сестра, не переставая, говорила о брате, очевидно, желая заочно сделать нас друзьями. И в самом деле, от Желябова, Перовской и Зотовой я наслушалась таких похвал ему, что с нетерпением ждала его возвращения. А когда он вернулся и я провела с ним первый вечер, то была очарована: такое естественное благородство и прямота были во всех его суждениях и взглядах. Такое же впечатление, единственное в своем роде, вынесла от знакомства с Сухановым и Мария Николаевна Ашанина, встретившаяся с ним впервые в январе 1881 года, когда из Москвы Комитет вызвал ее на совещание. В самом деле, Суханов был человек, которого невозможно было не полюбить. Он принадлежал к числу тех, которых чем больше узнаешь, тем больше любишь. Глубоко честный и бескорыстный, совершенно лишенный честолюбия, он был правдив и прямодушен до такой степени, что приходилось удивляться, как такая личность, чистая, как прозрачный хрусталь, могла сложиться среди окружающей лжи, обмана и лицемерия. Чувствительный и нежный в личных и семейных отношениях, он вносил энергию и страстность в дело общественное. Не растратив душевных сил в погоне за карьерой и личным счастьем, он в 30 лет отдался политической деятельности со всем пылом и увлечением юноши.

После первой памятной встречи мы стали видаться часто и темой разговоров, разумеется, были общественные и революционные вопросы, те партийные интересы, которыми мы, народовольцы, только и жили. Хотелось эти вопросы и интересы сделать для Суханова такими же близкими и жгучими, какими они были для нас. Иметь такого товарища, стоять в общем деле рука в руку с ним, казалось счастьем.— его стоило завоевать. Желябов, Перовская и я стремились к этому и проводили много часов в убогой квартире Ольги Евгеньевны, куда Суханов приходил со своим товарищем и другом бароном Штромбергом. Штромберг был уже завоеван и определил свое отношение к партии раньше, чем Суханов. Желябов, знавший их по прошлогодним беседам в Кронштадте, с самого начала сказал мне: „Штромберг—человек готовый, внимание обрати на Суханова“. Действительно, Суханов того времени был еще далеко не тем, каким

наши другие товарищи увидали его в феврале и марте 1881 года. Но было уже видно, что не достает только искры, чтобы он вспыхнул, и в начале 1881 года можно было уже сказать, что Суханов умрет на эшафоте, что он создаст себе эшафот даже среди условий, когда правительство предпочло бы отсутствие громогласных казней. А когда погиб горячо любимый им Желябов, железная рука которого могла бы сдерживать его в должных пределах, — возбужденное состояние его в ту тревожную для Комитета весну перешло все границы: после 1-го марта он стал действовать с лихорадочной поспешностью и величайшей неосторожностью. Он работал за десятерых, желая извлечь из энтузиазма молодежи и настроения общества наибольшую пользу для партии. Напрасно старались мы сдерживать его порывы—наши усилия были тщетны. Сколько раз я говорила ему, что его жара не хватит на долгое время и что наша деятельность измеряется не месяцами, а годами. „Нет, нет,—возражал он,—год—два поработать изо всех сил, а потом—конец!“ При экзальтации, которую он выказывал, мудрено было проработать и столько.

К нелегальной жизни, при одной мысли о ней, он чувствовал отвращение и никогда не был бы в состоянии переносить ее замкнутость, постоянную ложь и настороженность: ему нужна была ширь, нужен открытый простор. Когда подготовлялся подкоп на Садовой и Суханову, наравне с другими товарищами, приходилось работать в нем, копаясь в темноте подземелья, он откровенно признавался мне, что это противно его привычке действовать открыто и прямо. „Вдруг найдут меня под землей, роющимся, как крот“!—говорил он, и содрогался.

Кроме того, он не был обстрелян, подобно нам; его нервы не притупились от несчастий и потерь; гибель товарищей, которых он любил и бесконечно уважал, причиняла ему боль, нестерпимую и совершенно для него новую. При условиях нашей революционной жизни он не мог долго прожить, —сильно натянутая струна должна была лопнуть. Известно, что он мог избежать своей участи: его предупреждали об опасности; он сам, наконец, во-время видел ее, но все же не хотел скрыться, как ему советовали, как его уго-

варивали, и хладнокровно ждал ареста, который означал гибель, потому что, помимо подавляющих улик, дальнейший образ действий его был определен, обдуман и решен. Так погиб этот человек, душевные качества которого так высоки, что можно сказать: счастлива та партия, к которой пристают Сухановы!

На первых порах знакомства наши беседы были чисто теоретические. Главным препятствием, по которому Суханов не примкнул сразу к партии, был, как уже сказано, политический террор, но когда нам удалось убедить его в необходимости боевых актов против насилия и произвола, которые со всех сторон опутывают Россию, он признал всю программу „Народной Воли", ее *тактику*, и разговор пошел о роли, которую военные могут сыграть в революции, о том, что, кроме гражданской, необходима и чисто военная организация.

К этому времени в Исполнительном Комитете были выработаны и на заседаниях утверждены принципы, на которых военная организация должна была строиться. Приготовленная программа и устав организации могли после этого стать предметом обсуждения с Сухановым, Штромбергом и другими представителями офицерства.

В главных чертах основы организации были следующие: военная организация должна строиться сверху, по тому же типу, по какому строилась партия „Народной Воли", т.-е. централистически и в организационном отношении стоять совершенно обособленно от нее. Во главе организации должен был стоять центральный комитет из офицеров, *подобранных* Исполнительным Комитетом „Народной Воли". Этому центру подчинялись местные провинциальные военные группы, организованные военным центром или партией, а *сам военный центр подчинялся Исполнительному Комитету.*

Цель военной организации—восстание с оружием в руках в момент, определяемый Исполнительным Комитетом, который распоряжается всеми силами, накопленными в подготовительный период не только в войске, но и среди рабочих, администрации, интеллигенции и в крестьянстве. Таким образом, роль военной организации не самодовлеющая, а зависимая от общепартийного центра, обладающего всей пол-

нотой сведений об общем положении дел и настроении общественных слоев и классов.

Не часть партии, какой является военная организация, но лишь орган, стоящий во главе своей партии—Исполнительный Комитет, решает момент активного выступления против существующего порядка. Дело военных—*поддержать начавшееся* движение и бросить в нужную минуту свою дисциплинированную мощь на чашку весов в пользу народа, или *начать движение*, но не по своему произволению, а по распоряжению Исполнительного Комитета, этого общепартийного центра.

Каждый военный, всупающий в члены организаций, должен был дать то или другое обязательство, смотря по степени революционности той группы, в которую он входит; при чем самым серьезным являлось обязательство по первому требованию, переданному от Исполнительного Комитета через военный центр, выйти на улицу с оружием в руках и призвать к тому же подчиненные части. Однако, революционная пропаганда в этих частях не лежала на обязанности офицеров, которые до времени активного действия не должны были компрометировать себя. Для этого, по требованию офицеров, партия направляла рабочих, офицеры же только намечали при этом солдат, наиболее подходящих для революционного воздействия.

Время от времени члены офицерских групп должны были брать отпуск со специальной целью об'езда тех местностей, в которых имелись связи среди военных. Пользуясь указаниями партии и рекомендациями членов военной организации, они должны были завязывать знакомства, организовать лиц, подходящих для этого, и устанавливать сношения вновь привлеченных офицеров с военным центром.

Местные партийные группы „Народной Воли“ всемерно обязывались способствовать созданию местных военных кружков, но раз подобный кружок организовался, он обособлялся от общепартийной группы и, не втягиваясь в местную общепартийную работу, должен был действовать уже в контакте и согласованности со своим венным центром, не входя в сношения даже с военными группами других местностей.

В целом партия состояла бы, таким образом, из двух параллельных организации: гражданской и военной, которые были связаны между собой только центрами. Такая раздельность являлась предосторожностью, наиболее гарантирующей безопасность военных; иначе они подвергались бы всем разрушительным случайностям, от которых страдали местные общепартийные группы; но восстановить последние было гораздо легче, чем скомпрометированный военный кружок заменить новым.

Для связи между обоими центрами Исполнительный Комитет выбирал из своей среды двух представителей, которые входили в состав военного центрального комитета. Позднее, мы нашли нужным, чтоб и из военного центра по нашему выбору кто-нибудь входил в наш Комитет. С начала января 1881 г. таким лицом являлся Суханов, самая яркая личность среди военных, известных нам в то время.

В конце октября или в начале ноября 1880 г. Суханов, живший раньше в Кронштадте, перебрался в Петербург, чтобы слушать лекции в университете и быть ассистентом профессора физики Виндерфлита. Он нанял меблированную квартиру на Николаевской улице, куда переселилась и Ольга Евгеньевна с маленьким сыном Андрюшей, и с тех пор местом встреч и собраний, на которых обсуждались вопросы военной организации, стала эта квартира. В предварительных собраниях участвовали, со стороны Исполнительного Комитета Желябов, Колодкевич, Баранников и я; а со стороны военных—Суханов, Штромберг и артиллерист Н. Рогачев, брат Дм. Рогачева, осужденного на каторгу по процессу 193-х. Эти трое были намечены нами для будущего военного центра. Когда же все главные пункты программы и устава были вырешены, те же вопросы рассматривались в более расширенном составе, при участии артиллериста Похитонова и лейтенанта Буцевича, которые потом попали в Шлиссельбург и оба погибли там. К Суханову приходили и другие его товарищи—Э. А. Серебряков, Завалишин и др., мнение которых по тому или другому пункту надо было узнать, чтобы подготовить почву для окончательного решения и об'единения всех в одну организицию. Это об'еди-

нение не представляло трудностей, потому что кронштадтские товарищи Суханова были спаяны между собой не простым знакомством, а тесным товариществом, как и артиллеристы, товарищи и друзья Рогачева, Похитонова и Дегаева, и как Суханов организовал морскую группу, так названные три лица основали группу артиллеристов.

Среди военных первое место по праву принадлежало Суханову. Энергичный, стремительный энтузиаст, он безспорно играл самую главную роль пропагандиста и агитатора, а вместе с тем, и организатора военных: никто не мог устоять против обаяния его личности, авторитетной по своему нравственному облику, властной по привычке повелевать и, вместе с тем, нежный и отзывчивый по натуре. А рядом с ним стояли: блестящий по уму и образованию Буцевич; солидный, образованный и привлекательный, красивый силач Рогачев; рассудительный и мягкий в обращении Похитонов и душевно чистый Штромберг—отборная компания, импонировавшая и личными достоинствами, и образованием, и своею внешностью. Благодаря такому составу, военная организация могла рассчитывать на успех. В ее центр, который должеи был состоять из пяти человек, вошли упомянутые выше, намеченные нами: Суханов, Штромберг и Рогачев, а со стороны Исполнительного Комитета были назначены Желябов и Колодкевич [1]).

Когда устав был утвержден и центр образован, Суханов организовал из своих сослуживцев в Кронштадте группу морских офицеров, подготовленных к этому рядом собраний, которые он созывал там в течение осени. Некоторых из них я встречала у Суханова в Петербурге; с другими познакомилась в Кронштадте, куда в апреле 1881 г. Суханов увез меня после ареста Исаева и оставления мной общественной квартиры у Вознесенского моста. Он поместил меня у своих друзей – Штромберга и Завалишина, имевших небольшую самостоятельную квартиру.

Штромберг не был человеком выдающимся по уму, но

---

[1]) После ареста Желябова, по предложению Суханова, Комитет на его место избрал меня.

горячо преданный революционному делу, отличался большой выдержкой и стойкостью. Не экспансивный, неречистый, небольшого роста и хрупкого телосложения, он имел длинную золотистую бороду и бело-розовый цвет лица, выдававший его нерусское происхождение, и составлял полную противоположность Завалишину — рослому, здоровому брюнету, горячего живого темперамента. Один был не скор и методичен; другой порывист, энергичен и сильно увлекался политическим террором, о котором говорил с жаром, блестя темными глазами.

Я провела с ними дней семь и перевидала за это время, кроме Э. А. Серебрякова, других моряков — их приятелей и членов группы (Юнга, Гласко, Прокофьева, Разумова). Все они производили приятное впечатление, главным образом, благодаря тем свободным товарищеским отношениям, которые связывали их между собой. Это было то содружество, та хорошая простота, которую можно встретить только в кружках студенческой молодежи и в тесных революционных организациях,

В состав группы моряков входило человек тридцать. Конечно, не все были равноценны по качествам. Были привлечены не только люди в своем революционном миросозерцании вполне установившиеся, но и такие, которых обыкновенно зачисляют в разряд „сочувствующих". В военной среде мерка пригодности того или другого лица в члены организации была иная, чем у нас. Сообразно роду нашей деятельности, прежде всего пропагандистской, мы были гораздо требовательнее по отношению к теоретической подготовке кандидатов в члены, а для приема был нужен известный стаж, некоторая опытность. У офицеров не требовалось ничего подобного: все они были новичками и смотрели на дело упрощенно — простое товарищество легко превращалось у них в организацию заговорщиков. Многих в эти ряды влекла не твердая решимость итти до конца, с полным сознанием тяжелой ответственности, которую придется нести за свои действия, а дружеские чувства, товарищеская солидарность и молодая удаль. Отсутствие конспиративности, недостаточная оценка опасности положения бросались в глаза, как в самом Суха-

нове, так еще резче в его товарищах. Суханову это стоил жизни: я уже говорила, что он сознательно шел на гибель, не желая перейти в нелегальное положение, хотя его предупреждали о неизбежности ареста. Молва, что запалы для мины и бомб 1-го марта похищены в Кронштадте, в морском ведомстве, шла в дружеских разговорах самым непринужденным образом, и можно удивляться, как на ряду с Сухановым не погибла вся его группа. Если дело ограничилось арестом и переводом в Каспийский флот Гласко и административной ссылкой Штромберга в Сибирь, то это случилось исключительно благодаря тесной сплоченности и чувству солидарности, которые господствовали среди моряков, даже не сочувствовавших революционному движению, но всячески прикрывавших товарищей.

Одновременно с группой морских офицеров в Кронштадте, в Петербурбе был организован народовольческий кружок артиллеристов, в который, кроме уже упоминавшихся Рогачева, Похитонова и Дегаева, входили: Папин (брат Папина, осужденного по делу Долгушина), Николаев и еще три-четыре человека.

Военная организация, так сложившаяся, казалось, имела все шансы расти и процветать. Сочувствие, которое встретила программа „Народной Воли“ среди офицеров в Кронштадте и Петербурге; прекрасный состав центра из лиц способных и руководить, и увлекать, все внушало большие надежды. Опрос членов дал до 200 (а позднее гораздо большее число) указаний на разных лиц военного сословия, рассеянных по городам и более или менее сочувствующих идеям политической свободы. Их надо было посетить при об‘ездах членами организации, чтобы определить степень их революционности, и в случае пригодности организовать, а затем связать с центром.

На первых же порах Рогачеву было поручено исполнить эту задачу в Финляндии и его поездка была успешна. Затем должны были начаться обследования других местностей. Для этого к лету 1881 г. Суханов должен был взять отпуск и отправиться в большой об‘езд по разным городам юга. Его горячий порыв, сильная сжатая речь, требующая не

слов, а дела, очаровательная прямота и покоряющая внешность сулили богатые результаты, в особенности в виду того повышенного настроения, которое охватило общественные круги после акта 1-го марта.

2. Сношения с заграницей.

Влияние постановки социального вопроса на Западе на русское революционное движение в 1876 году исчезло совершенно; с этой поры оно сделалось самостоятельным, приняло вполне своеобразную форму и направление. Вместе с тем, прекратилось значение и росской эмиграции для революционой России; литература, служившая проводником влияния эмигрантов и находившаяся дотоле всецело в их руках, перенеслась на русскую почву, чтобы служить живым откликом новых течений и отвечать запросам текущей жизни. К этому году правильные сношения революционных организации с русскими выходцами прерываются,—они становятся отрезанным ломтем для партии действия. Дело стояло так до событий 19-го ноября 1879 и 5-го февраля 1880 г.г. когда два взрыва Исполнительного Комитета потрясли всю Европу и пробудили во всех слоях западно-европейского общества громадный интерес и внимание к деятельности революционной партии в России.

Несколько времени спустя, императорское правительство возбудило дело о выдаче Францией агента Исполнительного Комитета Гертмана, являвшегося под именем Сухорукова, хозяином дома, из которого был совершен взрыв царского поезда 19-го ноября. Сколько ни хлопотало русское посольство, — в отказе республиканской Франции оно получило звонкую всеевропейскую пощечину.

Вопрос о выдаче или невыдаче автора московского взрыва в высшей степени волновал русское и заграничное общество; тем большее значение имел отказ Французской республики—он был поражением правительства и победой революционной партии.

На этом факте „Народная Воля“ увидела значение, которое может иметь для партии общественное мнение Евро-

пы. Она решила организовать за границей пропаганду своих истинных целей и стремлений и завоевать симпатии европейского общества, ознакомляя его с внутренней политикой нашего правительства. Таким путем, потрясая трон взрывами внутри государства, мы могли дискредитировать его извне и способствовать давлению, быть-может, дипломатическому вмешательству некоторых просвещенных стран во внутренние дела нашего темного царства. Для такой цели можно было использовать те революционные силы, которые были потеряны для революционной работы внутри России, т.-е. эмигрантов.

Из них Гартману и Лаврову Комитетом было предложено в качестве уполномоченных партии предпринять за границей агитацию в духе программы „Народной Воли". Средствами для этого могли быть лекции, собрания, но главным образом, брошюры, листки и журнальные статьи, которые изображали бы экономическое и политическое положение дел в России. Гартман должен был с этой целью объехать главные города Америки; все выдающиеся в социалистическом мире Западной Европы лица обещали ему свое содействие в той или иной форме; к некоторым из них, как к Карлу Марксу и Рошфору, Комитет обращался письменно с предложением оказать его агенту, Гартману, помощь в деле организации пропапанды против русского деспотизма. В ответ на это, вместе с изъявлением согласия, автор „Капитала" прислал Комитету свой портрет с соответствующей надписью. По словам Гартмана, Маркс с гордостью показывал письмо Комитета своим друзьям и знакомым. Но, по единодушным отзывам всех наших заграничных друзей, не один Карл Маркс выказывал уважение к русскому революционному движению—внимание к нему было всеобщим; журналистика с жадностью хватала сведения о России, а события русской революционной хроники были самыми пикантными новостями. Чтобы прекратить массу ложных слухов и всевозможных уток, которые преподносились европейской публике ежедневной прессой, было необходимо правильное доставление заграничным агентам корреспонденций из России о всем происходящем в русском революцион-

ном мире. Комитет избрал меня осенью 1880 г. секретарем для заграничных сношений. Я вела его деловую переписку с Гартманом, посылала ему корреспонденции, биографии казненных, снабжала выходящими революционными изданиями, доставляла карточки арестованных и осужденных, посылала русские журналы, газеты и вообще удовлетворяла по возможности все требования его.

После 1-го марта я послала ему свою последнюю корреспонденцию об этом событии, письмо Комитета к Александру III и *рисунок, изображающий внутренность магазина Кобозева, исполненный самим Кобозевым.*

3. Магазин сыров.

Еще в бытность Александра Михайлова на свободе, Комитет составил проект снять магазин или лавку на одной из улиц Петербурга, по которым наиболее часто совершался проезд императора: из лавки предполагалось провести мину для взрыва. С этой целью некоторые из агентов должны были присматриваться ко всем сдаваемым помещениям, пригодным для осуществления плана, а так как царь обязательно должен был ездить в Михайловский манеж, то магазин искали по улицам, ведущим к нему; таких магазинов при Михайлове и, кажется, им самим, было найдено два, и на одном из них остановился выбор Комитета. Это был магазин в доме Менгдена на Малой Садовой; в нем решено было открыть торговлю сырами.

Когда Комитет стал подбирать состав, необходимый для обстановки, то для роли хозяина я предложила моего друга и товарища Юрия Николаевича Богдановича.

После выезда из Саратова в 1879 году и до осени 1880 года Богданович находился в отлучке и у меня прервалась с ним даже переписка; но, приехав в Петербургъ и свидевшись с старинным приятелем Писаревым, я решила употребить все усилия, чтобы найти его и вызвать к себе. Так как он не отвечал на письма, посланные по его адресу, то я воспользовалась адресом знакомых, к которым я дала ему рекомендации при отъезде, в надежде, что они знают,

где он находится, и что с ним происходит. Я послала ему горячее письмо, в котором упрекала за то, что он вполне оторвался от старых друзей, и призывала настоятельно в Петербург для свидания. Оказалось, что он был болен, и хотя он еще не вполне поправился, но не замедлил явиться на призыв. Однако, он был в таком состоянии, что прежде всего я и Писарев заставили его лечиться. Затем ему пришлось осмотреться, познакомиться с людьми и со всеми переменами в программе и в партии, которые после Воронежского съезда произошли в его отсутствии; после этого он примкнул к практическим занятиям по организации, которые вели некоторые агенты Комитета, а потом принял сам агентуру Комитета. В это-то время я, как близко знающая его, и предложила Комитету, указывая на его практичность и чрезвычайную находчивость, сделать его хозяином лавки, что и было приведено в исполнение.

Точное местонахождение магазина и фамилия, под которой значился хозяин его, не были мне известны до того момента, когда, должно-быть, в феврале, истек срок паспорта, по которому Богданович был прописан, и он попросил меня написать текст нового на имя Кобозева. Этот паспорт, мной написанный, кажется, так и остался в руках дворников после того, как был прописан в доме Менгдена.

К новому году Богданович и, под видом его жены, Якимова, устроились и из магазина стали рыть подкоп под улицу.

4. Нечаев.

В январе 1881 года Исаев и я должны были по постановлению Комитета устроить общественную квартиру, которая служила бы местом собраний исключительно для членов Комитета. Никто из агентов низших степеней не должен был знать адреса этой квартиры и не вводился в нее, за исключением кануна 1-го марта, когда, по решению Комитета, для работы над бомбами в нее был приглашен Кибальчич.

Мы поселились на Вознесенском проспекте д. № 25/76, у Вознесенского поста, в трех очень холодных неуютных

комнатах, имевших то преимущество, что дом был с проходным двором на две улицы и в нем помещались бани, которые могли маскировать частые хождения к нам.

Мы прописались под именем Кохановских и прожили на этой квартире Исаев до 1-го, я — до 3-го апреля, когда ее пришлось бросить из-за ареста Исаева, взятого на улице.

В один из вечеров января, в трескучий мороз, часов в 10, Исаев пришел домой, весь покрытый инеем. Сбросив пальто и шапку, он подошел к столу, у которого сидела я и человека два из Комитета и, положив перед нами маленький свиток бумажек, сказал спокойно, как-будто в этом не было ничего чрезвычайного: „От Нечаева,—из равелина“!

От Нечаева! Из равелина!

Мне было 19 лет и я рвалась из глухого угла Казанской губернии за границу, в университет, когда впервые услыхала это имя: в Петербурге шел процесс „нечаевцев“ и я читала отчет о нем в газетах. Надо сказать, что из всего процесса только убийство Иванова, описанное во всей трагической обстановке его, произвело на меня впечатление, оставшееся на всю жизнь; все остальное прошло как-то мимо, осталось непонятным.

Хорошо запомнились также слова дяди, П. Х. Куприянова, сказанные по поводу этого дела:

— Каждый народ достоин своего правительства.

Я приняла это за аксиому, как принимала многое другое в то время. Дядя не сделал никаких ограничений; не было их тогда и у меня.

И во второй раз услышала я имя Нечаева в 1872 г. Я была уже в Швейцарии и училась в Цюрихе, когда в августе этого года в нашей студенческой среде из уст в уста прошла молва: член Интернационала, поляк Стемпковский, предал Нечаева, он арестован и русское правительство требует выдачи его, как уголовного преступника. Для нас, громадное большинство которых приехало и поступило в университет всего несколько месяцев тому назад, пребывание Нечаева не только в Цюрихе, но и вообще в Швейцарии, было тайной и его арест полной неожиданностью. Мы не знали, что агенты русской полиции уже давно разыскивали

его в Швейцарии и со швейцарскими властями велись переговоры о выдаче, если эти агенты найдут Нечаева. Не знали мы и того, что однажды, когда Нечаев жил в Женеве, вместо него на улице был арестован некто Серебренников, живший как и Нечаев, у Огарева. Серебренников был освобожден лишь после того, как сторож Андреевского училища, в котором преподавал Нечаев, и сторож университета знавшие Нечаева в лицо, были вызваны из России и удостоверили, что предъявленная им личность не есть Нечаев. После этого случая некоторое время Нечаев скрывался в горах, куда с большими предосторожностями его препроводили швейцарские агенты Мадзини, но потом он поселился в Цюрихе. Напрасно уговаривали его не жить в этом городе; он считал, что эмигранты просто хотят удалить его из сферы их собственной деятельности. В Цюрихе Нечаев добывал средства к жизни тем, что писал вывески и, как искусный маляр, имел, по словам М. Сажина, имевшего с ним сношения, хороший заработок. С русской учащейся молодежью Нечаев не имел соприкосновений, но сносился с небольшим числом поляков и с русскими эмигрантами, пока Стемпковский не отдал его в руки полиции.

Общественное мнение Швейцарии было настроено неблагоприятно для Нечаева, потому что факт убийства Иванова был широко известен; агитация, поднятая кружком эмигрантов в пользу Нечаева, успеха не имела; брошюра на немецком языке, изданная ими и разъяснявшая политический характер деятельности Нечаева, не нашла широкого распространения; устроенные митинги были малолюдны, а когда представители эмигрантов обратились к самым сильным рабочим союзам Швейцарии: Грютлиферейну и Бильдунгсферейну и искали у них защиты права убежища, гарантированного законами республики для политических изгнанников, союзы ответили, что уголовных убийц они не защищают.

Помимо этого самый факт ареста уже предрешал решение федеральных властей, и судьба Нечаева совершилась.

Кучка учащейся молодежи, главным образом, сербов, замышляла отбить Нечаева, когда его повезут на вокзал. Предполагалось, что для этого соберется человек тридцать,

но вместо тридцати, явились лишь немногие: о серьезной схватке со стражей, сопровожавшей Нечаева, нечего было и думать.

Ралли Арборэ в статье о Нечаеве („Былое", 1906 г., кн 7), рассказывает, что попытка все же была сделана, но публика помогла полиции снова поймать Нечаева, при чем арестовала двух, пытавшихся спасти его.

Человека два сели в поезд, чтобы посмотреть, не представится ли удобный случай на пути, но на станциях со стороны властей были приняты меры предосторожности и никакой попытки освобождения на пути не было сделано.

В России, как известно, суд приговорил Нечаева к 20-летней каторге. Формально договор с Швейцарией был соблюден: Нечаева судили, как уголовного. Но затем, вместо отправки в Сибирь, он исчез бесследно: никто не знал, что было с ним дальше; ни где он, ни того, жив ли он или мертв.

Так прошли годы, пока теперь, в этот январьский вечер 1881 года, его образ встал перед нами и из Алексеевского равелина он обратился к Исполнительному Комитету со своим словом.

Как попало к нам это неожиданное слово?

Когда Нечаева после суда привели в равелин, в нем был один узник, загадочная фигура—Шевич, психически неизлечимо больной, Шевич, о котором 40 лет спустя, на основинии архивных документов, открытых после революции 1917 года, было опубликовано исследование Щеголева.

В 1879 г. в равелин привели Мирского, осужденного по делу о покушении на шефа жандармов Дрентельна. Мирский не внушал, однако, доверия Нечаеву, он не захотел войти через него в сношение с „волей", и выказал в этом большую проницательность. Но когда после процесса 16-ти народовольцев (в октябре 1880 г.) в равелин попал Степан Ширяев, член Исполнительного Комитета и автор взрыва царского поезда под Москвой, Нечаев нашел в нем человека такой серьезной организации и деятельности, что решил обратиться к „Народной Воле", и с преданным ему жандармом равелина послал Исполнительному Комитету письмо по адресу сту-

дента медико-хирургической академии Дубровина, земляка Ширяева и хорошего знакомого Исаева.

Письмо носило строго деловой характер; в нем не было никаких излияний, ни малейшей сантиментальности, ни слова о том, что было в прошлом и что переживалось Нечаевым в настоящем. Просто и прямо Нечаев ставил вопрос о своем освобождении. С тех пор, как в 1869 г. он скрылся за границу, революционное движение совершенно изменило свой лик: оно расширилось неизмеримо, сделалось непрерывным и прошло несколько фаз—утопическое настроение хождения в народ, более реалистическую фазу „Земли и Воли“ и последовавший затем поворот к политике, к борьбе с правительством, борьбе не словом, а действием. А он? Он писал, как революционер, только-что выбывший из строя, пишет к товарищам, еще оставшимся на свободе.

Удивительное впечатление производило это письмо: исчезало все, темным пятном лежавшее на личности Нечаева — пролитая кровь невинного, денежные вымогательства, добывание компрометирующих документов с целью шантажа, все, что развертывалось под девизом „цель оправдывает средства“, вся та ложь, которая окутывала революционный образ Нечаева. Оставался разум, не померкший в долголетнем одиночестве застенка; оставалась воля, не согнутая всей тяжестью обрушившейся кары; энергия, не разбитая всеми неудачами жизни; когда на собрании Комитета было прочтено обращение Нечаева, с необыкновенным душевным подъемом все мы сказали: „Надо освободить“!

Шаг за шагом Нечаев развертывал в последующих письмах свою работу за истекшие годы. Да! Связанный по рукам и ногам, в тайнике равелина, он работал. День за днем он старался подчинить своему влиянию враждебную среду, которая его окружала. Он изучал характер каждого жандарма, каждого присяжного солдата, приставленных к нему. Он неустанно наблюдал, все замечал и складывал в памяти, чтобы на основании собранного материала индивидуализировать способ воздействия на ту или другую душу День за днем он расшатывал дисциплину среди нижних чинов, которые стерегли его; подрывая в их глазах престиж

власти, стоявшей над ними, он агитировал, пропагандировал, развивал ум, действовал на чувства. Вызывая на откровенность и вырывая признания, он забирал людей в свои руки; пользуясь необычайностью обстановки и условий своего заточения и придавая загадочный характер своей личности и своему положению в прошлом, он импонировал своей страже, поднимал себя в ее мнении и манил чем-то в будушем.

Так, ведя медленно, но постоянно кропотливую работу. этот необыкновенный узник подчинил себе, по его словам 40 человек, попадавших в сферу его пропаганды. От этих лиц постепенно и осторожно он узнавал подробности об обстановке равелина и Петропавловской крепости, о том, что делается в них, об учреждениях, служащих и их взаимных отношениях, о всех местных порядках и в особенности о топографии крепости и островка, на котором был расположен равелин[1]). В конце-концов, он накопил множество неоцененных данных, психологических и физических, на основании которых можно было создать план и осуществить освобождение, которое он, оторванный от всего мира, подготовлял годами в своей тиши.

Верный своим старым традициям, Нечаев предполагал, что освобождение его должно происходить в обстановке сложной мистификации. Чтобы импонировать воинским чинам стражи, освобождающие должны были явиться в военной форме, увешенные орденами; они должны были объявить, что совершен государственный переворот: император Александр II свергнут и на престол возведен его сын — наследник, и именем нового императора они должны были объявить, что узник равелина свободен. Все эти декорации для нас, конечно, не были обязательны и только характерны для Нечаева.

Когда на заседании Комитета был поставлен вопрос об освобождении Нечаева, то без всяких споров было постановлено ставить это дело силами военной организации, тогда

---

[1]) Был, потому что в 1900 г. равелин разрушен и проток Невы, создававший остров, завален землей.

уже вполне сложившейся. Руководителем предприятия, главой отряда предполагался Суханов, как решительный и находчивый человек, привыкший повелевать. Рассматривая условия места действия, Комитет, однако же, нашел, что экспедицию на остров равелина удобнее снарядить по воде на лодках, а не зимой по льду,—это значило отложить ее до весны. Но, не только это соображение, и другие обстоятельства заставляли остановиться на этом. На руках у Комитета было дело с Александром II. Предыдущие покушения организовались одно за другим и теперь новая попытка, по счету седьмая, была в полном ходу: в магазине на Малой Садовой шла торговля сырами и каждую ночь несколько членов Комитета и его агентов работали в подкопе, действуя заступом и буравом и наполняя землею бочки, предназначенные для сыров. Приостановить эту опасную работу,—значило бы рисковать успехом всего дела. Чем скорее закончились бы приготовления, тем увереннее можно было смотреть вперед: обстановка магазина с недостаточным запасом сыров, неопытность импровизированных торговцев, изменение маршрута при поездках Александра II по воскресеньям в Михайловский манеж,—все это могло сделать бесполезным весь труд. Необходимо было спешить, не оглядываясь по сторонам, не отвлекая внимания ни на что другое. Все вместе заставило Комитет откровенно и прямо сообщить Нечаеву, что предпринятые приготовления к покушению на царя требуют всех наших сил и ставить два дела одновременно мы не в состоянии. Поэтому дело его освобождения может быть организовано лишь после того, как кончится начатое против царя.

В литературе я встречала указание, будто Комитет предоставил Нечаеву самому решить, которое из двух дел поставить на первую очередь, и будто Нечаев высказался за покушение. Комитет не мог задавать подобного вопроса; он не мог приостановить приготовлений на Малой Садовой и обречь их почти на неминуемое крушение. Он просто оповестил Нечаева о положении дел и тот ответил, что, конечно, будет ждать.

Чистейший вымысел также рассказ, будто Желябов по

сетил остров равелина и был под окном Нечаева. Этого не было, не могло быть. Желябову была предназначена ответственная роль в предполагавшемся покушении. Мина на Малой Садовой могла взорваться немного раньше или немного позже проезда экипажа государя. В таком случае на обоих концах улицы четыре метальщика должны были пустить в ход свои разрывные снаряды. Но если бы и снаряды дали промах. Желябов, вооруженный кинжалом, должен был кончить дело, а кончить его на этот раз мы решили во что бы то ни стало. Возможно ли, чтобы при таком плане Комитет позволил Желябову отправиться к равелину, не говоря уже о том, что провести его туда было вообще невозможно. И разве сам Желябов пошел бы на такой бесцельный и безумный риск не только собой и своей ролью на Садовой, но и самим освобождением Нечаева? Никогда!

Сношения с Нечаевым, начатые через посредство Дубровина, продолжались затем Исаевым, которого Дубровин свел с жандармом, носившем записки. Обыкновенно они встречались в условном месте на улице и жандарм передазал Исаеву небольшой свиток бумаги в вершок шириной, исписанный особенными иероглифами нечаевского изобретения.

Так продолжалось до 1-го апреля, когда Исаев был выслежен и арестован на улице одновременно с Подбельским, тем студентом, который в феврале на акте в университете нанес оскорбление действием министру народного просвещения Сабурову. Вследствие этого ареста связь с равелином на время порвалась.

У Перовской, арестованной раньше Исаева (10-го марта), в записной книжке были зашифрованы, как она нам сообщила через своего защитника Кедрина, два-три адреса швеек, которых посещали жандармы равелина,—их дал Нечаев. Однако, эти адреса, повидимому, не дали следователям по делу Перовской руководящей нити для раскрытия наших сношений с Нечаевым, потому что позднее эти сношения возобновились через того же Дубровина и велись Савелием Златопольским. Но описание этих сношений, окончательное прекращение их, — страшно сказать! — по предательству Мирского, как мне передавали лица, заглянувшие

после революции 1917 г. в архивы департамента полиции, арест жандармов и солдат, преданных Нечаеву, суд над 23-мя из них [1]), административная расправа с некоторыми другими,—должны быть восстановлены не по моим личным воспоминаниям, а по архивным документам, которые не находятся в моем распоряжении. Сама я, после ареста Исаева, должна была оставить Петербург, и свободной в него уже не вернулась.

Нечаев погиб в равелине и его гибель вплоть до революции была окружена тайной.

В сентябре 1881 года умер Ширяев: он страдал туберкулезом уже на свободе, и о его смерти сообщил еще Нечаев, но когда в марте 1882 года в равелин поместили: Морозова, Фроленко, Александра Михайлова, Клеточникова, Баранникова; Колодкевича, Арончика и Тригони, судившихся по процессу 20-ти, а в начале 1883 года—Богдановича, Грачевского, С. Златопольского, Ланганса из процесса 17-ти—никто из них, размещенных в трех коридорах равелина, за все время не имел никаких указаний на присутствие в равелине Нечаева. Ни Поливанов, привезенный из Саратова, ни партия каторжан, возвращенных с карийских рудников и помещенных в равелин (Мышкин, Долгушин, Попов, Юрковский и др.) вплоть до перевода всех равелинцев в 1884 г. в Шлиссельбург, тоже не имели никаких вестей о нем и не могли сообщить ничего об его судьбе.

В свое время ходила версия, что в 1882 году, после раскрытия сношений Нечаева с „волей“, его отправили в Шлиссельбург и застрелили по дороге под предлогом попытки к бегству. Но никаких данных, которые подтверждали бы это, не приводилось.

Материальные условия содержания Нечаева в равелине, в смысле питания, были сносными, пока он был там один, но с переводом туда народовольцев, режим резко изменился: их умерщвляли медленным голоданием. Пища была такова, что, по словам Юрия Богдановича, уже через месяц равелинцы могли ходить, только держась за стену. Цынга

---

1) Отправлены в дисциплинарный батальон.

подкашивала их поголовно. Врач Вильмс на заявления заключенных, что они умирают от голода, отвечал, что он бессилен,—все зависит от администрации. С своей стороны он давал только бутыль с микстурой железа: из нее за обедом жандарм каждому подавал по ложке. При таких условиях и без убийства оружием Нечаев должен был погибнуть. Полное подтверждение тому найдено в архивах Щеголевым, и дата смерти Нечаева установлена документально: он умер в равелине 21-го ноября 1882 г. Отсутствие сведений у остальных равелинцев объясняется полной изоляцией от них Нечаева.

В революционном движении Нечаев представляет собою фигуру, совершенно исключительную. Это особый тип, в целом не повторявшийся. Как бы ни тяжела была память об убийстве Иванова и самом бесзастенчивом пользовании правилом „цель оправдывает средства“, нельзя не изумляться силе его воли и твердости характера, нельзя не отдать справедливости безкорыстию всего поведения его: в нем не было честолюбия и преданность его революционному делу была искренна и бесгранична. Несмотря на отсутствие высших моральных качеств, в его личности было нечто внушительное, покоряющее, на простые души действующее, как гипноз. Солдаты—равелинцы, сосланные в Сибирь, встречались в свое время со многими политическими ссыльными из интеллигенции: Орехов, Дементьев, Петров, Терентьев жили в Иркутской губернии, в Киренске, одновременно с М. П. и Е. Н. Сажиными и С. А. Борейшо. Равелинец Тонычев, наиболее развитой и впоследствии застрелившийся, был в Киренске проездом из Якутской области, а Вишняков, уже в бытность Брешковской в ссылке, жил в этом городе при ней, помогая в хозяйстве. Никогда ни у кого из этих людей не вырывалось упрека, слов укоризны по адресу Нечаева, разорившего их жизнь. Все они отзывались о нем с особенным чувством, похожим на страх, и признавались в своем подчинении его воле: „Попробуй-ка, откажись, когда он что-нибудь приказывает! Стоит взглянуть ему только“!—говорил один из них.

Это влияние сказывалось и на суде.

Во время суда в публике ходил слух, что солдаты и унтера на заседаниях говорили о Нечаеве, как люди, находящиеся под влиянием страха перед ним. Между прочим, никогда не произносили они ни его имени, ни фамилии: они говорили только: „он“.

Но и вдали, в глубине Сибири, равелинцы все еще были под обаянием сильной личности узника, покорившего их души. Авторитет его личности все еще слепил их. Это было внушение, гипноз, не разрушенный ни испытаниями, ни временем и расстоянием

5. Арест Клеточникова.

26-го января были арестованы: Колодкевич и Баранников, одни из наиболее любимых товарищей наших, а на квартире Баранникова задержан Клеточников,—для целости нашей организации человек совершенно неоценимый: втечение двух лет он отражал удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности извне. как Александр Михайлов заботился о ней внутри. Мы берегли его самым тщательным образом, окружая каждый шаг строжайшей конспирацией. Для сношений с ним было назначено одно постоянное лицо, вполне легальное—сестра Марии Николаевны Ашаниной, Наталья Николаевна Оловенникова, ради этой цели совершенно отстраненная от всякой революционной деятельности. Только на ее квартиру и ни к кому другому из нас Клеточников должен был ходить для передачи всех сведений, полезных для партии: о предполагаемых обысках, арестах и розысках; о шпионах и всех предположениях III Отделения, проходивших чрез его руки в канцелярии этого Отделения.

Почему этот порядок был нарушен и вместо легальной квартиры Оловенниковой, Клеточников стал посещать нелегального Баранникова, который принимал участие во всех опасных сношениях и предприятиях,—я не знаю, но это нарушение тем более странно, что Клеточников был очень близорук и не мог видеть знаков безопасности, которые всегда ставились у нас на квартирах. Вероятно, вследствие этого,

он и попал в засаду, оставленную в комнате Баранникова. После суда над 20-ю народовольцами Клеточников погиб в равелине от истощения.

Любопытно, как Клеточников попал в делопроизводители III Отделения, и я напомню об этом. Приехав в Петербург из Крыма, он предложил Комитету свои услуги, заявив, что будет исполнять какую-угодно работу. Но, как для новоприбывшего, трудно было найти сейчас же что-нибудь подходящее к его способностям и характеру. Некоторое время ему пришлоозь томиться в бездействии. Между тем, вскоре по приезде он понял, что случайно нанял комнату у женщины, служившей тайным агентом III Отделения. Это была акушерка Кутузова. Как квартирант, он иногда заходил к ней, по ея приглашеню, поиграть в карты. Познакомившись и услыхав, что он ищет места, она сначала в неясных чертах, а потом откровенно рассказала ему о своих связях в III Отделении и предложила устроить его в этом учреждении.

Клеточников, сносившийся с Александром Михайловым, сообщил ему о предложении Кутузовой и просил совета, не воспользоваться ли этим случаем, чтобы быть полезным партии? Александр Михайлов и Комитет нашли, что воспользоваться надо, и сказали Клеточникову, чтобы он проигрышами небольших сумм еще более расположил к себе Кутузову. Так все это и случилось. Клеточников попал в самое пекло политического розыска и оказывал громадные услуги партии. Так, между прочим, он предупредил нас осенью 1879 г. о готовящихся массовых обысках, между которыми был обыск и у присяжного поверенного Бардовского, одного из самых преданных, даровитых защитников на политических процессах того времени (процесс 50-ти и др.). Дважды я приходила на его квартиру, чтобы предупредить его, и дважды не заставала дома. Вечером он был в театре, куда я не могла попасть. Поздно он вернулся домой; нагрянули жандармы: за шкапом нашли пачку номеров „Народной Воли“, спрятанные им; арестовали его и его сожителя и поместили в дом предварительного заключения. Бардовский был человек чрезвычайно нервный; он страдал бессоницей,

злоупотреблял хлорал-гидратом и совершенно определенно был одержим болезнью пространства; не раз мне приходилось смеяться над этой боязнью, когда я ездила с ним в его экипаже; однако, это был один из признаков душевного расстройства. Потрясенный арестом, Бардовский в доме предварительного заключения уже через сутки помешался и не выздоровел до конца жизни, хотя его выпустили и он был окружен нежным попечением своей жены Анны Арсентьевны, с которой, как и с самим Бардовским, я была в наилучших отношениях; ничто уже не могло спасти его. Погиб и брат Бардовского, мировой судья в Польше, казненный в 1884 г. в Варшаве по делу польского „Пролетариата".

6. Совещание.

В первой половине февраля Комитет созвал своих членов на совещание. Приготовляя покушение на царя, он хотел поставить вопрос о возможности или невозможности одновременно с покушением сделать попытку инсуррекции. Члены из Москвы и тех провинций, в которых были народовольческие группы, должны были дать сведения, достаточно ли окрепла и расширилась организация партии и таково ли настроение широких кругов в разных местностях, чтобы наличными силами партии, при поддержке сочувствующих слоев общества, предпринять вооруженное выступление против правительства.

Ответ был неблагоприятный. Подсчет членов групп и лиц, непосредственно связанных с нами, показал, что наши силы слишком малочисленны, чтобы уличное выступление могло носить серьезный характер. В случае попытки вышло бы то же, что произошло в 1876 г. на Казанской площади,—избиение, но в еще более широких размерах и безобразных формах, чем было при той первой демонстрации скопом, предпринятой „Землей и Волей". От выступления пришлось отказаться. Революция рисовалась в то время еще в неопределенных чертах и в неопределенном будущем. Только с военных бралось обязательство по требованию Исполнительного Комитета взяться за оружие; что касается штатских, то в уста-

вы местных групп такое обязательство до тех пор не вносилось.

Заседания нашего совещания происходили на моей квартире у Вознесенского моста. Чтобы не навлечь подозрения, мы собирались через день в числе 20—25 человек. Но хотя, рассеянные по главнейшим городам империи, мы представляли собою слишком ничтожную силу, чтобы предпринять попытку вооруженного восстания, — вопрос все же был поставлен, его обсуждали и уже это было важно. Мысль, раз высказанная, не могла умереть и, разъехавшись, каждый в своей местности невольно мысленно обращался к ней.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

1. Февральские дни.

14 го февраля, в воскресенье, император, ездивший по воскресеньям в Михайловский манеж, и всегда по разным улицам, проехал по Малой Садовой. Подкоп к этому времени был уже кончен, но мина не заложена.

Когда мы узнали об этом, то возмутились медленностью техников. Следующего проезда приходилось ждать, быть-может, целый месяц.

Негодуя, Комитет на заседании постановил, чтобы к 1-му марта все приготовления были кончены, мина и разрывные снаряды готовы. Наш план состоял из трех частей, преследовавших одну цель, чтобы это, по счету седьмое, покушение наше было окончательным. Главной частью был взрыв из магазина сыров: о нем знали только члены Комитета. Если бы этот взрыв произошел немного раньше или позже проезда экипажа царя, то, как раньше было сказано, четыре метальщика: Рысаков, Гриневицкий, Тимофей Михайлов и Емельянов с двух противоположных сторон на обоих концах Малой Садовой должны были бросить свои бомбы; но, если бы и они остались почему-нибудь без результата, то Желябов, вооруженный кинжалом, должен был броситься к государю и кончить дело.

С тех пор мы жили тревожной лихорадочной жизнью: наступал третий месяц существования магазина сыров в доме Менгден. Хозяева магазина, Богданович и Якимова, с внешней стороны удовлетворяли всем требованиям своего положения—рыжая борода лопатой, широкое лицо, цвета томпакового самовара, как, смеяс, говорил о себе Богданович,

речь, сдобренная шуткой, меткая и находчивая (за словом в карман не полезет), делали Богдановича извне настоящим заурядным торговцем, а Якимова, с ее демократической наружностью, подстриженной „чолкой“ на лбу и вятским выговором на „о“, была как нельзя больше, ему под-пару. Но на счет коммерции оба были слабы и соседние торговцы сразу решили, что новопришельцы им не конкурренты. К тому же денег в январе—феврале у нас было мало и закупка сыров была скудная. Как невелики были наши средства на это колоссальной важности дело, показывает, что, когда в критическую минуту, я достала 300 р. на покупку товара, то это было счастьем. Однако, скудость запасов на первый взгляд не бросалась в глаза, как я удостоверилась, застав „Баску“ в ее роли за прилавком, уставленным разными сортами сыра, когда, под видом покупательницы, „рокфора“, я подъехала к магазину по поручению Комитета, и спустилась в полуподвальное помещение, в котором он находился, чтобы предупредить, что за магазином „следят“, и к Суханову подле магазина пристал шпион, от которого он спасся, взяв лихача.

Хотя прилавок имел приличный вид, но бочки для сыров стояли пустые: они наполнялись землей из подкопа под улицу. Неумелость торговцев, как таковых, а, быть может слежка за кем-нибудь из тех, кто по ночам работал в подкопе, (вероятно, за Тригони, который, как оказалось, жил в шпионской квартире на Невском), но только полиция обратила, наконец, внимание на это заведение.

27-го февраля, вечером, к Тригони, занимавшему комнату на Невском у г-жи Миссюра, явилась полиция и арестовала, как его, так и Андрея Желябова, сидевшего у него. Известие об этом несчастьи, громом поразившем нас, было принесено Сухановым утром 28-го февраля к нам на квартиру, у Вознесенского моста. В то же время по городу разнесся слух, что полиция считает себя на следах чрезвычайного открытия и назывался тот самый участок, в котором находился магазин Кобозева. Молодежь передавала о подслушанном разговоре дворника дома Менгдена с полицейским о каком-то обыске в этом доме, а явившийся Кобозев рассказал о посещении лавки какой-то, якобы, санитарной комиссией, полицейская

цель которой была очевидна. Дело висело на волоске: „Это что за сырость?—спросил пристав, указывая на следы влажности подле одной из бочек, наполненных сырой землей.— „На масленнице сметану пролили“,—ответил Богданович. Загляни пристав в кадку, он увидал бы, какая сметана была в ней!

В углу, на полу, лежала большая куча земли, вынутой из подкопа. Сверху ее прикрывала рогожа и был наброшен половик. Достаточно было приподнять их, чтобы открытие было сделано. Но все миновало, и этот осмотр, подробности которого были какой-то счастливой игрой в „быть или не быть“,—по словам Богдановича, даже легализировал магазин, так как подозрительного в нем ничего не было найдено. Но мы, слушатели, были поражены, как громом. Было ясно, что дело, давно задуманное, с трудом и опасностью доведенное до конца,—дело, долженствовавшее закончить двухлетнюю борьбу, связывавшую нам руки, может накануне своего осуществления погибнуть. Все можно было перенести, только не это.

Не личная безопасность тех или других из нас волновала нас. Все наше прошлое и все наше революционное будущее было поставлено на карту в эту субботу, канун 1-го марта; прошлое, в котором было шесть покушений на цареубийство и 21 смертная казнь, и которое мы хотели кончить, стряхнуть, забыть, и будущее—светлое и широкое, которое мы думали завоевать нашему поколению. Никакая нервная система не могла бы вынести долгое время такого сильного напряжения.

Между тем, все было против нас: нашего хранителя— Клеточникова, мы потеряли; магазин был в величайшей опасности; Желябов, этот отважный товарищ, будущий руководитель метальщиков и один из самых ответственных лиц в предполагаемом покушения, выпадал из замысла: его квартиру необходимо было тотчас же очистить и бросить, взяв запас нитроглицерина, который там хранился; квартира на Тележной, где должны были производиться все технические приспособления по взрыву и где сходились сигналисты и метальщики, оказывалась, по заявлению ея хозяев: Саблина и

Гельфман, сделанному накануне, не безопасной, — за ней, повидимому, следили, и в довершение всего, мы с ужасом узнаем, что *мина до сих пор не заложена и ни один из четырех снарядов не готов*... А завтра—1-го марта, воскресенье, и царь может поехать по Садовой...

Среди этих-то обстоятельств, 28-го февраля, мы, члены Исполнительного Комитета, спешно собрались на квартире у Вознесенского моста. Присутствовали не все, так как для оповещения не было времени. Кроме хозяев квартиры, меня и Исаева, были: Перовская, Анна Павловна Корба, Суханов, Грачевский, Фроленко, Лебедева; быть-может, Тихомиров, Ланганс—наверно, не помню. Взволнованные, мы были одушевлены одним чувством, одним настроением. Поэтому, когда Перовская поставила основной вопрос, как поступить, если завтра, 1-го марта, император не поедет по Малой Садовой, не действовать ли тогда одними разрывными снарядами? Все присутствовавшие единогласно ответили: *действовать! Завтра, во что бы то ни стало, действовать*! Мина *должна* быть заложена. Бомбы *должны* быть к утру заряжены и *на-ряду* с миной или *независимо* от нее *должны* быть пущены в ход. Один Суханов заявил, что он не может сказать ни да, ни нет, так как снаряды еще никогда не были в действии.

Было около 3-х часов дня субботы.

Исаев был немедленно отряжен в магазин заложить мину; квартира Желябова и Перовской, с помощью Суханова и военных, была очищена и Софья Львовна перешла к нам. Не успели оповестить не только всех членов, но даже сигналистов Садовой улицы, но роли последних, как и метальщиков, были *заранее* определены и свиданье *на воскресенье* со всеми ими уже условлено.

С пяти часов вечера три человека должны были явиться на нашу квартиру и всю ночь работать над метательными снарядами. Это были: Суханов, Кибальчич и Грачевский. До восьми часов вечера на квартиру беспрестанно заходили члены Комитета то с известиями, то по текущим надобностям, но так как это мешало работе, то к 8-ми час. все разошлись, и на квартире остались, считая меня и Перовскую, пять человек. Уговорив измученную Софью Львовну прилечь, чтобы

собраться с силами для завтрашнего дня, я принялась за помощь работающим там, где им была нужна рука, хотя бы бы и неопытная: то отливала грузы с Кибальчичем, то обрезывала с Сухановым купленные мной жестянки из-под керосина, служившие оболочкой снарядов. Всю ночь напролет у нас горели лампы и пылал камин. В два часа я оставила товарищей, потому что мои услуги не были более нужны. Когда в 7 часов утра Перовская и я встали, то мужчины все еще продолжали работать, но два снаряда были готовы, и их унесла Перовская на квартиру Саблина на Тележной; вслед за ней ушел Суханов; потом я помогла Грачевскому и Кибальчичу наполнить гремучим студнем две остальные жестянки, и их вынес Кибальчич. Итак, в *8 часов утра*, 1-го марта, четыре снаряда были готовы после 15-ти часов работы трех человек. В 10 ч. утра на Тележную пришли Рысаков, Гриневицкий, Емельянов и Тимофей Михайлов. Перовская, все время руководившая ими вместе с Желябовым, дала им точные указания, где они должны стоять для действия, а потом, после проезда царя, где сойтись.

2. 1-е марта.

По распоряжению Комитета, 1-го марта я должна была оставаться до 2-х часов дня дома, для приема Кобозевых, так как Якимова должна была выйти из магазина за час до проезда государя, а Богданович—вслед за сигналом, что царь показался на Невском; сомкнуть же электрический ток должно было третье лицо, которое могло выйти из лавки, в качестве постороннего человека, в том случае, если бы ему не было суждено погибнуть под развалинами от взрыва, произведенного его рукой.

В 10-м часу этот человек пришел ко мне. Я с удивленьем увидела, что из пренесенного свертка он вынимает колбасу и бутылку красного вина и ставит на стол, приготовляясь закусывать. В том возбужденном состоянии, в каком я находилась после нашего решения и бессонной ночи, проведенной в приготовлениях, мне казалось, что ни есть, ни пить невозможно. "Что это"?—почти с ужасом спросила я,

видя материалистические намерения человека, обреченного почти на верную смерть под развалинами от взрыва. „Я должен быть в полном обладании сил“,—спокойно ответил товарищ, и невозмутимый, принялся за еду. Пред этим отсутствием мысли о возможной гибели, пред этим единственным помышлением, что для выполнения взятой на себя обязанности надо быть в полном обладании сил,—я могла лишь безмолвно преклониться.

Ни Богданович, ни Якимова к нам не явились; вернулся Исаев и с ним несколько членов с известием, что царь мимо лавки не проехал и из манежа проследовал домой. Упустив совершенно из виду, что они не следили за обратным маршрутом государя и не были оповещены о последнем решении Комитета—действовать, во что бы то ни стало, хотя бы одними бомбами, я ушла из дома, думая, что покушение не состоялось, вследствие каких-нибудь непредвиденных причин.

На деле царь, действительно, не поехал по Садовой, но Перовская выказала тут все свое самообладание. Быстро сообразив, что путем, по которому государь поедет обратно, будет набережная Екатерининского канала, она изменила весь план, чтобы действовать уже одними бомбами. Она обошла метальщиков и поставила их на новые места, условившись о сигнале, который даст, махнув платком.

В начале третьяго часа один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы: бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора; смертельно раненые — и царь, и метальщик через несколько часов были бездыханны.

Когда, после возвращения Исаева, я вышла из дома, все было спокойно; но через полчаса после того, как я зашла к Г И. Успенскому, к нему пришел Иванчин-Писарев с известием, что были какие-то взрывы, на улицах идет молва, что государь убит, а в церквах уже присягают наследнику.

Я бросилась к своим; на улицах повсюду шел говор, и было заметно волнение: говорили о государе, о ранах, о крови и смерти. Когда я вошла к себе, к друзьям, которые еще ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие: тяжелый

кошмар на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников - все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России.

В этот торжественный момент все наши помыслы заключались в надежде на лучшее будущее родины.

Чрез короткое время приехал Суханов, радостный и возбужденный, обнимавший и поздравлявший всех по поводу этого будущего. Редактированное нами через несколько дней письмо к Алексанору III достаточно характеризует общее настроение петроградских членов партии в период, последовавший за первым марта. Оно составлено с умеренностью и тактом, вызвавшими сочувствие во всем русском обществе. Опубликованное на Западе, оно произвело сенсацию во всей европейской прессе; самые умеренные и ретроградные органы заявили одобрение требованиям русских нигилистов, находя их разумными, справедливыми и значительной частью своей вошедшими давным-давно в повседневный обиход западно-европейской жизни.

3-го марта Кибальчич принес на нашу квартиру весть, что открыта квартира Гельфман (на Тележной улице); что Гельфман арестована, а Саблин, с виду всегда беззаботный весельчак, вечно игравший в остроумие, застрелился. Он рассказал также о вооруженном сопротивлении человека, явившегося в дом после ареста Гельфмана и оказавшегося рабочим Т. Михайловым. Первою мыслью лиц, знавших состав посетителей квартиры Гельфман, имевшей специальное назначение и потому для большинства агентов не известной, было, что она указана Рысаковым. В виду этого соображения, Комитет отменил свое решение, чтоб Кобозевы оставили свою лавку лишь после того, как мина будет очищена от динамитного заряда: они должны были не только в тот же день бросить магазин, но и выехать вечером из Петербурга.

В три часа к нам зашел Богданович, чтоб проститься со мной перед отъездом-- он выезжал первым. С тех пор я

не видалась с ним до октября и ноября того же года, которые я провела в Москве, где находился и он. Это было в последний раз, потому что, когда, в марте 1882 года, я приехала в Москву, он был уже арестован.

Вечером 3-го марта на квартиру зашла Якимова, чтобы перед отъездом переменить костюм: она заперла лавку, чтобы уже не возвращаться. В тот же день Комитет удалил из Петербурга еще некоторых членов.

Прошло не более недели,—и мы потеряли Перовскую, предательски схваченную на улице. Вслед за ней погиб Кибальчич, как говорят, по доносу хозяйки, а у него был арестован Фроленко, попавший в засаду. Потом был взят Иванчин-Писарев. Белый террор открыл свои действия.

Тогда мы считали, что у правительства был человек, знавший многих агентов в лицо и указывавший их на улице. Теперь, после открытия полицейских архивов, обнаружилось, что одним из предателей был рабочий Окладский, осужденный на каторгу по процессу А. Квятковского в 80-м году. В виду опасности пребывания в Петербурге некоторые из нас, по предложению Комитета, должны были выехать, в том числе и я. Но все мы были одушлены желанием воспользоваться горячим временем для организационных целей партии: мы видели вокруг себя сильнейший энтузиазм; смиренно сочувствующие, люди, пассивные и индифферентные, расшевелились, просили указаний, работы, всевозможные кружки приглашали к себе представителей партии, чтоб войти в сношения с организацией и предложить свои услуги. Если бы честолюбие было руководящим мотивом членов партии, то теперь оно могло бы насытиться, потому что успех был опьяняющий. Тот, кто не пережил с нами периода после 1-го марта, никогда не составит себе понятия о всем значении этого события для нас, как революционной партии. Понятно, что удаление в такой момент из Петербурга было тягостно для всякого человека, верящего в свои силы и думающего, что интересы дела требуют его присутствия, даже вопреки требованиям благоразумия. Поддерживаемая Сухановым, я представила Комитету такие аргументы в защиту моего желания остаться на месте, что Комитет разрешил

мне это, но, к сожалению, не надолго. 1-го апреля Григорий Исаев не вернулся домой: он был схвачен, как потом я узнала, каким то предателем на улице, подобно некоторым другим товарищам, погибшим в течение марта месяца. Так как во избежание беспокойств и недоразумений, мы придерживались правила, что хозяева общественных квартир не имеют права проводить ночь вне дома, если предварительно не уговорились об этом, то в 12 часов ночи, 1-го апреля, я уже не сомневалась, что Исаев арестован.

В то время наша квартира, в силу разных обстоятельств. мало-по-малу превратилась в склад всевозможных вещей: после ликвидации рабочей типографии к нам был перенесен шрифт и прочие ее принадлежности; когда закрылась химическая лаборатория, Исаев привез к нам всю ее утварь и большой запас динамита; Перовская передала нам же динамит и все другое, что сочла нужным вынести из своей квартиры; после ареста Фроленко, мы получили половину паспортного стола; в довершение всего, вся литература, все издания шли из типографии „Народной Воли“ к нам и наполняли громадный чемодан, найденный потом в нашей квартире пустым. Такое богатство не должно было погибнуть, я решила спасти все и уйти из квартиры, оставляя ее абсолютно пустой.

2-го апреля, вместо того, чтобы искать кого-нибудь из своих, я решилась ждать прихода к себе и принялась приводить революционное имущество в удобовыносимый вид. Был уже 1 час дня, когда на квартиру зашел Грачевский. Он сообщил мне, что товарищи считают меня уже погибшей, так как с ранняго утра дворники дефилируют в градоначальстве перед арестованным накануне молодым человеком, отказавшимся назвать себя и указать свою квартиру. По описаниям дворников, уже побывавших у градоначальника, никто не сомневался, что это—Исаев. Тем не менее, Грачевский одобрил мое желание спасти вещи; я просила его дать знать об этом Николаю Евгеньевичу Суханову, как человеку столь энергичному и решительному, что самое невозможное кажется ему всегда возможным.

Через несколько часов Суханов явился в сопровождении двух морских офицеров, и с обычной распорядитель-

ностью в течение двух часов удалил с квартиры все что нужно; остались два узла с вещами, не представляющими особой ценности. Это было уже в 8 часов вечера. Тогда он потребовал, чтоб я тотчас же ушла из дома; но я не видела никакой нужды уходить до утра, потому что была уверена, что Исаев квартиры не назовет, а непоявление до сих пор полиции объясняла тем, что дворники нашего дома еще не собрались пойти на призыв; я думала, что ночью Исаеву дадут покой и потому не видела риска оставаться у себя. После этих аргументов Суханов оставил меня, обещав на утро прислать двух дам за остальными вещами. Поутру 3-го апреля, когда я вышла осмотреть окрестности, в воротах стояло Щедринское „гороховое пальто", делавшее внушение дворникам: „Непременно до 12-ти часов! непремено до 12-ти часов!". Было ясно, что дворников зовут в градоначальство. Тогда я выставила условный сигнал, что квартира еще безопасна; в нее почти тотчас вошли две знакомые и унесли последние узлы, прося не медлить уходом. Дождавшись женщины, которая приходила убирать нашу квартиру и под приличным предлогом выпроводив ее, я вышла, заперев свое опустошенное жилище. Говорят, жандармы прибыли на нашу квартиру, когда самовар, из которого я пила чай, еще не остыл: они опаздали на час или полтора.

Этот день, 3-го апреля, был днем казни наших цареубийц. Погода была чудная: небо ясное, солнце лучезарно-весеннее, на улицах—полная ростепель. Когда я вышла из дома, народное зрелище уже кончилось, но всюду шел говор о казни, и в то время, как сердце сжималось у меня от воспоминаний о Перовской и Желябове, я попала в вагон конки, в котором люди возвращались с Семеновского плаца, на котором происходило зрелище. Многие лица были возбужденные, но не было ни раздумья, ни грусти. Как раз против меня сидел в синей свитке красавец-мещанин, резкий брюнет с курчавой бородой и огненными глазами. Прекрасное лицо было искажено страстью—настоящий опричник, готовый рубить головы.

После Шлиссельбурга, в Архангельскую ссылку Александра Ивановна Мороз привезла мне прекрасную большую гравюру с

картины Сурикова: „Боярыня Морозова". Она привезла ее, потому что знала какое большое место в моем воображении в Шлиссельбурге занимали личность протопопа Аввакума и страдалица за старую веру боярыня Морозова, непоколебимо твердая и вместе такая трогательная в своей смерти от голода.

Гравюра производила волнующее впечатление. В розвальнях, спиной к лошади, в ручных кандалах, Морозову увозят в ссылку, в тюрьму, где она умрет. Ее губы плотно сжаты, на исхудалом, красивом, но жестком лице—решимость итти до конца; вызывающе, с двуперстным крестным знамением поднята рука, закованная в цепь. Кругом—народная толпа московской улицы времен царя Алексея Михайловича. Что ни лицо, то другое выражение: есть в толпе робкие, устрашенные; есть немногие с затаенным сочувствием; есть злобно ликующие.

Гравюра говорит живыми чертами: говорит о борьбе за убеждения, о гонении, и гибели стойких, верных себе. Она воскрешает страницу жизни... 3-е апреля 1881 г. Колесницы цареубийц... Софья Перовская... Красавец мещанин в синей суконной свитке. Прекрасное лицо, искаженное страстью, лицо опричника, готового рубить головы.

3. Перовская.

Софья Львовна Перовская по своей революционной деятельности и судьбе, как первая русская женщина, казненная по политическому делу, представляет одно из немногих лиц, которые перейдут в историю.

С точки зрения наследственности и влияния окружающей среды любопытно, что эта аскетка-революционерка была по происхождению правнучкой Кирилла Григорьевича Разумовского, последнего гетмана малороссийского, внучкой губернатора в Крыму в царствование Александра I и дочерью губернатора Петербурга при Александре II.

По случайному стечению обстоятельств ее обвинителем в особом присутствии сената по делу первого марта являлся человек, бывший в прошлом ее товарищем детских игр.

В Пскове, где Перовская жила раньше, родители Софьи Львовны и ее будущего обвинителя были сослуживцами и жили рядом, так что дети постоянно встречались[1]).

Этот обвинитель в своей речи переступил границы прокурорских обязанностей и, кроме обычных в этих случаях упреков в кровожадности, бросил слово „безнравность“. Это был Н. В. Муравьев, впоследствии министр юстиции, страж закона, попиравший этот закон, просвещенный юрист, говоривший о судебных уставах 1864 года, что их основы — наилучшие из до сих пор выработанных во всем цивилизованном мире и, тем не менее, потрясавший эти основы. Это был Муравьев-законник, которого русское правительство посылало в Париж, чтоб добиться от свободной республики нарушения права убежища, гарантированного законом этой республики: выдачи Льва Гартмана, революционера, хозяина того дома, из которого был произведен взрыв царского поезда под Москвой 19-го ноября 1879 года. Тот Муравьев,—служитель нелицеприятного правосудия,—о котором, в его бытность министром юстиции, шла широкая молва, как об одном из крупнейших взяточников того времени.

Условия детства заронили в душу Перовской никогда не потухавшие лучи человечности и чувства чести. В поколении, отцы которого пользовались крепостным правом, крепостнические нравы, с их неуважением к человеческой личности, вносимые в семейные отношения, нередко развивали в детях, в противовес отцам, протест и отвращение к деспотизму. Так было и с Перовской. Ее отец, Лев Николаевич Перовский, был крепостник из крепостников, оскорблявший мать своих детей не только самолично, но и принуждавший ребенка-сына оскорблять действием эту мать, типичную для той эпохи женщину скромной душевной красоты и кротости. В тяжелой атмосфере семьи Софья Львовна научилась *любить человека*, любить страдающих, как она любила страдавшую мать, с которой до последних трагических дней жизни не прерывала нежных отношений. Во время суда надо мной, надзирательницы дома предварительного

---

[1]) Сам Муравьев, после моего ареста, говорил мне это.

заключения рассказывали мне, что во время процесса Перовской, на свиданьях с матерью, вызванной из Крыма, Софья Львовна мало говорила. Как больное, измученное дитя, тихая и безмолвная она все время полулежала, положив голову на колени матери. Два жандарма день, и ночь сидевшие в камере Перовской, находились тут же.

Едва начав жить сознательною жизнью, Перовская решила покинуть семью, оставаться в которой морально ей было невыносимо. Но отец не хотел выдать ей отдельного паспорта и, в случае ухода, грозил вернуть в отчий дом при помощи полиции. Перовская не отступила, и ушла от родителей, скрывшись у своих подруг по Аларчинским курсам[1])—сестер Корниловых. Вместе с одной из них — Александрой Ивановной (впоследствии Мороз) — она судилась потом по процессу 193.

Быть может, унаследовав от матери нежную душу, Перовская, как член кружка чайковцев, к которому принадлежали и Корниловы, весь запас женской доброты и мягкости отдала трудящемуся люду, когда обучившись фельдшерству, соприкоснулась в деревне с этим людом в качестве пропагандистки-народницы. В воспоминаниях свидетелей ее тогдашней жизни говорится, что было что-то матерински нежное в ее отношении к больным, как и вообще к окружающим крестьянам. Какое нравственное удовлетворение ей давало общение с деревней и как трудно ей было оторваться от этой деревни, убогой и темной, показывало ее поведение на воронежском с‘езде и колебание в виду распадения Общества „Земли и Воли“ на „Народную Волю“ и „Черный Передел“. Тогда мы обе—она и я—только что покинушие деревню, всеми силами души были еще связаны с нею. Нас приглашали к участию в политической борьбе, звали в город, а мы чувствовали, что деревня нуждается в нас, что без нас—темнее там. Разум говорил, что надо встать на тот ж путь, на котором стоят наши товарищи, политические террористы, упоенные борьбой и одушевленные успехом. А чувство говорило другое, настроение у нас было иное,

---

1) Один из первых в Петербурге высших женских курсов.

оно влекло в мир обездоленных. Конечно, мы не отдавали тогда себе отчета, но впоследствии это настроение было правильно определено, как стремление к чистой жизни, к личной святости. Но как об этом было раньше сказано, после некоторого раздумья, мы победили свое чувство, свое настроение и, отказавшись от морального удовлетворения, которое давала жизнь среди народа, твердо стали рядом с товарищами, политическое чутье которых опередило нас.

С тех пор во всех террористических замыслах Исполнительного Комитета „Народной Воли" Перовская занимает первое место. Это она является приветливой простушкой-хозяйкой убогого домишка на московской окраине, купленного за 700—800 руб. на имя Сухорукова, игравшего роль ее мужа—мелкого железнодорожного служащего

В решительный момент это она остается со Степаном Ширяевым в домике, где, при приближении царского поезда, должен быть сомкнут электрический ток.

Всегда бдительная, всегда готовая, она во время подает нужный сигнал, и не по ее вине крушится не тот поезд, в котором царь, а тот, в котором царские служащие.

Затем, после взрыва 5-го февраля, в Зимнем дворце летом 1880 года, она приезжает в Одессу для подкопа и мины на Итальянской улице.

И, наконец, в 1881 году, когда подготовляется седьмое покушение Исполнительного Комитета, подготовляется 1-е марта—Перовская организует вместе с Желябовым отряд лиц, следящих за выездом государя, будущих сигналистов при выполнении драмы, и руководит метальщикам бомб не только в подготовительный период, но и в день 1-го марта, когда указывает на совершенно новую диспозицию, благодаря которой император погибает от двух бомб, брошенных террористами.

Конечно, как при всяком сложном замысле, со многими участниками, трудно разграничить, что каждым внесено в общее дело, все же думается, что будет только справедливостью сказать: не будь Перовской, с ее хладнокровием и несравненной обдуманностью и распорядительностью, факт цареубийства мог и не пасть на этот день.

День спасла она, и заплатила за него жизнью.

Я познакомилась с Софьей Львовной в 1877 году в Петербурге, когда она, как подследственная по делу 193-х, находилась на поруках. Ее привела ко мне Александра Ивановна Корнилова и оставила ночевать. Ее наружность обратила на себя мое внимание: в своей сорочке деревенского покроя она походила на молодую крестьянскую девушку, с ее небольшой русой косой, светло-серыми глазами и по детски округленными щеками. Только высокий лоб противоречил общему простонародному облику. Во всем белом миловидном личике ее было много юного, простого и напоминающего ребенка. Этот элемент детского в лице сохранился у нее до конца, несмотря на трагические минуты, которые она переживала в мартовские дни.

Глядя на простоту всей ее внешности, никто не подумал бы о среде, в которой она родилась и провела детство и отрочество, а общее выражение лица с мягкими линиями совсем не говорило о сильной воле и твердом характере, которые ей достались, быть-может, по наследству от отца. Вообще, в ее натуре была и женственная мягкость, и мужская суровость. Нежная, матерински-нежная к людям из народа, она была требовательна и строга по отношению к товарищам-единомышленникам, а к политическим врагам—к правительству — могла быть беспощадной, что приводило почти в трепет Суханова: его идеал женщины никак не мирился с этим. Когда кончился процесс 193-х, ее квартира в Петербурге была центром, в котором сходились освобожденные товарищи по суду, но только „протестанты", не признававше этого суда и не присутствовавшие потому на заседаниях его. Сильная личность Мышкина с его знаменитой речью на суде произвела на нее такое сильное впечатление, что мысль об освобождении его из Чугуевского централа Харьковской губернии, сделалась ее idée fixe. Много энергии отдала она на попытки осуществления ее.

Самыми любимыми товарищами Перовской были люди, выдающиеся по своим духовным качествам, но совершенно не похожие друг на друга—один полный блеска, другой—совершенно лишенный его: Желябов и Фроленко—„Михайло",

как она и все товарищи звали его. На воронежском съезде я впервые встретилась с этими двумя, и Перовская, знавшая их и до этого, много говорила мне о их превосходных качествах, но можно было заметить, что, как ни ценит она „Михайлу“, Желябов прямо восхищает ее.

Перовская, согласно идеалам нашей эпохи, была великой аскеткой. Я уж не говорю о скромности всего домашнего обихода повседневной жизни, но вот характерный образчик ее отношения к общественным деньгам. В один из мартовских дней она обратилась ко мне: „Найди мне рублей 15 взаймы. Я истратила их на лекарство—это не должно входить в общественные расходы. Мать прислала мне шелковое sortie de bal; портниха продаст его, и я уплачу долг“. До такого ригоризма у нас, кажется, еще никто не доходил.

В те же памятные дни я познала всю ее деликатность и безкорыстную заботу о товарищах. Дело состояло в следующем: после ареста Желябова 27-го февраля, квартира его и Перовской, как я говорила, 28 го была очищена от нелегального имущества и покинута. С этого дня и до 10-го марта, когда Перовскую арестовали близь Аничкова дворца, она ночевала то у одних, то у других друзей. При тогдашних обстоятельствах такое неимение своего угла было особенно тягостно и совершенно не вызывалось необходимостью, так как мы имели несколько общественных квартир, где каждый товарищ мог считать себя равноправным хозяином и быть, как у себя дома.

Вот разгадка: в то время, время диктатуры Лорис-Меликова, не уберегшего императора от руки террористов, в Петербурге, среди полиции, как и среди жителей, поднялась паника. Полиция, не досмотревшая, должна была оправдать себя и подняла всех на ноги для отыскания крамолы. Самые зловещие слухи ходили в перепуганной публике: говорили о повальных ночных обысках не только целых домов, но и целых кварталов. А мы, народовольцы, теряли одного за другим наших членов, которых арестовывали, неожиданно, на улице или на квартирах без признаков какого-либо слежения.

„Верочка, можно у тебя ночевать?—спросила Перовская за день или два до ее ареста. Я смотрела на нее с удивлением и упреком: „Как это ты спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!“ —„Я спрашиваю, — сказала Перовская,—потому что, если в дом придут с обыском и найдут меня,—тебя повесят“. Обняв ее и указывая на револьвер, который лежал у изголовья моей постели, я сказала: „С тобой или без тебя если придут, я буду стрелять“.

Такова была душа Перовской, частица души ее, потому что только частица ее была приоткрыта мне: в то спешное время мы слишком поверхностно относились к психологии друг друга: мы действовали, а не наблюдали.

Она была женщина: ей могло быть больно, физически больно. Когда в черном арестантском платье, во дворе дома предварительного заключения ее возвели на колесницу, посадив спиной к лошади и повесив на грудь доску с надписью „цареубийца“, то руки ее скрутили так туго, что она сказала: „Отпустите немного: мне больно“.

— После будет еще больнее, — буркнул грубый жандармский офицер, наблюдавший за всем поездом.

Это был тюремщик Алексеевского равелина, в котором, немного спустя, медленной смертью умерщвляли наших народовольцев, он же—последний комендант нашего Шлиссельбурга—Яковлев.

На Семеновский плац привезли таким же образом остальных четырех первомартовцев: Желябова—крестьянина, создателя бомб, Кибальчича—сына священника, Тимофея Михайлова—рабочего и Рысакова—мещанина, эмблематически представлявших все сословия Российской Империи.

На эшафоте Перовская была тверда всей своей стальной твердостью. Она обняла на прощанье Желябова, обняла Кибальчича, обняла Михайлова. Но не обняла Рысакова, который, желая спастись, выдал Тележную улицу и погубил Саблина, застрелившегося, погубил Гесю Гельфман, умершую в доме предварительного заключения, погубил Т. Михайлова которого привел на эшафот.

Так умерла Перовская, верная себе в жизни и в смерти.

4. Значение 1-го марта.

Что бы ни говорили и что бы ни думали о 1-м марте, его значение было громадно. Чтобы оценить его, необходимо припомнить, среди каких условий оно совершалось. Оно прервало 26-летнее царствование императора, который открыл для России новую эру, поставив ее на путь общечеловеческого развития; после векового застоя, он дал ей громадный толчок вперед реформами: крестьянской, земской и судебной. И первая и величайшая из этих реформ, крестьянская, в экономическом отношении уже в самом начале не удовлетворяла требованиям лучших представителей общества (членов редакционных комиссий) и литературы, а когда со времени ее осуществления прошло 15 лет, и период славословий перешел в период критики, то журналистика открыто провозгласила ее проведенною под давлением поместного сословия, компромиссом, совершенно несоответствовавшим предположенной цели—„улучшения хозяйственного быта сельского сословия для правильного отбывания им податей и повинностей". Труды Янсона, кн. Васильчикова и других исследователей показали полное расстройство экономического быта крестьян: малоземелье, развитие сельского пролетариата и такое несоответствие крестьянских платежей с доходностью их земель, что князь Васильчиков уподоблял положение нашего крестьянства безвыходному состоянию французского сельского сословия перед революцией 1789 года и грозил России теми же бедствиями, которые разразились во Франции в конце XVIII столетия. Правительственные комиссии подтвердили и засвидетельствовали разорение народных масс.

Другие преобразования под усилившимся влиянием противников реформ и реакции, проявившейся в самом императоре, были урезаны и искажены разными дополнениями, изъятиями, разъяснениями. Мало-по-малу, общественные силы и правительственная власть пошли врозь, общественные элементы потеряли всякое влияние на течение государственной жизни, на ход управления.

Неудовлетворенность в самом начале царствования части общества разразилась в 60-х годах общими волнениями студенчества и выразилась процессами Чернышевского, Михайлова, каракозовцев, нечаевцев. Эти выражения недовольства, вмести с волнениями, вызванными польским восстанием, послужили сигналом к обострению реакции, сторонники которой воспользовались ими, как нельзя лучше: к началу 70-х годов разрыв между правительством и обществом был уже полный. С тех пор бунт части подданных против порядка управления, поддерживаемого государем, сделался, можно сказать, хроническим. Но каждое проявление этого бунта влекло еще тягчайший гнет, который, в свою очередь, вел к более острому отпору. В конце 70-х годов вся внутренняя жизнь Россия, вся ее внутренняя политика обратились в борьбу с крамолой. Явились генерал губернаторства, военные суды, государственная охрана и немилосердные казни, но вместе с тем, явилась эпидемия цареубийств.. И в то время, как государственная власть выставила все свои чрезвычайные средства для борьбы со злом, ни штыки сотни тысяч войск, ни толпа охранителей и шпионов, ни золото царской казны — ничто не уберегло повелителя 80-ти миллионов, и он пал от руки революционера.

Поучительный характер 1-го марта заключается именно в том, что это был финал двадцатилетней борьбы между правительством и обществом. 20 лет преследований, жестокостей и стеснений, имевших в виду меньшинство, но обременявших всех, и в результате — Рысаков со своим: „Посмотрим еще, все ли благополучно!“. Убийство императора случилось среди общей уверенности, что покушение произойдет; при этом все общество было разделено на два лагеря, из которых один опасался, а другой с нетерпением ожидал этого события. Такое положение было беспримерно в летописях народов, и могло заставить задуматься философа, моралиста и политика. Бомба Исполнительного Комитета, потрясшая всю Россию, поставила ей вопрос: где выход из ненормального положения вещей? где его причины? и что же будет дальше, если в жизнь не будет внесено ничего нового? Мы думали, что бесплодность правительственных стремлений

сломить революционное движение репрессиями, несостоятельность попыток устранить недовольство устранением наиболее энергичных недовольных личностей,—была доказана воочию предшествующим двадцатилетним опытом, завершившимся событием 1-го марта, и если не император, то Россия вывела из него должное заключение. Мы думали, что общественное мнение, свободно выраженное, предложило бы для прекращения внутренней междоусобицы не борьбу с отдельными проявлениями недовольства, но уничтожение самой причины этого недовольства; а эту причину оно указало бы не в отдельных агитаторах и выдающихся личностях, поимкой которых правительство тщетно надеялось умиротворить умы, но в общем стеснении, в полном отстранении образованного класса от влияния на жизнь народа и государства, в отсутствии какого бы то ни бы поприща для деятельности, не преследующей цели грабежа и личной наживы; в полном противоречии между политикой правительства, с одной стороны, и интересами и потребностями народа и интеллигенции—с другой. И в случае продолжения прежнего режима, оно выставило бы неизбежность повторения 1-го марта при обстановке, быть-может, еще более трагической.

Таким образом, дилемма, поставленная ребром, казалась нам разрешенной в общественном сознании и ждущей лишь момента для воплощения в жизнь. Необычайность условий, среди которых произошло событие 1-го марта, и самая грандиозная его способствовали в высшей степени уяснению этого сознания, и отрицать его значение в этом смысле для общества невозможно.

Но 1-е марта взволновало и весь мир крестьянства; оно вывело его из сферы обыденных забот и деревенских интересов и сосредоточило его внимание на вопросе: „Кто убил царя и за что его убили“? Все, кто жил в то время и много после в деревне, единогласно свидетельствовали, что умерщвление императора и мотивы этого умерщвления глубоко волновали крестьянский ум и заставляли его усиленно работать. В результате этой работы могло быть лишь два решения: истина, что царь убит социалистами, борющимися за интересы народа, желающими добыть народу землю и осво-

бодить его от гнета чиновников; или другое: что против царя бунтуют баре, помещики за свои права, что он убит за освобождение крестьян и в надежде вернуть крепостное право. В одном случае, народ связывался с партией солидарностью интересов, и партия приобретала в массах точку опоры, какой не доставили бы десятки лет пропаганды словом; в другом—у него накипала злоба против имущественного класса; эта злоба при том ужасном экономическом состоянии, в каком находился народ, могла разразиться избиением привилегированного сословия, которое мало чем отличалось бы от истребления римских патрициев ломбардинцами при нашествии их в Италию, или ужасов Пугачевского бунта. При этом задачей партиибыло бы лишь воспользоваться взрывом народных страстей и народного негодования. И в том, и в другом случае союз революционной борьбы с народом являлся перспективой, открытой первым марта.

По отношению к самой партии и к постановке революционного дела вообще, это событие имело громадную важность: в глазах сторонников оно вознесло Комитет на небывалую высоту: „Приди и владей нами“,—было единодушным восгласом, обращенным к нему; оно создало такую атмосферу, которая могла удовлетворить требованиям самого пламенного революционера и, если можно было о чем пожалеть, так о том, что жатва обильна, а жнецов мало.

Но, кроме того, что партия „Народной Воли“ приобрела 1-го марта самую выгодную для себя позицию и новые шансы к расширению своей организации, этот момент был торжеством идеи организации вообще. Никаких сил единичной личности или даже отдельного кружка не хватило бы на ведение и довершение двухлетней борьбы с ее замечательными эпизодами и концом; борьбы, в которой на одной стороне были все преимущества власти и материльной силы, а на другой—только энергия и организация. Необходимость организации в борьбе с правительством, организация, как единственное условие возможности победы, вот что провозгласило 1-е марта. После этого нечего уже было пропагандировать эту мысль,—она сделалась общим достоянием среды, из которой выходили члены партии.

Обратной стороной этого крупного момента истории революционного движения выставлялось то, что 1-е марта не вызвало народного восстания, не сопровождалось попытками к инсуррекции по городам и не заставило правительство ни предпринять коренных изменений в экономическом и политическом строе России, ни сделать уступок требованиям недовольных. Относительно первого можно положительно сказать, что партия никогда и нигде, ни в органе, ни в программе, ни в устных разъяснениях ближайших своих целей и задач, не указывала на цареубийство, как на средство непременно произвести народное восстание; это восстание могло составлять надежду отдельных лиц, но не рассчет партии. Ожидания инсуррекции истекали из незнания положения дел организации, слишком еще молодой для осуществления подобных попыток, и если в революционной среде были даже недовольные тем, что их предположения не сбылись, то это были люди, привыкшие жать там, где не сеяли: инсуррекция была еще делом будущего, требовавшим много трудов.

Что же касается того, что 1-е марта не привело к практическим результатам в смысле экономического и политического переустройства России, то это вполне справедливо. Но, не будучи в состоянии совершить это переустройство силами революционными, партия никогда не рассматривала верховную власть в современной ее организации силой, способной искренно взять на себя почин в этом деле; правда, она ждала уступок, послаблений, прекращения реакции, доли свободы, которая сделала бы существование сносным и мирную деятельность—возможной: в этом она ошиблась, что было весьма печально и худо, но худо не для одной революционной партии, а и для народа, и для общества, для имущих классов и для бюрократии, для всего государства и для главы его; худо потому. что влекло в будущем новые катастрофы, новые политические и социальные смуты. Едва ли в то время в России находилось много людей, которые верили бы в будущее мирное преуспеяние своего отечества и спокойное житие своего монарха, а если нет этой веры, этой уверенности, то будущее должно было являться

сумрачным и тревожным. В свое время это будущее должно было сказать свое слово.

Здесь необходимо сказать еще несколько слов о той деморализации, которая вносилась в общество приемами борьбы правительства и революционной партии. Как всякая борьба, стоящая не на почве идей, а на почве силы, она сопровождалась насилием. А насилие, совершается ли оно над мыслью, над действием или над человеческой жизнью, никогда не способствует смягчению нравов. Оно вызывает ожесточение, развивает зверские инстинкты, возбуждает дурные порывы и побуждает к вероломству. Гуманность и великодушие несовместимы с ним. И в этом смысле правительство и партия, вступившие, что называется в рукопашную, конкурировали в развращении окружающей среды. С одной стороны, партия провозглашала, что все средства хороши в борьбе с противником, что здесь цель оправдывает средства; вместе с тем, она создавала культ динамита и револьвера и ореол террориста; убийство и эшафот приобретали пленительную силу над умами молодежи, и чем слабее она была нервами, а окружающая жизнь тяжелее, тем больше революционный террор приводил ее в экзальтацию: когда жить приходится мало, так что результаты идейной работы могут быть еще незаметны, для деятеля, является желаиие видеть какое-нибудь конкретное, осязательное проявление своей воли, своих сил—таким проявлением тогда мог быть только террористический акт с его насилием. Общество, не видя исхода из существующего положения, частью сочувствовало насилиям партии, частью смотрело на них, как на неизбежное зло, но и в этом случае апплодировало отваге или искусству борца, а повторение событий вводило их в норму его жизни.

Но мрачная сторона революционной деятельности смягчалась солидарностью и братством во внутренних отношениях единомышленников; кроме того, насилие партии покрывалось знаменем блага народа, защиты угнетенных и оскорбленных; окружающие примирялись с ним за бескорыстие мотивов; оно искупалось отречением от материальных благ, неудовлетворенностью революционера в личной жизни, ко-

торая вся ломалась, раз он вставал на свой опасный путь: оно искупалось тюрьмой, ссылкой, каторгой и смертью. Таким образом, если общество грубело, привыкая к насилиям революционной партии, то оно видело вместе с тем, если не в ее целом, то в отдельных представителях ее, образцы самопожертвования, героизма, людей с недюжинными гражданскими добродетелями. На-ряду с партией, но в более грандиозных размерах, практиковалось насилие правительства: сковывалась мысль, запрещалось слово, отнималась свобода и жизнь: административная ссылка была обычным явлением, тюрьмы были переполнены; казни считались десятками. Вместе с тем, на Каре практиковались побои, в центральных тюрьмах — унизительное обращение; по всем тюрьмам грубое насилие; в доме предварительного заключения высекли Боголюбова и оскорбляли стыдливость женщин [1]).

Ожесточались исполнители, озлоблялись потерпевшие, их родные, друзья и знакомые; общество привыкало к унижению человеческого достоинства; зрелище казней возбуждало кровожадность толпы. Возмездие, око за око и зуб за зуб — делалось девизом для всех. Для предотвращения государственных опасностей была нужна тайная полиция: правительственное золото создавало толпу шпионов; они вербовались во всех слоях населения, между ними были генералы и баронессы, офицеры и адвокаты, журналисты и врачи, студенты и студентки, увы, были даже гимназистки, девочки 14 лет, а в Симферополе, в жандармском управлении, вовлекли в шпионство и предлагали денежное вознаграждение гимназисту-мальчику 11 лет. Известно, что нет страсти более сильной и ведущей к более низким преступлениям, как страсть к золоту. Персидское золото заставило вождей Греции продавать свое отечество: 30 сребренников прельстили Иуду Искариота. Наше правительство широко пользовалось корыстолюбием и алчностью человеческого рода и извлекало всевозможную пользу из могущества золота. „Черная книга"

---

[1]) Обнажение донага в присутствии трех врачей-мужчин Малиновской, Коленкиной и Евгении Фигнер

русской монархии, раскрытая Клеточникову, навсегда останется грязным пятном нравов того времени. Молодые женщины употребляли чары красоты и молодости для вовлечения и предательства; шпионы являлись инициаторами, организаторами и двигателями революционного дела; Рачковский в Петербурге, Рейнштейн в Москве, Забрамский в Киеве — вот герои правительственного лагеря, блиставшие на тогдашнем горизонте. Удачный донос, вероломнейшее предательство, ловкий подвох при следствии, как средство вырвать признание, создание, ценой благосостояния десятков лиц, грандиозного процесса путем самых искусственных натяжек — вот что давало денежную премию или повышение по службе. К этому присоединялось вовлечение слабых в отступничество. Отмена наказания, забвение прошлого, деньги и свобода, все служило средствами обольщения. Веледницкий, Пиотровский, Курицын, Меркулов et tutti quanti. Этим наносился нам, революционерам, глубочайший нравственный удар, который колебал веру в людей. Не так больно было потерять свободу, как бывшего товарища, ради которого вы были готовы рисковать собой, которому вы доверяли, которого вы оберегали и которому оказывали всевозможные братские услуги, увидать рядом с жандармом, чтобы задержать вас и услышать циничные слова: „Что, не ожидали“?

Конечно, все это совершалось в видах „законного“ правосудия, ради спасения отечества или того порядка, в котором хотели сохранить это отечество. Но кто же будет отрицать все глубокое падение человеческой личности, выражаемое этими фактами? Но настоящая нравственная язва распространялась и другим, еще более губительным, путем: наши ряды хотели расстроить возбуждением недоверия друг к другу; шпионскими проделками и полицейскими штуками старались набросить тень подозрения на некоторых товарищей, шедших с нами рука-об-руку; необдуманность и неосторожность одних, случайное стечение обстоятельств, подстроенных рукою сыщика против других, служили средством заронить в революционном товариществе мрачную мысль о продажности и предательстве его членов; политика состояла в том, чтобы создать положение, когда брат восстанет на

брата. И в самом деле, мы были не далеки от того времени, когда наши руки могли обагриться кровью, быть может, столь же невинной, как кровь Иванова, пролитая Нечаевым.

Я лично в последние два года перед арестом испытала три случая, когда была на краю преступления. Одного я решалась отравить собственноручно, потому что я ввела его в партию,—все были убеждены, что этот человек шпион, и если бы не раз'яснилось, к счастью, главнейшее обстоятельство, бывшее уликой против него, он мог погибнуть, а был невинен! В другой раз друзья из-за стен тюрьмы завещали мне разделаться с личностью, которую они называли причиной своей гибели. Эта личность была приведена в соприкосновение с партией мной же; я верила в ее честность и искренность, я поддерживала ее всем, чем могла; как личность молодую, нуждающуюся в теплом отношении, я поручила ее моему лучшему другу, и мне указали на нее, как на предателя, заслужившого удара кинжала.

Я знала юношу, так опутанного шпионскими махинациями, что он являлся изменником в глазах всех; он был близок к самоубийству в отчаянии от павшего на него подозрения; люди знавшие его лично, верили в его невинность, но на вопрос, обращенный ко мне, может ли он продолжать революционную работу, я отвечала, должна была ответить: „Нет". Так создается положение, когда становится положительно „страшно за человека". И если мы, люди, давно примкнувшие к движению, воспитавшиеся на чистых принципах социализма, приготовлявшие себя к мирной пропаганде, прошедшие школу аскетизма и личной нравственности, заслуживали от правительства имя злодеев, то люди, которых оно воспитывало, должны были явиться демонами!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

I. В Одессе.

После тревожных мартовских дней, когда был арестован Исаев и 3-го апреля открыта общественная квартира, хозяевами которой была я и он, Комитет постановил, что я должна выехать из Петербурга и отправиться в Одессу для ведения местных дел, чтоб заменить Тригони.

Тригони был товарищем Желябова по Новороссийскому университету, но в то время, как Желябов был исключен по студенческому делу и отдался революционной деятельности, Тригони кончил юридический факультет, сделался помощником присяжного поверенного и только в 1880 г. присоединился к „Народной Воле", раньше мало принимая участия в революционном движении, захватившем Желябова. Вызванный с юга на совещание по вопросу об инсуррекции, Тригони, как было уже сказано, участвовал в подкопе на М. Садовой и 27-го февраля был арестован вместе с Желябовым в меблированных комнатах, где проживал со времени своего приезда в Петербург [1]). Причиной этого злополучного ареста, по одной версии, был донос из Одессы, но, может быть, он исходил из меблированных комнат, где прислуга подслушивала у дверей, как я однажды заметила, да и хозяйка (Миссюра) вела себя очень подозрительно, без всякой нужды провожая посетителей Тригони с лампой в руке, когда вечером лестница была еще освещена.

---

[1]) Между собой мы называли Тригони „наместником", по совпадению его имени и отчества с именем великого князя, наместника Кавказа. Псевдоним „Милорд", после ареста употреблявшийся полицией, у нас был неизвестен.

Личность Тригони произвела цри аресте некоторую сенсацию среди жандармов, которые находили, что по образованию, происхождению и состоянию он выше той среды, из которой, по выражению жандармских властей, обыкновенно вербуются члены революционных партий. В некотором отношении они были правы: Тригони имел внешность барина, был более избалован чем другие, и по манерам в нем угадывался адвокат, хотя его юридическая карьера только что началась, и никакой клиентуры ни в Петербурге, ни в Одессе он еще не имел. Родители его были помещиками в Крыму; мать, по рассказам, была светской женщиной, что, вероятно, тоже осталось не без влияния. Наружность Тригони, очень верно переданная фотографией в „Былом“ (кн. 3, 1906), была нерусская, и он говорил, что в его жилах есть греческая кровь [1]).

Из лиц, указанных мной в 80-м году, частью же из привлеченных по инициативе самого Тригони, он организовал в Одессе народовольческую группу, с которой теперь мне приходилось иметь дело. Это были, прежде всего, мои друзья: писатель-беллетрист Ив. Ив. Сведенцев (литературный псевдоним — Иванович), бывший военный, превосходный, идеалистически настроенный, но нельзя сказать, чтобы активный человек, лет 35-ти, и дочь богатых родителей—Ольга Пуриц молодая девушка с огнем, энергичная и очень способная. Другими членами были: студент М. И. Дрей, сын врача, весьма популярного среди еврейской бедноты, и Мартино, преподаватель, довольно солидных лет, давний знакомый Тригони по Крыму. В группу после отъезда Тригони входил и Владимир Жебунев, известный мне еще по студенческим годам в Цюрихе. Участник „движения в народ“, судившийся по процессу 193-х и сделавшийся потом нелегальным, Жебунев, в силу своей опытности, являлся естественным главой и руководителем группы. Раньше, в качестве агента Комитета, он ездил с организационными целями в Казань и Саратов. Но у „Народной Воли“ в Казани во все время не было

---

[1]) См. биографию Тригони в моей книжке „Шлиссельбургски узники“. Изд. „Задруга“, М. 1920 г.

нужных связей и там Жебуневу ничего не удалось сделать. Что касается Саратова, то в нем находились лица, занимавшиеся революционной деятельностью еще во времена Общества „Земли и Воли“: Поливанов (будущий шлиссельбуржец), Новицкий, Демчинская и другие. Жебунев предложил им примкнуть официально к „Народной Воле“, образовав группу с определенными обязательствами по отношению к центру, что и было ими исполнено. Группа, очень небольшая, существовала до середины 1882 г., когда Поливанов и Райко сделали неудачную попытку устроить побег Новицкому, попавшему в тюрьму. Все участники этого предприятия были пойманы: Поливанов и Новицкий приговорены к смертной казни, но отправлены: Новицкий на Кару, Поливанов — в Алексеевский равелин. Райко, по одним рассказам, умер от побоев, нанесенных толпой, принявшей устроителей побега за грабителей, а по другим — от огнестрельной раны в голову при вооруженной схватке с конвоем.

Жебунов, подвижной и энергичный, обладал известным образованием, умел и любил поговорить. Более честолюбивый, чем большинство революционеров, он не раз добивался приема в члены Комитета. Его достоинства и способности давали ему достаточные права на это и, повидав его в Одессе, я внесла в Комитет предложение принять его. Его вызвали по этому поводу в Москву, но там вскоре он был арестован по невыясненным причинам. Департаменту полиции не были известны ни его отношения к Комитету, ни его деятельность в Одессе; благодаря этому, он поплатился только административной ссылкой в Якутскую область.

В Одессе он вносил много оживления в деятельность группы и пользовался несомненным влиянием. По взглядам он был скорее социал-демократом, чем народником, которыми в программе заявляли себя народовольцы, не терявшие надежды на деревню. Жебунев определенно смотрел на городской промышленный пролетариат, как на единственную опору в политической борьбе. Считая, вместе с тем, что только рабочий класс является носителем социалистических идей, он думал, что все силы партии должны быть направлены на пропаганду и агитацию в этом классе. Сообразно

с этим, его главной работой в Одессе были сношения с рабочими.

В первой половине семидесятых годов в Одессе замечательным деятелем среди рабочих был Заславский: имея собственную типографию, он вел систематические занятия с рабочими и заложил, более чем кто-либо другой в Одессе, прочную основу для всех последующих деятелей в этой среде[1]). Рабочие, выработавшиеся под его влиянием, были такого уровня, что могли вести дальнейшую пропаганду самостоятельно, без участия интеллигентов. Поэтому революционная традиция на фабриках и заводах в Одессе не прерывалась, и во вторую половину семидесятых годов, кто бы ни вел сношения с рабочими, каждый имел готовых проводников в рабочую массу. Только предательство Меркулова в 1882 году погубило верхний слой этой рабочей интеллигенции. С этой последней имел дело и Жебунев, а вместе с ним М. И. Дрей.

При мне число активных участников в деятельности одесской группы увеличилось бежавшим из Сибири Георгиевским, судившимся в 1877 г. по процессу Бардиной. Кроме того, я вызвала в Одессу Свитыч, сестру Свитыча, осужденного по процессу Ковальского. Эта славная молодая девушка жила где то недалеко в уездном захолустье и томилась бездействием. В то время как раз предполагался побег Ф. Морейнис из Николаевской тюрьмы. Это дело думали устроить местные офицеры, ходившие на караул в тюрьму; там они познакомились с Морейнис, которой грозила каторга. Будучи на карауле, один из офицеров должен был вывести заключенную из тюрьмы, а для того, чтобы ее укрыть, требовалась конспиративная квартира. Георгиевский и Свитыч взялись устроить ее и отправились в Николаев. Побег не был, однако, осуществлен и, когда это выяснилось, они вернулись в Одессу, чтобы по решению группы устроить небольшую типографию для печатанья летучих листков для рабочих. Так как шрифт у группы уже имелся в запасе, то дело легко организовалось.

---

[1]) Заславский осужден на каторгу в 1877 году по делу, в котором занимал первое место.

Но деятельность типографии была кратковременна и напечатали в ней одну единственную прокламацию по поводу смерти и похорон заслуженного революционера—Фесенко, много лет прикованного к постели тяжелой болезнью.

Георгиевский имел сношения и с рабочими, что и погубило его. Его как-то выследили, он был арестован, а вместе с ним взята и Ситыч с типографией.

Однажды, подойдя к дому, в котором была их квартира, я увидела, что условный знак безопасности снят. Думая, что это может означать простое отсутствие хозяев, я вошла во двор и подошла к двери квартиры. Висячий замок показывал, что дело кончено, и я поспешила удалиться; на мое счастье засады при квартире не было.

Членом одесской группы или очень близко стоявшим к ней был двоюродный брат О. Пуриц, студент 1-го курса Коган. Он действовал среди студентов: составил кружок человек в десять из своих товарищей; они сочувствовали „Народной Воле“ и занимались самообразованием общественно-политического характера.

- — -

2. Военные на юге.

Через Ив. Ив. Сведенцева, как бывшего военного, имелись связи и среди военных, и я познакомилась с ними у него. Это были: ротный командир Люблинского полка Крайский и офицеры: Телье (брат осужденного) и Стратонович. Они относились ко мне со вниманием и любезностью, свойственными военным людям по отношению к женщине. Наши первоначальные разговоры имели обыкновенный салонно-литературный характер. Позднее, когда я узнала, что Крайскому нравится мое общество, я стала видеться с ним чаще и, после некоторого сближения, высказывать мои революционные взгляды и симпатии. Вызываемый на откровенность, он выражал интерес и сочувствие идее политической свободы и признавал справедливой сущность социализма. Но не это сочувствие, формулированное в общих выражениях и не переступавшее пределов разговоров, внушало мне интерес к

его личности, а то противоречие, которое я заметила. Признавая, что истинное убеждение должно проявляться в активной деятельности, и что пропаганда словом составляет главнейшее орудие для проведения какой бы то ни было идеи в жизнь, он находил, что действительна лишь та пропаганда, которая опирается на знание и что его-то ему и не достает. Он сожалел, что не получил высшего образования и что попытка поступить в академию, сделанная им дважды, встретила отказ[1]), несмотря на то, что способности дозволяли ему надеяться на успех. Наряду с этим, повидимому, искренним сожалением, меня поражало полное отсутствие усилий к развитию своих умственных сил, к пополнению тех недочетов, которые так ясно сознавались. Такое положение казалось мне неестественным, и я думала, что мое дружеское вмешательство поможет ему выйти из этого бесплодного стояния на одном месте; что он или сознается, что неспособен итти дальше одних разговоров, или примется за работу над собой. Я думала также, что, быть может, он слишком добросовестно относится к вопросу о приобретении знаний и ставит слишком широкие требования к самому себе. Поэтому, одобряя мысль о необходимости научной подготовки вообще, я проводила взгляд, что, если человек сам не тревожится сомнением, не колеблется в признании той или другой истины, а чувствует лишь недостаток в аргументах для убеждения других, то нет необходимости сначала погрузиться в теоретическое изучение, чтобы явиться потом во всеоружии; средний путь постепенного изучения отдельных вопросов и параллельной передачи другим того, что уже усвоено, быть может, даже лучшая школа для самого себя. Вместе с тем, Крайский постоянно говорил, что ему невыносимо общество людей, которые умственно ниже его и, так как я находила это несовместимым с желанием действовать на других, то в беседах часто заходил разговор и на эту тему. Крайский казался мне ценной личностью, человеком сильной воли, который, раз решившись, уж не сойдет с избранного пути; поэтому я хотела непременно привлечь его в партию, разбить

---

1) Он об'яснял этот отказ тем, что он католик.

его сомнения в себе, сломить те внутренние препятствия, которые мешали ему примкнуть к нам. Стратонович—честный малый, но с психологией менее сложной, и характером неопределенным, мало интересовал меня. К тому же в начале осени он уехал из Одессы, так как получил командировку в Очаков. Как тот, так и другой, состояли в дружеских отношениях с подполковником Прагского пехотного полка Мих. Юл. Ашенбреннером (будущим шлиссельбуржцем). Последнего знал еще Желябов, когда жил в Одессе в первой половине 1879 г., а я познакомилась с ним в 1880 г. незадолго до моего отъезда в Петербург. Я застала его тогда случайно у Сведенцева, который раньше не упоминал о нем. В разговоре на тему об участии военных в революционном движении, Ашенбреннер, между прочим, говорил о бесплодности военных переворотов, так как их следствием может быть лишь смена лиц, а не изменение сущности общественных отношений, и приводил в пример Испанию с ее пронунциаменто, не выводившими страну на новые пути. Ив. Ив. Сведенцев рекомендовал мне Ашенбреннера, как социалиста и революционера. Мне хотелось еще видеться с ним, но знакомство как-то не клеилось. Он показался мне вялым и нерасговорчивым; он был старше меня на 10 лет, и я не умела подойти к нему: он или не привык к женскому обществу, или не любил его. Нам обоим, кажется, было скучно друг с другом.

Теперь, в мой второй приезд в Одессу, Ашенбреннер служил в Николаеве, но иногда приезжал в Одессу и наше знакомство возобновилось. В Николаеве около Ашенбреннера группировались его сослуживцы: Талапиндов, Маймескулов, Мицкевич, Кирьяков и Успенский, связанные с Ашенбреннером тесной дружбой и разделявшие его социалистические взгляды и революционные симпатии. Желая лично познакомиться с ними и подготовить путь Суханову, который должен был приехать на юг, я несколько раз ездила в Николаев и посещала квартиру, в которой собиралась вся компания Ашенбреннера.

По возрасту это были солидные люди, сверстники Ашенбреннера, и совсем не походили на товарищей Суханова—изящную удалую молодежь, которая так и напрашивалась на

какое-нибудь рискованное быстротечное предприятие. Сам Ашенбреннер, человек образованный и начитанный, был много выше своих друзей и являлся естественной главой этого содружества. Как он, так и его друзья жили совершенно замкнуто, в них не было ни увлечения, ни стремления к прозелитизму. Никакой революционной деятельностью во всю свою жизнь они не занимались, а когда я указывала на необходимость заведения знакомств с целью привлечения сочувствующих, то ответ всегда был один и тот же, что подходящих людей среди офицеров нет. Однако, по моим настояниям, позднее, они завели знакомство с моряками и тут, повидимому, была благодарная почва, потому что Ашенбреннер находил, что оживленная агитация, начавшаяся среди них, даже переступала границы благоразумия. Но эти сношения с морскими офицерами и в частности с будущим шлиссельбуржцем Ювачевым происходили уже в то время, когда я из Одессы уехала и лично никого из морских офицеров я не знала. А до этого кружок оставался в стационарном состоянии: друзья собирались тесной компанией и вели между собой беседы свободолюбивого характера. Порой Ашенбреннер, хорошо изучивший Маркса, читал реферат по „Капиталу“ или на какую-нибудь другую политико-экономическую тему, а когда был в ударе, излагал различные философские системы, на что был большой мастер.

Надо сказать, что мое знакомство с этими военными было слишком поверхностным, чтоб я могла заметить индивидуальность каждого. Ашенбреннер, человек очень любящий и по отношению к людям уступчивый и мягкий, был высокого мнения о своих друзьях-сослуживцах; он сжился с ними душа в душу и отзывался о них, как о лицах, преданных интересам народа и готовых рисковать собой. На основании этой рекомендации и было построено предположение, что приедет член центральной военной группы и предложит кружку официально примкнуть к партии „Народной Воли“ и войти в сношения с военным центром. Мы находили нужным, чтобы предложение программы и устава организации исходило от человека военного и притом принадлежащего к центру, так как это связало бы местную военную группу с

центром теснее, чем если-бы организатором ее явился кто нибудь из штатских. Приехать, как было уже сказано, должен был Суханов, но уже 28-го апреля он был арестован. Вместо него ко мне в Одессу явился А. В. Буцевич, командированный в июле министерством путей сообщения на инженерные работы в Николаевском порту. Я дала ему рекомендательное письмо к Ашенбреннеру, сообщила мои личные впечатления о военных, с которыми познакомилась, и предлагала устроить сейчас же свидание с одесскими офицерами. Но Буцевич торопился в Николаев и обещал заехать в Одессу при возвращении с работ; он сделал это только в декабре.

Задача объединения Одесских и Николаевских офицеров в одну организационную ячейку, связанную с центральным органом, была для Буцевича задачей легкой, так как и те, и другие давно знали друг друга и были уже подготовлены Ашенбреннером и мною к тому, чтобы согласиться на все, что мог предложить Буцевич. Действительно, вышеупомянутые лица приняли на себя те серьезные обязательства, которых требовал устав, предложенный Буцевичем, и обещали по первому призыву военного центра выступить с оружием в руках и увлечь к тому же подчиненные им войсковые части [1]).

Так была выполнена миссия Буцевича, и установлена связь между революционным офицерством севера и юга. Вся военная организация насчитывала тогда человек 50 членов.

---

[1]) Для пропаганды среди солдат я послала в распоряжение Николаевской группы отличного рабочего — Александра.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I. Перенесение партийного центра в Москву.

В конце октября я получила из Москвы приглашение приехать. Прошло полгода после того, как я покинула Петербург, и за это время почти не имела сведений о том, как идут дела партии и что делается в центре, перенесенном в Москву. Понятно, с каким нетерпением я рвалась на это свидание с товарищами, уцелевшими от весенних арестов в Петербурге: Юрием Богдановичем, Корба, Грачевским, Ивановской и другими, которых надеялась встретить впервые после событий, разметавших нас в разные стороны.

Надо сказать, что жизнь в Одессе, не отразившая потрясений мартовских дней, не подготовила меня к тем переменам, которые ожидали меня в Москве. Приехав туда, я с горестью могла видеть губительное значение потерь, испытанных Исполнительным Комитетом незадолго до 1-го марта и в особенности после него.

Местопребывание Комитета было перенесено из Петербурга в Москву не по каким-нибудь высшим соображениям, а исключительно в силу необходимости; тем из членов его, которые еще не попали в руки полиции, невозможно было держаться в Петербурге после арестов в марте и апреле. Оставаться там, значило итти на неминуемую гибель: было ясно, что кто-то, знающий в лицо членов организации, на улице указывает их полиции.

Но перемещение центра революционной партии из столицы в другой город уже само по себе не могло не нанести вреда делам партии. Если принять во внимание революционное движение только с семидесятых годов, то всякий, знакомый, с ним, скажет, что Петербург был главным очагом его. Центр государственной жизни и средоточие всех интеллектуальных сил страны, он из года в год был местом, в ко-

тором накоплялись оппозиционные элементы. Именно в нем создавались наиболее серьезные революционные организации общероссийского характера, имевшие к тому же преемственность между собой: „Чайковцы“, „Земля и Воля“, „Народная Воля“ были последовательно связаны между собой. И здесь же эти организации черпали, главным образом, своих сторонников. Не говоря о временах, более далеких, начиная с „Чайковцев“, здесь сосредоточивалась революционная деятельность и находилось местопребывание лидеров революционных организаций. К Петербургу тянули провинции, получая оттуда импульсы; здесь давались лозунги, отсюда шла моральная поддержка и раскидывалась организационная сеть. Все важнейшие политические процессы, имевшие громадное агитационное значение, происходили здесь, и здесь же находили наибольший отклик все революционные выступления. В Петербурге сосредоточивались главные литературные силы всей России и та частица их, которая примыкала к революционным течениям. Революционные органы издавались только в Петербурге и уже отсюда распространились по России.

Рабочее население Петербурга, более крепкое месту и более обученное, было наиболее подготовлено к восприятию идей социализма и революции. Пропаганда на фабриках и заводах велась здесь с более давнего времени, более систематично и в размерах более широких, чем в каких-либо других промышленных центрах.

Учащаяся молодежь Петербурга, более многочисленная, чем в других городах, стояла впереди всей учащейся молодежи России: при студенческих волнениях высшие учебные заведения Петербурга первые давали сигнал к движению и шли впереди его. В других городах революционная традиция могла порываться, но в Петербурге с семидесятых годов этого не бывало; никогда не оставался он без организации, а вокруг нее всегда существовала периферия, ей сочувствующая и ее поддерживающая. Выехать из Петербурга, перевести революционный центр в другой город, значило утратить почву, на которой до того времени возникали, росли и существовали революционные организации, — утратить почву, утучненную всем революционным прошлым. Такой переезд

был своего рода эмиграцией, ссылкой, отрывом, который грозил крайне тяжелыми последствиями.

Москва, куда был перенесен Исполнительный Комитет, была городом, в котором отсутствовала непрерывность революционной традиции. Организации, появлявшиеся в ней, действовали короткое время и разбивались арестами, не будучи подхвачены какой-нибудь группой, продолжавшей их деятельность. Так погибли „Долгушинцы“ (1874 г.), а до них „Нечаевцы“. Кружок „чайковцев“ имел в Москве отделение, но это не была самостоятельная организация, выросшая на почве самой Москвы: отдел был создан наезжими людьми из Петербурга; численно он был слаб и от себя ничего нового в движение не внес. В 1874—75 гг. в Москве действовали лица, судившиеся по процессу 50-ти. Они не были коренными москвичами, эти цюрихские студентки и кавказцы, и, хотя завели довольно обширные связи на московских фабриках, не могли пустить глубоко корней в городе, который выбрали, как свой центр. Наследников, которые продолжали бы их дело, они не оставили. Общество „Земля и Воля“ в Москве организованной сплоченной группы не имело.

Что касается „Народной Воли“, она не хотела оставить Москву вне сферы своего влияния, и вскоре после своего образования направила туда двух выдающихся членов Комитета: П. А. Телалова и М. Н. Ошанину, стараниями которых вскоре была создана местная группа, энергично работавшая среди рабочих и учащейся молодежи.

Теперь, переселившись в Москву, Исполнительный Комитет вклинился в эту группу и, можно сказать, обезкровил ее. Как члены комитета, Телалов и Ошанина, составлявшие душу группы, изымались из нее,—они должны были всецело отдаться центральной деятельности. К тому же Телалов в июле был переведен Комитетом в Петербург. Кроме них из группы выбыли: Мартынов и Лебедев, которые были взяты в члены Комитета; Гортынский, посланный в качестве агента Комитета для организационной работы в Киев; Андреев, с той же целью отправленный в Саратов, а член группы Фриденсон, взятый Комитетом из Москвы раньше других, был

арестован в Петербурге еще в январе 1881 г Все это не могло не ослабить местной организации.

В Петербург, кроме Телалова, были направлены два только что принятые члены Комитета: Романенко и Стефанович, приехавшие из-за границы. Все трое раньше в качестве членов „Народной Воли" в Петербурге не работали. лично связей там не имели, а в Москве старые члены „Народной Воли", в свою очередь являлись новоселами. Это тоже был неблагоприятный для деятельности момент. Но важнее всего было то, что с перемещением центра, Петербург в революционном смысле низводится на степень провинции: отныне там должна была существовать только местная группа, а Москва превращалась в революционную столицу, но без тех духовных и материальных рессурсов, которыми обладал Петербург.

2. Состояние центра.

Велика была перемена, найденная мной в численном и качественном составе Исполнительного Комитета. Нечего было скрывать от себя—Комитет 1879 г. был разбит. Странно, но никто из нас не говорил об этом; мы сходились, обсуждали различные вопросы и расходились, как будто не зазамечая отчаянного положения нашего центра. Или, быть-может, все мы были людьми, которые видят несчастье, но не говорят о нем. Лишь однажды, в беседе с Грачевским наедине, я высказала ему свои опасения за будущее и горестные мысли о настоящем. Но он был другого мнения или не хотел сознаться, что положение дел катастрофическое. Из 23-х человек [1]), бывших основоположниками „Народной Воли"

[1]) Я нигде не встречала перечисления членов Исполнительного Комитета. Поэтому не будет лишним сделать это: 1) Желябов, 2) Перовская, 3) Морозов, 4) Фроленко, 5) Колодкевич, 6) Зунделевич, 7) Квятковский, 8) Ошанина, 9) Александр Михайлов, 10) С. Иванова, 11) Ширяев, 12) Баранников, 13) Исаев 14) Фигнер, 15) Корба, 16) Л. Тихомиров, 17) Якимова, 18) Ланганс, 19) Телалов, 20) Суханов, 21) Лебедева, 22) Богданович, 23) Любатович, 24) Златопольский, 25) Грачевский, 26) Тригони, 27) Н. Оловенникова, 28) Тихомирова (урожденная Сергеева). После 1-го марта приняты: 1) Халтурин, 2. Жебунев 3) Мартынов, 4) Лебедев, 5) Романенко и 6) Стефанович.

и членами Исполнительного Комитета, принятыми до 1-го марта, на свободе оставалось только восемь: три женщины—Корба, Ошанина (совсем больная) и я, и пять мужчин. То были: 1) Грачевский, который до тех пор был техником по типографии и приготовлению динамита, человек энергичный и фанатически преданный революционному делу: старый народник начала семидесятых годов, он занимался пропагандой среди московских рабочих вместе с членами московской организации Бардиной и Джабадари, судился по процессу 193-х гг. и был в ссылке в Архангельской губернии и бежал оттуда. Испытанный, практичный и очень работоспособный, но в „Народной Воле" занятый техникой, он до 1-го марта в организацинных работах активного участия не принимал. 2) П. А. Телалов, выдающийся деятель, пропагандист и агитатор, создатель московской группы, по своему пребыванию в Москве не мог принимать участия в деятельности Комитета, как всероссийского центра, 3) Юрий Богданович, обаятельный товарищ, пропагандист в деревне в начале семидесятых годов, прежний „чайковец", человек опытный, мужественный в деле, но очень мягкий в сношениях с людьми, при образовании „Народной Воли" находился в Пермской губернии для устройства побега Бардиной и был принят в члены Комитета прямо на должность сыроторговца на Малой Садовой, а после 1-го марта по поручению Комитета совершил поездку в Сибирь для организации „Красного Креста", имевшего главной целью помощь побегам политических ссыльных: 4) Савелий Златопольский одессит, принятый в Комитет по рекомендации Фроленко и Колодкевича, знавших его в Одессе; мягкий, добрый, он не был импонирующим и влиятельным человеком, и, наконец, 5) Лев Тихомиров—наш признанный идейный представитель, теоретик и лучший писатель, уже в 1881 году отличавшийся некоторыми странностями, и, быть может, носивший в душе зачатки психологического переворота, который привел его к полному изменению прежней идеологии и сделал из революционера и республиканца—монархиста, из атеиста—религиозного ханжу, а из соцалиста—единомышленника Каткова и Грингмута. Еще в мартовские дни в Петербурге он изум-

лял нас. Так, после 1-го марта, он явился к нам с траурной повязкой на рукаве, какую носили военные чиновники по случаю смерти Александра II. В другой раз он сообщил, что ходил в церковь и принес присягу новому императору. Мы не знали, чем объяснить эту комедию, но по словам Тихомирова, это было необходимо, чтобы легализовать его в глазах дворника, который так любознателен, что забирается в квартиру, когда хозяев нет дома. Шпиономания, повидимому овладевала им. Так, в Москве, живя в меблированных комнатах, он вообразил, что соседи сделали отверстие в стене и подслушивают разговоры в его помещении. Тотчас он оставил эту квартиру и отправился на богомолье в Троицко-Сергиевскую лавру, чтобы, прописавшись там, засвидетельствовать этим свою благонадежность для дальнейшего проживания в Москве. На такие махинации никто из нелегальных не пускался до него ни при каких обстоятельствах.

Из сделанного перечня видно,—что оставалось от прежнего Комитета. Главных столпов нашей организации, инициаторов и созидателей „Народной Воли", укрепивших новое направление и совершивших деяния, на которых „останавливался зрачек мира", в нашей среде уже не было,—они сошли с революционной арены, были осуждены или ждали сурового осуждения. Уж не было Квятковского, пламенного революционера и хорошего организатора, имевшего особенную способность привлекать людей к делу. Он был арестован еще в 1879 г. и казнен; не было Зундеревича, мастера по части доставки всевозможных технических средств; ни Морозова, который был одним из первых горячих глашатаев народовольческого направления; он уехал за-границу уже через полгода после основания „Народной Воли" и не видел всего расцвета ее. Не было ни Александра Михайлова, этого „недреманного ока" организации, истинного „хозяина" ее; ни олицетворявшего террор, мрачного, молчаливого красавца-силача—Баранникова; ни нашего хранителя от полицейских набегов Клеточникова. Не было Желябова, Перовской, Колодкевича и Фроленко, этих несравненных деятелей слова и практики. Выбыли из строя техники: Исаев, Якимова, Ширяев, Софья Ивановна; не было энтузиаста Суханова; членов

комитета: Тринони, Лебедевой, Ланганса и только что принятого Жебунева. Погибли агенты: Кибальчич, Саблин, Геся Гельфман, Терентьева и многие другие товарищи из интеллигенции и рабочих, необходимые для общего дела и разнообразием своих талантов и способностей поддерживавшие гармоничность различных отраслей деятельности нашей организации. Теперь была пустыня—недоставало ни умов, ни рук, ни главенствующих инициаторов, ни искусных выполнителей. В 1879 году Исполнительный Комитет соединил в себе все революционные силы, накопленные предшествующим десятилетием и уцелевшие от разгромов этого периода. Он бросил их в политическую борьбу и, совершив громадную работу, в два года истратил весь капитал. Теперь, к концу 1881 года оставалась небольшая группа, а за нею те, кого на моем процессе (1884 г.) присутствовавшие защитники характеризовали словом „ученики".

Так, Исполнительный Комитет, по существу, кончил свое бытие и в данный момент центр партии „Народной Воли" уже не был в состоянии играть прежней роли. На арене борьбы с самодержавием почти не оставалось имен, известных всей свободомыслящей России. Вместе с утратой людей боевая способность Исполнительного Комитета исчезла. Оставалась пропагаторская и организационная работа; надо было думать о набирании сил, во что бы то ни стало. Но условия деятельности сильно усложнились: шпионаж и сыск усовершенствовались, появились виртуозы этого дела, люди честолюбивые, способные и с широким размахом, как Судейкин, а революционные требования к личности, сравнительно с семидесятыми годами, повысились. В интеллигенции и в рабочей среде надо было искать элементы более зрелые. Но именно их-то и было мало. Рядовые работники находились довольно легко среди молодежи: для работы в провинции, в местных группах, они были вполне пригодны, но к кандидатам в центр мы предъявляли иные требования, меряя той меркой, которая была при основании „Народной Воли" и под эту мерку подходили лишь немногие.

С распадом прежней организации, исчезновением большого числа товарищей, ослабел общественный контроль над

личностью. Я заметила это еще в апреле, когда проезжала через Москву на юг. Несколько губительных арестов произошли от того, что отдельные лица рисковали собой, пренебрегая мерами осторожности. Якимова, изумительная по своей смелости, находчивая в опасности и беззаветно преданная революционному делу, Якимова, которую надо было беречь, как зеницу ока, отправилась в Киев, хотя он считался по своим полицейским условиям столь же опасным, как и Петербург. Там в скором времени она была арестована с Лангансом и Морейнис. Тоже самое произошло и с Лебедевой. Матери Фроленко, женщине простой и никогда не бывавшей в Петербурге, Лебедева хотела помочь получить свидание с сыном и постоянно видалась с ней, несмотря на очевидный риск быть прослеженной. Так оно и случилось; Лебедева была арестована; как участница в покушении на цареубийство, она была осуждена на каторгу, как и Якимова, и умерла на Карийских рудниках в Сибири. При Александре Михайлове и Желябове, когда налицо был весь коллектив, такого риска и проявления личной воли общественное мнение не допустило бы. Да и арест самой Перовской, а потом Суханова, разве он произошел бы, еслиб, как это было в лучший перид деятельности Комитета, строгий контроль организации сдерживал и, когда нужно, подчинял личность революционной дисциплине, допуская риск собой только по решению коллектива для общественно необходимого дела [1].

---

3. Ожидания общества.

Исполнительный Комитет, я говорю о Комитете 1879 года, в сущности кончил свое бытие, а между тем Россия, взволнованная цареубийством, была еще полна отголосками 1-го марта. Общественное мнение широкой публики, остававшейся впотьмах относительно реальных сил партии, ослепленное деятельностью Комитета, сильно преувеличившее их, ожи-

1) Позднее Ю. Богданович был арестован и погиб тоже, благодаря тому, что пошел на уже оставленную, опасную в полицейском смысле, квартиру, когда коллектив должен был запретить это.

дало еще великих потрясений впереди: ведь Комитет в своих изданиях неоднократно заявлял, что цареубийство будет производиться систематически и оружие не будет сложено до тех пор, пока самодержавие не сдастся и свободные учреждения не заменят царского режима.

Здесь не лишнее рассказать об одном эпизоде, еще нигде не рассказанном; об одной возможности, неосуществленной.

3-го марта Кибальчич, сильно взволнованный, неожиданно явился к нам на квартиру у Вознесенского моста, куда он не должен был приходить без особого оповещения. Он сообщил, что квартира Саблина и Геси Гельфман на Тележной взята полицией. Саблин застрелился, а Тимофей Михайлов арестован на лестнице по дороге к ним. Это событие ставило на очередь судьбу магазина сыров на М. Садовой. Он еще не был ликвидирован нами и его хозяева: Богданович и Якимова, оставались на своих местах в нем. Каждую минуту он мог быть открыт полицией. Часа в 2, когда на квартире, кроме меня и Исаева, присутствовали: Тихомиров Перовская, Ланганс, Якимова и еще человек 6 из Комитета, вопрос о ликвидации магазина был поставлен на обсуждение и было постановлено, что это должно быть сделано немедленно, при чем хозяева покинут Петербург в тот же вечер. Одна я была другого мнения: я предлагала сохранить магазин еще на 2—3 дня. При обсуждении того, что происходило 2-го и 3-го марта, выяснилось, что в эти дни (или в один из этих дней) новый император вместе с императрицей проезжал из Аничкова дворца, в котором жил, по Малой Садовой, т.-е. мимо магазина, готовившего смерть его отцу. Это показывало, что прямых указаний на магазин, пока, не было. С другой стороны, если Рысаков, о котором тотчас же после ареста пошли дурные слухи, знал, что на Садовой подготовлялся какой-то удар против Александра II, то о самом магазине ему ничего не было известно. Из арестованных с ноября 1880 г. по 1-ое марта о магазине знали: Александр Михайлов, Колодкевич, Баранников, Желябов и Тригони—все члены Комитета, в руках которых тайна была в полной безопасности: на этот счет можно было не безпо-

коиться. Поэтому, несмотря на опасность положения,—так как указания на улицу у полиции были, и в магазине полиция 28-го февраля произвела осмотр, якобы с точки зрения санитарной, и, конечно, могла повторить его,—я предлагала оставаться в магазине еще в течение нескольких дней и, если император поедет еще раз мимо, то взорвать мину, приготовленную для его отца. Я указывала, что рисковать в этом случае лицами, которые останутся в магазине, стоит, и Исполнительный Комитет имеет право на такой риск... Однако, присутствовавшие все были против. У меня вырвался возглас: „Это трусость!“ Тогда Тихомиров и Ланганс, стоявшие рядом со мной, с гневным жестом подняли крик: „Вы не имеете права говорить так...!“ Остальные молчали, и дело было снято с очереди.

Было решено, что Якимова, придя в магазин, скажет Богдановичу о постановлении Комитета, и он уедет из Петербурга с первым поездом, а Якимова в обычный час запрет магазин и уйдет, чтобы с другого вокзала оставить город. Так Кобозевы и сделали: сначала ушел Богданович, а вечером, в обычное время, Якимова закрыла магазин, зажгла перед образом Георгия Победоносца лампадку и вышла с маленьким узелком через ворота мимо дремавшего дворника.

Утром 4-го марта дворник, встревоженный тем, что время проходит, а магазин не открывается и хозяева не обнаруживают признаков жизни, дал знать в полицию, которая явилась делать свое дело.

На прилавке она нашла кучу медяков и записку: хозяйка просила в ней передать прилагаемые деньги мяснику за печенку, которую она забирала для кота Васки.

Возможность немедленного второго цареубийства ушла, чтобы не повториться. Наступило затишье. С нашей стороны оно было вынужденным, но общественное мнение толковало его, как затишье перед грозой. Само правительство разделяло такой взгляд и ожидало новых трагических событий. Напряженное ожидание было, можно сказать, характерным признаком общественного настроения того времени. Действия Комитета за весь истекший период были окружены тайной:

никто не знал, когда именно, в какой момент и в какой форме загремит удар. Никто не знал и того, какими средствами, в смысле персонала и техники, располагает „Народная Воля“. Эту полную неизвестность и вместе с тем признание Исполнительного Комитета в данное время вершителем судеб России в смысле поворота к свободе или еще большего усиления реакции в шутливой форме, метафорически, выразил Глеб Иванович Успенский: в беседе со мной как-то после 1-го марта и в связи с этим событием, он сказал: „Что-то с нами теперь сделает Вера Николаевна?“ подразумевая под Верой Николаевной Исполнительный Комитет.

После краткого периода неопределенности и колебаний, которые отражались в чиновничьей части публики предвещаниями, что на 25 лет воцарится злейшая реакция—стало ясно, что от нового царя ждать перемен нечего. Реакционное направление внутренней политики стало пред всеми совершенно определенно: манифест 29-го апреля объявил принцип самодержавия незыблемым: отставка Лорис-Меликова, Милютина и Абазы показывала, что либеральные потуги дать хоть какое-нибудь удовлетворение общей потребности в свободе—кончились и все останется по-старому.

Но революционная партия, Исполнительный Комитет, замолчит ли он после всех заявлений? после письма Александру III, в котором были формулированы требования, не получившие удовлетворения? Все недовольные старым порядком верили, хотели верить, что нет. Поведение правительства поддерживало эту веру: новый император не короновался; об этом и помина не было, и единственным объяснением служил страх перед террористами. Сказочные слухи ходили в публике насчет их намерений и планов. Говорили, что в Москве, в ожидании будущей коронации, наняты помещеним, из которых ведутся подкопы, чтобы взорвать коронационное шествие, и заняты чердаки, чтоб с них бросать бомбы. Из уст в уста шла молва, что сам сыроторговец Кобозев (Богданович) с теми же террористическими замыслами берет подряд по устройству праздничной иллюминации. Говорили, что он продолжает торговать сырами, закупает их в провинции, и эти сыры, начиненные динами-

том, ввозятся в Москву и т. п. На деле Исполнительный Комитет не помышлял ни о чем подобном. В первые дни после 1-го марта, Перовская, в крайне возбужденном состоянии от всех переживаний, словно обуреваемая манией, забыв о благоразумии, только и думала о подготовке к новому покушению на цареубийство. Она наводила разные справки, отыскивала прачек и модисток, обслуживающих население дворцов, собирала повсюду указания на лиц, имеющих возможность, при тех или иных условиях, встречаться с царствующими особами (напр., на празднике георгиевских кавалеров). Она лично делала наблюдения над выездами царя из Аничкова дворца, пока не была, наконец, арестована, вблизи него. С ее задержанием и переездом членов Исполнительного Комитета в Москву эти конвульсивные попытки прекратились. Мы знали, что царь спрятался в Гатчине и живет там, как узник, доступ к которому невозможен. Никаких изысканий, собирания сведений и тем более наблюдений Комитет не предпринимал и никаких проектов воспользоваться коронационными торжествами в Комитете не возникало. Даже самый вопрос о цареубийстве не поднимался. Ни разу в течение моего пребывания в Москве на совещании об этом не говорили, до такой степени была очевидна полная невозможность ставить такое дело при наших тогдашних силах.

---

4. Новые члены.

Я говорила о тех, кто у нас выбыл к этому времени. Вместо них я застала новых членов: Мартынова, Лебедева и Романенко. Четвертым называли Стефановича, но он находился в Петербурге, также как и старые члены Телалов и Савелий Златопольский.

Мартынов и Лебедев были по профессии врачами и входили в местную московскую группу, созданную Телаловым и Ошаниной. Если о Лебедеве я не слыхала ни хорошего, ни дурного, то о Мартынове Ошанина много рассказывала мне при свидании в Петербурге и говорила о нем, как об

умном, оригинальном, интересном человеке и искусном рассказчике-импровизаторе. По ее отзывам из москвичей он был самым даровитым и выдающимся[1]). Определенного впечатления при деловых встречах с ним и с Лебедевым в Москве на общественной квартире Богдановича и Ошаниной я, однако, не вынесла. Их значение в Комитете было не велико уже по самой кратковременности их деятельности, как членов: Мартынов, посланный на работу в Петербург, был арестован там уже в январе 1882 г., вскоре после ареста Талалова (в половине декабря 1881 года). Указаний на близость Мартынова к центру департамент полиции не имел и он пошел лишь в административную ссылку. Такова же была участь и Лебедева (арестованного в феврале 1882 г.).

Герасима Романенко я знала еще в Одессе. Юрист по образованию, умный и образованный, он был наделен изящной фигурой и прелестным тонким лицом, на котором лежал отпечаток болезни легких. В высшей степени интеллигентный и обаятельный в обращении, он чрезвычайно нравился мне и Колодкевичу, жившему некоторое время в Одессе. Мы часто встречались и обсуждали все дела вместе. Удивительно было то, что такой даровитый и симпатичный человек не создал в университете около себя никакой группы. Те студенты, его товарищи, которых он рекомендовал нам (всего 2!), были людьми малозначительными; в революционной работе не активные, они решительно ничем не были нам полезны. После ареста Гольденберга с динамитом в Елисаветграде, Романенко, видевшийся с ним в Одессе, начал хлопоты о паспорте и уехал за-границу. В Швейцарии он встретился и сошелся с Морозовым; вместе с ним написал и выпустил, под всевдонимом Тарновского, брошюру „Террористическая борьба". В ней проводилась мысль, что, если народ молчит и не готов к революции, то делать ее должна и без народа революционная интеллигенция посредством си-

[1]) Двадцать пять лет спустя, находясь по другому делу в административной ссылке в Архангельске, Мартынов участвовал в ученой экспедиции для исследования естественных богатств северного края и за свой труд получил от академии наук золотую медаль.

стемитического политического террора, на который следует отдать все силы.

Когда брошюра дошла до России, в Комитете была мысль напечатать в партийном органе („Народная Воля“) возражение. „Народная Воля“ никогда не смотрела на свои задачи так узко, как вопрос ставился в брошюре, подписанной и Морозовым, одним из известных инициаторов народовольческого направления. Она верила в народ и хотела опираться на него. Ее деятельность не была жестом отчаяния, вызванным разочарованием в народных массах. Если можно говорить о разочаровании, то оно состояло только в том, что лица,—жившие в народе для революционной деятельности среди него, убедились на горьком опыте, что при существующем полицейском строе никакой не только революционной, но и просто культурной работы в народе вести нельзя. Тактика „Народной Воли“—политический террор—являлась в глазах партии средством широкой агитации, которая выведет народ и общество из неподвижного состояния и побудит их к выявлению назревших нужд и потребностей. И в этом отношении веры в живые силы народа того времени было больше, чем могла оправдать деятельность, что и показывало 1-е марта, не сопровождавшееся никаким массовым движением. Что ж касается до пропаганды и агитации среди рабочих, то она велась, как в Петербурге и Москве, так и всюду, где только существовали народовольческие группы, и эта пропаганда совсем не была средством извлечения сил для террора, как полагали позднейшие историки. Так узко никогда не смотрели народовольцы. Между тем в брошюре Морозова и Романенко интеллигенция ставилась во главу угла и являлась единственной носительницей революционной идеи, способной и без народа осуществить дело свободы [1]).

Стефанович, известный деятель на юге, вошедший при разделении О-ва „Земля и Воля“ в „Черный Передел“, оставил Россию еще в конце 1879 г., и никто не сомневался, что вместе с А. Булановым и некоторыми другими чернопередельцами он искренно перешел при возвращении на родину в

---

[1]) Мысль опубликовать возражения в органе была потом оставлена.

ряды бывших противников—народовольцев. Однако, подобно Мартынову и Лебедеву, ни Романенко, ни Стефанович не успели развернуть своей деятельности, как члены „Народной Воли“: Стефанович, живший в Петербурге, был арестован 6-го февраля 1882 г. в Москве в квартире Буланова, а Романенко попал в руки жандармов еще раньше в той же Москве, когда я находилась там. Его арестовали у Ольги Любатович, приехавшей из-за границы, несколько времени спустя после того, как Морозов был взят на границе при возвращении в Россию (в феврале 1881 г.). Ольга Любатович была принята в члены Комитета в 1879 г., вскоре после основания „Народной Воли“. На Воронежском съезде землевольцев она не присутствовала, хотя была членон этого Общества: она оставалась тогда еще за границей, куда по настоянию друзей уехала, после убийства Мезенцева (4г-о авг. 1878 г.). По натуре очень живая, энергичная и способная, она была моей товаркой по Цюрихскому университету и Берну, куда мы перешли после известного циркуляра русского правительства, грозившего недопущением к экзаменам в случае продолжения курса в Цюрихе. В студенческом кружке Бардиной среди „Фричей“, как называли нас, она отличалась горячностью и резкой нетерпимостью. Но, когда я встретила ее в 1880 г., ее нельзя было узнать, такая вялая и бездеятельная она была. Я думала, что пребывание в ссылке (она была осуждена на поселение по делу 50-ти) так повлияло на нее, отчуждив от жизни и революционной среды, пошедшей по другой дороге, чем та, по какой шла она и ее товарищи по так называемой Московской организации, но, вероятно, это зависело и от ее болезненного состояния.

Арест Морозова и смерть ребенка, родившегося за границей, совершенно ее перевернули. Она приехала в Россию, пылая местью правительству, и была настоящей тигрицей, когда я посетила ее в Москве. От „Народной Воли“ она отмежевалась и обнаруживала большую неприязнь к нашей организации. Народовольцы, в свою очередь, выражали неудовольствие, так как, предполагая завести свою особую террористическую фракцию, Любатович пользовалась прежними связями, стараясь использовать их в своих видах.

Сильный душевный под‘ем сказывался в ней в ярких формах, в энергии, не думающей ни о препятствиях, ни об опасностях. Не знаю, надолго ли хватило бы этого под‘ема: быть может, это была некоторая истеричность, но в то время она была очень интересна—эта тигрица, разъяренная и красивая новой красотой, развернувшейся от материнства. Она ничем уже не напоминала апатичную и бесцветную Ольгу 1879 года, составлявшую разительный контраст с остальными народовольцами, полными всей энергией новаторов и завоевателей нового пути, на котором предстояли громадные преодоления. Ольга и не подозревала, что все ее планы будут залиты холодной водой в тюрьме, а эта тюрьма ее уже подстерегала.

Как-то вечером я отправилась в гостиницу, в которой она остановилась. У дверей швейцар отсутствовал; на лестнице и в коридоре я не встретила ни души. Дойдя до номера, который занимала Ольга, я постучала в дверь. Ответа не последовало, а когда я отворила ее, то в комнате было темно и пусто. Я поняла, что Любатович арестована. Надо было скорее уходить. Опять в коридоре и на лестнице я не встретила никого.

Так снова, как в Одессе, случайность оставила меня на свободе. А Романенко, посещавший Ольгу, с которой дружил, попал в руки жандармов, хотя Ольга наверное успела снять условный знак безопасности; или, быть может, он зашел к ней вечером, когда видеть сигнал было невозможно [1]).

Как относительно Мартынова и Лебедева, так и о Романенко департамент, повидимому, сведений не имел: его сослали без суда, но не в Сибирь, а в Ташкент, вероятно, в виду слабости его здоровья.

Ольга Любатович, арестованная 6 ноября, к суду тоже не была привлечена: ее сослали административно в Сибирь, где она вышла замуж за своего сопроцессника по делу 50-ти—Джабадари.

Что касается Телалова и Стефановича, то их судили по процессу 20-ти в 1883 г.; оба были приговорены к каторж-

---

[1]) Романенко кончил плохо, солидаризовавшись впоследствии с юдофобом Крушеваном.

ным работам: Стефанович отправлен на Кару, а Телалов заключен в Алексеевский равелин, где он и умер от истощения

---

5. Московская группа.

Хотя бы в немногих словах я не могу не воздать здесь должного прекрасной личности Телалова, о котором так мало осталось следов в революционной литературе. Человек вполне выработанный, с хорошим образованием, он отличался характером высоконравственным и обладал выдающимся талантом оратора. Благодаря этим качествам, он имел неотразимое влияние на молодежь и создал целую плеяду последователей „Народной Воли“, видевших в нем своего учителя. В прошлом—он действовал в Харькове, одно время наряду с Перовской, а в Москве постоянно выступал на университетских сходках, увлекая за собой студенчество. Будучи очень популярным среди учащейся молодежи и находясь в постоянном общении с ней, он имел возможность непосредственно привлекать и выбирать людей. И его выбор, судя по составу московской группы и как я знаю по личным встречам в провинции, был удачен. После каждой студенческой истории часть студентов исключалась из университета, другие переходили в иные учебные заведения и рассыпаясь по городам, разносили семена, брошенные Телаловым. Таковы в провинции были Комарницкий, Анненков, Омиров, которых я знала лично. Состав московской группы также определялся, главным образом, тем выбором, который Телалов делал среди университетской молодежи, а Мария Ник. Ошанина своим влиянием закрепляла за революционной партией тех, кого первоначально намечал он.

В одних воспоминаниях приведены слова Желябова, сказанные в Петербурге при отъезде М. Н. Ошаниной после нашего совещания в январе в 1881 г. „Помни, сказал он, вся надежда на Москву“. Желябов, действительно, мог сказать это, потому что московская группа за весь период „Народной Воли“ несомненно была лучшей из всех местных групп: она была и многочисленнее, и деятельнее других.

Это объясняется как тем, что Москва была богаче высшими учебными заведениями, чем другие университетские города провинции, так и талантливостью ее организаторов, и систематичностью их работы: они не кочевали из одного места в другое, не отвлекались от организационной деятельности практическими делами по осуществлению террористических замыслов Исполнительного Комитета: ни Телалов, ни Ошанина никогда не принимали в них непосредственного участия.

Московская организация, кроме городской группы, численностью человек в 11-ть, давшей центру несколько членов и агентов, и занимавшейся пропагандой в разных слоях интеллигенции, имела для агитации на фабриках и заводах так называемую „рабочую“ группу интеллигентов с несколькими подгруппами и с членами группы во главе. Первоначально в ней работали: А. Борейша и рабочий Феофан Крылов (он же Воскресенский); позднее целый ряд лиц, сменявших друг друга: ст. Коган-Бернштейн (известный по делу с министром Сабуровым); товарищ Поливанова—Майнов; Кирхнер (из Саратова); московская учительница А. Орлова, а позже нелегальные: Лисовская, Чекоидзе (из процесса 50-ти) и бежавшие из ссылки: Смирницкая, Ив. Калюжный и А. Панкратьев. Когда в июле 1881 г. Телалов уехал в Петербург, руководителем рабочей группы сделался Халтурин. Однако, Халтурин тяготел тогда больше к террористическим актам: в то время, как Телалов считал необходимым направить все силы партии на пропаганду, организатор северно-русского Рабочего Союза, а потом автор взрыва в Зимнем Дворце, находил, что при существующих порядках самодержавия никакая обширная организация в России невозможна и чтобы сломить их, все усилия надо приложить к продолжению террористической борьбы. В этом настроении он и отправился потом в Одессу на террористический акт против Стрельникова (18 марта 1882 г.), и на этом акте—погиб.

Пропаганда на различных фабриках и заводах Москвы велась довольно широко, но среди военных московская группа связей не имела.

Выше было сказано, что москвичи, на которых надеялся Желябов, дали при убыли старых деятелей нескольких агентов (Андреев, Фриденсон, Гортынский) и новых членов Комитета (Лебедев, Мартынов). Все они были привлечены энергичной работой Телалова и М. Н. Ошаниной. К сожалению, коллектив, созданный ими, все же не вышел по своей влиятельности за пределы уровня местной группы: он не имел за собой того продолжительного революционного стажа, какой имели участники Воронежского и Липецкого съездов, и не мог явиться сменой для Исполнительного комитета, быстро убывавшего в своей численности.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

1. Совещание в Москве.

Предметом обсуждения в Москве было изменение плана организации для Петербурга сообразно тем новым условиям, которые возникли вследствие перенесения оттуда центра. Прежде в этом городе местной группы, ведущей общепартийную работу, не было, но при Исполнительном Комитете, с одной стороны, состояли отдельные агенты различных степеней, выполнявшие по предложению Комитета ту или иную функцию; а с другой—были подобраны отдельные, друг от друга изолированные, группы по специальностям, напр. группа, которая вместе с Желябовым и Перовской вела пропаганду среди рабочих; группа из студентов, вместе со мной (а потом с А. П. Корба), ведавшая сношениями с университетом и другими высшими учебными заведениями Петербурга; группа техников с Исаевым и Кибальчичем во главе и т. д. Теперь с перенесением центральной организации в Москву, в Петербурге надо было создать местную группу, объединяющую работников различных отраслей, что и было возложено на Телалова, Мартынова, Стефановича и Романенко.

Затем, Комитет хотел выслушать мнение своих членов о программе вновь задуманного отдела деятельности—новой организации, которая должна была привлечь в революционные ряды старообрядцев и сектантов. Это было „Христианское братство", тайное общество, в которое революционная партия звала без различия вероисповедания всех противни-

ков оффициальной господствующей церкви, при чем главной задачей ставилась борьба с существующим правительством, а конечной целью—ниспровержение его. Я не знаю, кто был инициатором этого замысла, но этой идеей очень увлекался народник-пропагандист из процесса 193-х — Франжоли. Он был агентом Исполнительного Комитета и после 1 марта вместе с другими переехал в Москву. Он нигде не бывал, потому что уж более года был неизлечимо болен и не сходил с постели. В квартире, где он жил со своей женой Евг. Завадской, моей товаркой по Цюрихскому университету, была устроена типография, предназначенная специально для издания литературы „Братства". В этом направлении было издано „Соборное Уложение Христианского братства", излагавшее цели братства и устав его. Другое воззвание „Соборное послание Христианского братства" обращалось „ко всем чтущим святое учение Христа" и доказывало, что „существующее правительство и все его установления и законы, как основанные на неправде, подавлении и гонении свободного искания истины, следует считать незаконными и противными заповедям Божиим и духу христианского учения". Эти листки не произвели на меня впечатления, и вся затея не имела ровно никаких результатов; как измышление интеллигенции, совершенно чуждой религиозной жизни народа, оно оказалось с самого начала мертворожденным.

Любопытно, что мысль войти в сношения с старообрядцами и сектантами и привлечь их к совместной борьбе с правительством с 70-х годов не покидала революционеров. Казалось, союз возможен, потому что есть общий интерес, потребность в политической свободе, обеспечивающей свободу совести. Каким образом 11 миллионов русского народа могут оставаться равнодушными к борьбе против общего врага, от которого терпят преследования и гонения за религиозные убеждения,—революционным партиям казалось ни с чем не сообразным, и интерес к расколу и сектантству не ослабевал в среде, захваченной революционным движением. В 70-ые годы каждый революционер, наряду с историей народных движений и крестьянских бунтов, обязательно прочитывал все, что тогда имелось в русской литературе, как по вопросам артели и общины, так и по истории раскола и сектантства. И, однако, сколько не вводили они в свои пла-

ны пожеланий сойтись с сектантами или подойти ближе к раскольникам—пожелания оставались пожеланиями, а слабые попытки разбивались жизнью. Среди Чайковцев, Фроленко и Аносов идут из Москвы на Урал искать бегунов, но не встречают ни одного; в 1879 г. на юге тот же Фроленко уже с Ковальским стараются сойтись на социалистической почве со штундистами, но, согласно рассказу Фроленко, — тщетно. В 1878 г. Александр Михайлов проводит в Саратовской губернии полгода в большом приволжском селе „Синенькие", населенном старообрядцами. Он ставит себе целью сделаться среди них своим человеком. В качестве вольнонаемного учителя, он обучает детей грамоте, переходя из избы в избу и пользуясь пищей поочередно у родителей учеников. Он соблюдает все обычаи и обряды старообрядцев, растилает, как полагается, коврик для молитвы, берет лестовку и кладет безконечное число земных поклонов, во всем подражая ревнителям древнего благочестия. Приезжая в Саратов, он рассказывает с увлечением, самым серьезным образом, обо всем внешнем, чему был свидетелем и что сам проделывал, мимикрируя окружающих. Но никогда не говорил он нам, что ему *удалось привлечь кого-либо в ряды социалистов*. Он затратил полгода жизни в крестьянской обстановке, полгода добросовестно держался обрядности, совершенно чуждой духу его собственной личности, насиловал ее во имя теоретического ожидания, что, приняв личину, наружно отождествив себя с окружающей средой, приобретет доверие и, развернув все свое влияние, навербует в революционную партию адептов социализму. Михайлов был однодум: поставив себе конкретную цель, он отдавался ей всецело, влагая все душевные силы в избранное дело. В старообрядцев, живя в „Синеньких", он верил фанатично и не замечал, что расточает бесплодно свои способности и время. Крах, происшедший в „Земле и Воле" в Петербурге, когда вместе со многими другими были арестованы его друзья, такие выдающиеся революционеры, как Ольга Натансон и Оболешев, эти старейшие и самые энергичные члены Общества „Земля и Воля", вырвал его из „Синеньких", и он уехал с болью, что дело не довершено. И надо сказать, что в то время и все мы, жившие в Саратовской губернии по деревням, не протестовали против системы приспособления

к среде, которым увечил себя Александр Михайлов: мы тоже думали, что это необходимо для пользы революционного дела и верили, как и он, что придет время и плоды будут обильны.

Результатов не было, а мысль, что надо стучаться в двери к сектантам и старообрядцам, не умирала. „Народная Воля“ посылала рабочего Воскресенского в Тверскую губернию к известному сектанту Сютаеву, а московская попытка с „Братством“ проистекала все из того же источника. Пожалуй, наиболее показательным в смысле живучести раз усвоенных идей, может служить факт, что 30 лет спустя, один из видных старейших членов „Земли и Воли“, ставший социалистом революционером, Натансон, говорил мне в 1912—1913 г. за границей о тех же старообрядцах и сектантах, как об элементах, на которые революционная партия может опереться в борьбе за политическую свободу.

Подробности о замысле „Народной Воли“ организовать революционное „Братство“ среди старообрядцев, вероятно, будут освещены в литературе более полно, когда очередь дойдет до относящихся сюда документов из архивов жандармских управлений и департамента полиции, открытых революцией в 1917 года.

---

2. Стрельников.

В Москве я передала Комитету многочисленные жалобы на военного прокурора Стрельникова, как со стороны заключенных Киева и Одессы, так и со стороны их родственников. Эти жалобы касались главным образом его обращения с теми и другими. Считая оговор лиц, уже привлеченных к следствию лучшим средством в борьбе с крамолой, Стрельников практиковал массовые обыски и аресты. Он производил настоящие опустошения, захватывал людей, совсем непричастных к революционной деятельности и имевших самое пустое отношение к лицам, их оговаривавшим. Это делалось совершенно систематически, по правилу, которое генерал формулировал так: „лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного“. Захваченным предъявлялись самые тяжкие обвинения: в тайном сообществе, в

покушениях на жизнь разных оффициальных лиц и т. п. и всем поголовно объявлялось напрямик, что их не выпустят из тюрьмы, пока они не покажут того то или не подтвердят требуемого. Когда арестованные отказывались давать показания, гневу Стрельникова не было пределов: он положительно кричал на них и заявлял: „На коленях потом будете просить, чтобы я позволил дать показания,—и я не позволю“ Рассказывали, что в Киеве он схватил за горло рабочего Пироженкова на допросе в присутствии товарища прокурора Кочукова. После попытки Урусова к бегству, Стрельников обратился к конвойным с вопросами: „Что же, вы его убили?“—„Нет“.—„А били?“—„Нет“ „Очень плохо сделали“,—сказал на это генерал. О лицах, еще не попавших в его руки, он выражался не иначе, как таким образом: „Как бы мне мерзавца такого-то поймать!“ Наряду с обвиняемыми, всячески застращивались родственники. „Ваш сын будет повешен“! было обычным ответом на мольбы матерей. Свидания разрешались с трудом, как будто дело шло, действительно, о важных государственных преступниках. Отношение Стрельникова к евреям было возмутительное; так он не церемонился говорить родителям об арестованных: „Евреи блудливы, как кошки, и трусливы, как зайцы“. Другим он сообщал, что думает создать процесс с „чесночным запахом“. Эти и десятки подобных же проявлений цинизма, издевательства сильного над слабым создали Стрельникову репутацию бездушного и жестокого человека, добровольно бравшего на себя роль палача. Я передала Комитету общий говор и мольбу убрать его с места, на котором он мог делать столько зла. Вместе с тем я сообщила Комитету о томъ вреде, который наносила система действий Стрельникова партии вообще. Этот вред заключался в дискредитированни ее в общественном мнении, что происходило вследствие огульных оговоров и запугивания массы лиц людьми, терроризированными и деморализованными Стрельниковым, людьми совсем не принадлежавшими к революционным деятелям, но которых общество не имело возможности отличить от них, раз они привлекались к политическому делу. Напоминая Комитету предыдущую деятельность Стрельникова по целому ряду политических процессов, в которых он прилагал все усилия, чтобы смешать социалистов с грязью, выставить их перед

обществом, как шайку уголовных преступников, умышленно прикрывающих политическим знаменем личные поползновения испорченной натуры, и указывая на ту ненависть к Стрельникову, которую нам завещали наши товарищи, начиная с Осинского и кончая Поповым, я настоятельно предлагала поставить на очередь вопрос об убийстве Стрельникова. Вместе с тем я указывала на Одессу, как на пункт, где легко могли быть собраны о его жизни все необходимые сведения, и самый факт совершен с большей легкостью, чем в Киеве, где у него семья и масса знакомых, и где он должнен быть больше на-стороже в силу своей давней известности там и многочисленных указаний, которые он имел в своих руках о различных проектах покушений на его жизнь. Мое предложение было принято и участь Стрельникова решена. Так как вместе с тем Комитет согласился, что Одесса представляет шансы более благоприятные, чем Киев, то необходимо было тотчас же послать туда человека, который собрал бы вес материал, необходимый для исполнения задуманного.

Таким человеком всего удобнее было явиться мне, как знакомой с Одессой и с некоторыми лицами, которые могли в той или иной форме помочь изучению всех условий жизни Стрельникова. С этой целью Комитет и отправил меня после совещания в Одессу с тем, чтобы, собрав все необходнмые сведения, я дала знать о высылке исполнителей. Я вернулась в Одессу в начале декабря и через две недели сообщила на север, что все данные о Стрельникове находятся в моих руках. Комитет выслал двух человек, но приехал из них только один—Халтурин. Это было 31-го декабря. Я передала ему для проверки все, что знала о Стрельникове, т.-е. местожительство, часы и условия приема посетителей, время и место обеда; часы прогулки и посещения казармы № 5, куда он ездил для допросов; некоторые улицы, по которым он ходил; дома, в которых он бывал.

Когда мы узнали, что товарищ Халтуринв не может приехать, как было условлено, то выписали другого агента, так как было решено местных людей к делу не привлекать. Но не успел он приехать, как Стрельников исчез из Одессы, уже после того, как Халтурин несколько раз видел его. Он не возвращался, должно-быть, с месяц и был в это время, кажется, в Киеве. В виду полной неопределенности времени

возвращения его, мы решили, чтобы вызванный нами агент вернулся на свое место, тем более, что Комитет писал нам, что высылает нам другого человека. За это время Халтурин выходил из себя от нетерпения и несколько раз собирался ехать в Киев, чтоб там организовать покушение; мне стоило большого труда уговорить его остаться на месте и ждать возвращения Стрельникова вместо того, чтобы ловить его в Киеве, среди условий, совершенно неизвестных. Мы ограничились письмом туда, прося удостоверить, действительно ли он там и. в случае утвердительном, исследовать образ его жизни. Никаких известий, однако, мы не получили.

Между тем, в начале или в середине февраля, Стрельников явился вновь в Одессу и произвел новую чистку, захватив сначала 12—16 человек, а потом продолжал аресты, вплоть до своей смерти. В это время Клименко, посланный Комитетом, уже прибыл, и вскоре мы окончательно остановились на том, чтобы совершить покушение во время послеобеденной прогулки Стрельникова по Приморскому бульвару, около 5 часов вечера, и приготовить лошадь и кабриолет для бегства; вместе с тем из опасения, что Стрельников носит кольчугу, было решено целить ему в голову и стрелять по возможности в упор. Но Комитет не выслал нам денег; впоследствии оказалось, что триста рублей, которые были высланы, не дошли по назначению.

В виду арестов, которые постоянно происходили вокруг и могли зацепить и кого нибудь из тех, кто должен был действовать, откладывать дело было невозможно. Тогда я достал 600 р. на покупку лошади и экипажа и передала ихъ Халтурину. Дальше мое присутствие было излишним и могло быть вредным, так как Елену Ивановну Колосову [1]) искали по всему городу и шли по моим следам; это сопровождалось таким шумом; что лица, меня в глаза не видавшие, знали и говорили о том, что меня ищут. Некоторые из моих друзей, как Ив. Ив. Сведенцев, были арестованы, у других были обыски, при которых пред‘являлась моя карточка. Говорили, что рабочий Меркулов, осужденный по процессу 17-ти народовольцев (связанному с 1 марта 1881 г.) но, как предатель, освобожденный в целях сыска, приехал в Одессу для выдачи.

[1]) Псевдоним, под которым я была известна.

своих товарищей-рабочих и ходит по улицам в надежде встретить и меня. К тому же Комитет отправил меня в Одессу со специальным поручением, которое было уже исполнено. Все эти обстоятельства заставляли уехать, и я отправилась в Москву, чтобы там решить с товарищами, где мне быть дальше. Перед от'ездом мы получили известие, что для дела со Стрельниковым к нам едет агент Комитета—Желваков, но я с ним раз'ехалась и мне не пришлось с ним свидеться. После убийства Стрельникова он был казнен вместе с Халтуриным.

3. Разгром Москвы.

Я приехала в Москву около 15 марта и остановилась в маленькой убогой квартире Андреевой, которая, как и ее брат, состояла членом местной московской группы. В этот раз в недобрую пору я попала к товарищам. Обстановка в квартире, ее атмосфера имели в себе что-то жуткое и зловещее. Самой хозяйки, которая была учительницей и давала уроки, по целым дням не было дома; оставалась ее няня, дряхлая старуха, не переставая, бормотавшая что-то себе под нос на печке, или бродившая по комнатам, постукивая костылем. Сгорбленная, в морщинах, беззубая, с крючковатым носом, шамкая, она пророчествовала: „Быть беде". „Быть беде.—Чует сердце—быть беде". И эта беда действительно пришла. В комнаты с улицы не доходило ни звука; ко мне никто не заходил, и мне самой некуда было итти: въ Москве, в феврале и перед моим приездом произошел разгром, внесший во все дела полный беспорядок. 10 марта была взята общественная штаб-квартира на Садовой, где я бывала в ноябре; в ней арестовали ее хозяина—Юрия Богдановича. М. Н. Ошанина, более осторожная, успела во время оставить жилище, и скрылась, как только появились довольно грубые признаки, что за квартирой следят. Доступ в типографию „Народной Воли", где хозяевами были Г. Чернявская и Д. Суровцев, для посещения был закрыт, и в данную минуту в ней находила убежище Ошанина. Не знали, кто скомпрометтирован, кто выслежен, и кого каждую минуту могут арестовать; царила та неопределенность, при которой все сношение друг с другом на время прекращаются. Ходил слух. что кто-то из

местных лиц дает откровенные показания. Началось бегство, о котором после говорили, что спасался, кто только мог Франжоли и Завадская уехали в Саратов, чтобы потом перебраться в Харьков. Тихомиров с женой очутился в Ростове-на-Дону, откуда летом присылал ко мне Осинскую доставать заграничный паспорт и, несмотря на мои горячие увещания оба эмигрировали, как только получили к тому возможность. Ошанина, здоровье которой было расшатано, решила уехать за границу и вскоре действительно отправилась в Париж, чтоб уж не вернуться в Россию. Все эти факты и вести производили самое удручающее впечатление. Ко мне пришел только Савелий Златопольский, принес прокламацию Исполнительного Комитета, только-что отпечатанную, по поводу убийства Стрельникова (18 марта) и настаивал, чтобы, не дожидаясь свидания с другими членами организации, я оставила Москву, которая всем грозит арестом. Мы решили, что всего лучше мне устроиться в Харькове, где есть местная группа, но не было агента Комитета, так как работавшая там М. А. Жебунева, после ареста ее мужа, решила следовать за ним в Сибирь.

Недели через две, 13 апреля, был арестован и С. Златопольский; вслед затем типография „Народной Воли“ была закрыта и весь персонал ее раз‘ехался в разные стороны Это был конец Москвы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

1. В Харькове.

В Харькове я нашла небольшую местную группу из хороших и энергичных людей. Это были: Комарницкий, Анненков, Александр Кашинцев, Немоловский (умер в Шлиссельбурге) и Линицкий, который позже устранился от деятельности. Главной, и можно сказать, единственной деятельностью группы была пропаганда среди рабочих и занятия с ними. Но Харьков того времени был еще весьма незначительным центром, как обрабатывающей промышленности, так и в культурно-просветительном отношении. Университет не отличался непокорным духом и далеко отставал от петербургского, московского и киевского. Ветеринарный институт представлял совсем незначительное учебное заведение, но у революционеров был на лучшем счету, чем университет. Ни других высших учебных заведений. ни каких либо высших курсов в городе не существовало, и общественная жизнь носила провинциальный характер—вернее ее совсем не было. Знаменитое впоследствии Общество грамотности еще не было основано, а из просветительных учреждений воскресная школа Алчевской еще не обещала сделаться тем, чем стала, начиная с 90-х годов. Если назвать фельдшерскую школу на Сабуровой даче, то этим исчерпывались все просветительные и учебные учреждения, в которых можно было искать сторонников революционной партии.

Харьковская группа, подобно другим местным группам „Народной Воли“, имела свой район деятельности и влияния на ближайшие города: Ростов на-Дону, Полтаву, Елизаветград и т. д. Связей в студенчестве и в интеллигентных кругах в Харькове она имела мало за отсутствием хороших проводников, и лица из учащейся молодежи, с которыми нам приходилось иметь дело, не представляли ценного материала. Денежных средств группа не имела вовсе. Случилось, что у

всех вместе наличность равнялась 1 р. 20 к. -1 р. 40 к. При таких условиях немыслимы были поездки даже в ближайшие местности, и они совершались очень редко.

Так обстояло дело, когда в июне пришло известие, что в Петербурге арестованы члены Комитета: А. Корба и Грачевский, а с ними и лейтенант А. Р. Буцевич, принимавший в то время энергичное участие во всех петербургских делах партии; арестована динамитная мастерская „Народной Воли", хозяевами которой былп А. В. Прибылев и его жена, а прислугой—Юшкова; арестован майор Тихоцкий, съ которым сносился Грачевский, нелегальные: Лисовская и Гринберг,—лица, находившиеся в тесной связи с названными выше. Это несчастье было последним ударом, довершившим гибель Исполнительного Комитета. За от'ездом Ошаниной и Тихомирова за границу, единственным представителем его в России осталась я.

С тех пор вся моя деятельность сосредоточивалась на том, чтобы собрать наиболее крупные силы и создать из них орган, который восполнил бы, насколько это возможно, отсутствие центральной организации, совершенно уничтоженной успешной деятельностью полиции. Положение дел было катастрофическое: в Петербурге и Москве—полное раззорение: сношения с ними прерваны. На юге, в Одессе, после выдач Меркулова, деятельности Стрельникова и его убийства не оставалось ничего: туда из Петербурга приехала только Салова (бывшая впоследствии в организации Лопатина). Местные группы в Киеве и Харькове были еще недостаточно опытны, но кое-кто из старых народовольцев, рассеянных по разным местам, еще уцелел, и хотя они не были членами Исполнительного Комитета, но давно работали вместе с ним в разных отраслях деятельности. Надо было собрать их к одному месту и сговориться относительно восстановления работы. К этому я и приступила.

Я уже упоминала, что в московском переполохе типография, в которой печатался партийный орган, была закрыта, квартира ликвидирована, шрифт сдан в склад на хранение. Вместе с тем исчезли и редакция, и сотрудники органа. Но в предшествующий период Исполнительный Комитет, кроме московской типографии, нашел нужным организовать еще две—в Западном крае: в Витебске и Минске. Они были вполне

устроены, оборудованы и персонал их подобран. После арестов в Москве эти типографии оказались совершенно отрезанными, без всяких средств к дальнейшему существованию и даже без цели, потому что работу должна была давать московская организация, а она в марте-апреле была совершенно разбита. Типографиям пришлось ликвидироваться: работники отказались от квартир, шрифт сдали на хранение, а сами разбежались кто куда, претерпевая всевозможные мытарства и лишения.

Много тяжелого пришлось тогда пережить и им, и мне, к которой стали обращаться, как к единственному лицу из прежнего центра. Так из витебской типографии в Харьков приехала молодая женщина, с которой я решительно не знала, что делать. Совершенно необразованная и неразвитая, она была непригодна ни к умственной, ни к физической работе. Собственных средств она не имела, родных, которые могли бы поддержать ее, у нее не было, а между тем она жила по самодельному паспорту и в довершение всего была беременна. И это в то время, когда в Харькове у всех налицо было 1 р. 20 к.—1 р. 40 к. Затем явился метранпаж из типографии, тоже нелегальный и совершенный чужак, которого лично никто в Харькове не знал. Приглашенные организацией широкого размаха для специального дела, для которого они были нужны и полезны, теперь, при ее разгроме, они оказывались без всяких занятий; выбитые из колеи и беспомощные, они ложились тяжелым нравственным и материальным бременем на тех, кто был связан с прежней организацией и более всего на меня, как наиболее ответственное (в организационном смысле) лицо. Между тем, не зная, кто именно привлек к витебской типографии этих лиц, и не имея возможности получить определенную рекомендацию, которая говорила бы за них, я не могла отнестись к ним с полным доверием и не хотела пользоваться их услугами, как услугами людей, неизвестных на деле.

Хозяевами московской типографии были: Г. Чернявская, находившаяся после ликвидации Москвы на Кавказе, и Суровцев, уехавший из Москвы в Воронеж. Третьим лицом, работавшим с ними, была П. Ивановская, вскоре приехавшая ко мне в Харьков. На Кавказе же находился Сергей Дегаев с женой, которую я еще не знала. Все они должны были

с'ехаться в Харьков, чтобы вместе со мной обсудить, что делать.

Между тем я с'ездила в Киев, чтобы лично познакомиться с тамошней местной группой. Ее членами были: А. Н. Бах, Каменецкая, Каменецкий, Росси, Кржеминский, петербургская курсистка С. Никитина, с которой я встречалась в 1881 г. у Гл. Ив. Успенского, Захарин и бывший ссыльный из Одессы Спандони. Член московской группы Гортынский, посланный в Киев, был арестован также как и его товарищи по работе в Киеве: Урусов, Василий Иванов и Бычков. Киевская группа, подобно другим группам, вела пропаганду среди рабочих, среди молодежи и общества. Она имела свой обширный район деятельности в ближайших губернских городах и, как по численности, так и по качественному составу, занимала второе место после московской.

Из восьми членов группы я была знакома только с Никитиной, очень хорошей и энергичной девушкой; из остальных я видела в Киеве только Спандони, Росси, Захарина и Каменецкую. Все они производили отличное впечатление, но я решилась привлечь к работе в центре только Спандони, человека испытанного, видевшего всякие виды. После переговоров он дал свое согласие и стал часто приезжать в Харьков, отдавая себя в полное распоряжение будущей организации

2. Деньги.

Денежный вопрос стоял в то время ребром, так как никакого финансового наследства ни от Петербурга, ни от Москвы не осталось, а провинциальные группы средствами всегда были бедны; между тем без денег нелегальная организация, конечно, не могла ни существовать, ни действовать. Выручил Спандони. Находясь в ссылке, он подружился с Евгенией Субботиной (суд. по процессу 50-ти), в свое время отдавшей вместе с сестрами и матерью большое состояние [1]) на революционную деятельность организации, к которой они принадлежали. Доверяя Спандони, Евгения выразила готовность отдать последние 8 тысяч рублей, остававшиеся у нее, с условием, что революционная партия будет высылать ей в Сибирь по 25 р. в месяц. Деньги хранились у родственницы

[1]) Для этого они продали громадное именье в Курской губернии.

Субботиной, В. Шатиловой. Она жила в Орле и я хорошо знала ее: в 1876 г. мы были товарищами и самыми близкими друзьями той московской организации, в которую входили цюрихские студентки и кавказцы процесса Бардиной и Петра Алексеева, 18-ти-летняя Шатилова отличалась тогда горячей преданностью как революционному делу, так и арестованным друзьям. Очень деятельная и сердечная, она была одной из самых симпатичных девушек, которых я когда-либо встречала. Некрасивая лицом, она привлекала сердца своей отзывчивостью, очаровывала умом, оригинальной манерой говорит с интонациями, ей одной свойственными, и женственностью, в которой была и мягкость, и милая насмешливость. Живая и веселая, она была и серьезной, умела повелевать и, при случае, кому нужно, пустить пыль в глаза. Ее очень забавляло, что в жандармском управлении лежит дело с надписью: „Государственная преступница В. А. Шатилова, 18 лет", и она цитировала эти слова с особенным шиком. Привлеченная к следствию по делу 193-х, она была оставлена на свободе и вела нелегальную переписку с тюрьмами и рисковало собой на каждом шагу, не помышляя ни о каких опасностях, готовая ради друзей решительно на все. Под конец посадили и ее за решетку, но по процессу 193-х она была оправдана. Мать Субботиных, ее ближайшая родственница, по тому же делу была отправлена в Сибирь; две сестры Субботины: Евгения и Надежда пошли на поселение, а третья, Мария, умерла от туберкулеза в Самарской губернии, в ссылке—все три по делу 50-ти. После 1878 года, когда не стало тех, которым она так отдавалась, Вера Андреевна поселилась в Орле и ее связь с революционным движением порвалась, хотя память о всех тех, а кем она была соединена в прошлом, она сохраняла во всей целости.

Спандони писал Шатиловой о решении Е. Субботиной отдать деньги в его распоряжение. Теперь мы условились, что я поеду в Орел повидаться с Верой и получить деньги, а затем проеду в Воронеж, чтобы розыскать Суревцова и встретиться там с помещиком, бывшим членом группы „Победа или смерть". Хотя он и его жена отошли от революционного движения, как я упоминала, говоря об этой группе, однако, после разделения „Земли и Воли" Александр Михайлов получил от них 23 т. р., обещанные еще в то время,

когда они стояли близко к будущим народовольцам. Теперь я надеялась, что в критический момент они не откажутся еще раз притти на помощь революционной партии.

Стояли летние теплые дни, когда я отправилась в путь. На душе было тяжело. Разгром в Петербурге, рассказ приехавшей ко мне П. Ивановской, о полном развале в Москве, неудачи, испытанные мной при попытках возобновить сношения с севером — все это создавало нерадостное настроение. Когда я была в Киеве, то поручила Никитиной поехать в Петербург, чтобы узнать о положении тамошних дел. Не успела она хорошенько оглядеться, как была там арестована. Тогда я отправила туда Комарницкого, лучшего члена харьковской группы. Пропал там и он. Отвратительные слухи о деятельности Судейкина приходили с севера. Всем арестованным он рекомендовал себя, как социалиста, сторонника мирной пропаганды, отрицающего только террор и борющегося исключительно с ним. Всем без разбора он делал предложения вступить в агенты тайной полиции, не для предательства людей, говорил он, а лишь для осведомления о настроениях партии и молодежи. Недорого он ценил их будущие услуги: Комарницкий, несмотря на свою молодость, с первого взгляда производил впечатление умного, серьезного и честного юноши. Но Судейкин не задумался и по отношению его сделать гнусную попытку, предложив 25 р. в месяц...

Людей мало, да и те пропадают по неизвестным причинам, бесплодно, на первых же шагах своих. Под ногами чувствовалась зыбкая почва, неуловимое предательство или провокация, при которых терялась всякая уверенность, что строится что-то прочное.

Денег нет и неизвестно, что даст эта поездка в Орел и Воронеж к людям, которые отошли от движения, не переживают тяжести потерь и не болеют всеми болями, падающими на прежних товарищей по революционному делу.

В глубоком раздумье об овсем этом сидела я в полумраке железнодорожного вагона и в уме выплывали мысли печальные, а не надежды. Вдруг стало веселее: на маленькой станции в вагон неподалеку от меня села молодая парочка, должно быть, молодожены—учитель и учительница, как я потом узнала. Он—настоящий Адонис, рослый, статный, волоокий красавец, хотя с мало выразительным, неодухотво-

ренным лицом. Она—маленькая шатенка, хрупкая и нежная влюбленными глазами смотрящая на своего спутника. Уселись, поставили между собой большую корзину с пирогами, булками и разной едой и принялись закусывать, угощая друг друга, ласковыми улыбками и сияющими глазами подзадаривая и без того здоровый аппетит. Я видела последнее время только несчастье и неудачи, неуверенность в завтрашнем дне, неотвязную заботу о разрушающемся революционном деле. Кругом были только тонущие, барахтающиеся в революционном хаосе люди, потерявшие положение, связи, бесприютные и безрадостные. И надо всем этим тяготела неотвязная мысль о деньгах, как и где достать их, чтобы упорядочить расстроенное революционное хозяйство, распределить по местам и поддержать людей, которые могли совершать нужную революционную работу.

И вдруг идиллическая картина: радостные лица, двое—баловней жизни, детски беззаботных, черпающих пригоршней свою долю удачи и счастья.

В Орле я направилась прямо к Шатиловой. Она обрадовалась мне и мы встретились самым сердечным образом. Еще бы! Так многое связывало нас в прошлом: ежедневные встречи и ежедневные общие заботы в 1876 г., общие друзья, общие симпатии, личные и общественные. Теплый прием давал надежду на успех и того дела, ради которого я приехала. Но мне было трудно говорить Шатиловой о деньгах, о том положении, в котором находилась революционнан партия в данный момент. Вера Андреевна не менее 5 лет стояла вне всего, что имело отношение к революционному делу и знала только внешнюю сторону его, как знала ее вся интеллигентная Россия. Язык не поворачивался говорить о деньгах при таких условиях; я написала ей письмо и, повторив то; о чем ей уже писал Спандони, просила, не дожидаясь письменного распоряжения Субботиной, выдать хотя бы часть денег, которые она решила передать Спандони.

Нет! Она не может исполнить этого и должна ждать письма Субботиной—таков был ответ.

С болью пришлось ехать дальше.

В Воронеже — тихая поросшая травой улица провинциального типа; небольшой деревянный дом грубой постройки

фруктовый сад, спускающийся по отлогому косогору почти до самой реки, протекающей внизу—такова была обстановка, в которую я попала с вокзала по адресу, данному мне в Харькове Ивановской. Хозяев, которыми были два служащих в банке, отрекомендованные как народовольцы, не оказалось дома—они были на службе. Меня встретила жена одного из них—хилая работница, изможденного вида; с ней пришлось ждать тех, к кому я имела явку. Когда хозяева пришли, то первым вопросом, поднятым ими, было, куда поместить меня? „Ни в каком случае не в гостинице“, говорил один: „У нас в Воронеже приезжие должны сами ходить в участок для прописки и вам, которую всюду ищут, итти в полицию невозможно“.—„Но у нас вам оставаться опасно—мы оба поднадзорные“, прибавил другой: „у нас может быть обыск“. „Так что же, срашиваю я: сейчас же уезжать обратно“?—„Нет“; они подумали и примумали „Мы отведем вас к бабке - просвирне. У нее вам будет во всех отношениях хорошо. Она живет на окраине, и хотя к ней и ходят всевозможные кумушки-соседки, но зато к ней часто приезжают гостить из окрестных сел, и ваше появление не обратит внимания“.

Сказано, сделано: мы отправились к просвирне. Я до сих пор с чувством признательности и умиления вспоминаю женщину, к которой меня привели. Она жила в собственном домике среди других миниатюрных хибарок, вблизи церкви, для которой пекла просфиры, что давало ей небольшой заработок и большую известность. Около дома тоже имелся сад, спускающийся к пустынному берегу реки. Я была сердита: мне не нравилось поведение интеллигентов, перебрасывающих опасную гостью с своих плеч на женщину, простую и бедную. Но лицо у меня просветлело: она встретила меня не только радушно, а сердечно. От всего, что она говорила и делала, веяло такой теплотой и приветливостью, что я сразу почувствовала себя легко и свободно. Во все время она заботилась обо мне во всех мелочах домашнего обихода, обо мне, ей совершенно чужой и незнакомой, как будто она меня знала давным-давно, и я была ей родной и дорогой. Это составляло кричащий контраст с приемом, встреченным у первых хозяев. В довершение я узнала, что по-

стояльцем у просвирни живет студент, исключенный из университета и высланный на родину, стало быть, состоящий под наблюдением полиции. Но что уже совершенно оттолкнуло меня, так это отношение рекомендованных народовольцев к Суровцеву, которого они считали своим приятелем. Когда он пришел ко мне, то я с удивлением услыхала, что он не имеет квартиры, а живет под открытым небом, на лоне природы, на берегу реки; днем разводит костер, кипятит воду и варит картошку, а на ночь, в непогоду, забирается под опрокинутую лодку. При этом страдает малярией... Как можно было допустить, чтобы товарищ, нелегальный, больной, оставался в таких условиях—было совершенно непонятно.

Когда через несколько дней я уезжала, бабка трогательно простилась со мной; она сказала? „У меня одно время жил Халтурин, и, хотя я не знаю, что вы делаете и за что вас преследует правительство, но я знаю. что вы хорошие люди, и готова помогать вам всем, чем могу“.

Так мы расстались; но сколько лет ни проходило — ее образ не переставал утешать и радовать меня.

Суровцев, уговорившись со мной, скоро переехал в Харков. Он привез с собой 600 руб. „Откуда эти деньги?“ спросила я.

— NN взяли их взаймы у просвирни с тем, что при первой возможности мы отдадим их.

Это были сбережения всей жизни, отложенные на приданое для дочери, уже взрослой девушки.

„Зачем вы взяли эти деньги?“—возмутилась я.—„Ведь нас могут арестовать и бабкины деньги пропадут“.

К счастью, от Субботиной скоро пришел документ, которого ждала Шатилова. Спандони вручил мне деньги, и Суровцев мог тотчас уплатить долг.

Суровцев оказался удачливее меня: я денег в Воронеже не достала, хотя и виделась с богатым помещиком. Ссылаясь на разгар полевых работ и отсутствие свободной наличности, он отказал в денежной помощи организации, которая в данное время не одерживала побед.

Я испытала и другую неудачу в этом городе. В Воронеже жил студент, бывший в Петербурге членом университетской центральной группы, с которой имели дело, сначала

Колодкевич, а потом я и А. Корба. Подбирая людей для центрального коллектива, я имела в виду пригласить и его, как человека небезызвестного и давно имевшего отношение к революционным делам. Якобинец по взглядам, он был хорош с Ошаниной—тоже якобинкой в прошлом и, кажется, даже рекомендован ею. Однако, он отказался от предлагаемого участия, мотивируя своей непригодностью для такой роли. В то время этот отказ сильно огорчил меня: мне казалось, что положение таково, что никто отказываться не должен. Потом я отнеслась к этому хладнокровнее; быть может, это было искреннее сознание недостаточности своих сил. В самом деле, это лицо потом нигде не выступало и потонуло в неизвестности. При энергии и силе чувства и воли—не случилось бы этого.

3. Дегаев.

В сентябре в Харьков приехал Сергей Дегаев со своей женой. Они вернулись с Кавказа, где провели лето одновременно с Г. Ф. Чернявской. Вскоре затем оттуда пришло известие о разгроме кружка офицеров Мингрельского полка, организованного А. П. Корба осенью 1881 г.

С Дегаевым и его семьей я познакомилась в Петербурге осенью 1880 года, когда для моих товарищей по Комитету он был уже своим человеком. Они рекомендовали его, как очень способного, умного человека, преданного партии и полезного ей. Небольшого роста, широкоплечий, он имел невзрачную наружность, но лицо не имело того тупого и отталкивающего выражения, которое запечатлено на фотографиях, опубликованных правительством при розыске его после убийства Судейкина[1]). В общем, лицо было ласковое, добродушное и подвижное; манеры и голос мягкие. Деловые сношения с ним вели многие: Желябов, Колодкевич, Корба, Ал. Михайлов и Тихомиров, который находил сестру Дегаева—Наталью Петровну очень талантливой и интересной. Дегаев не был вхож в наши нелегальные квартиры и никогда не знал их адресов, но не по доверию к нему, а по-

[1]) См. "Былое", 1906 г., кн. 4.

тому, что относительно этого в нашей организации соблюдалась самая строгая конспирация; сами члены Комитета знали и ходили только на те квартиры, с которыми были связаны деловой необходимостью. Таковы были правила. Сверх того Дегаев был на счету у полиции, как неблагонадежный, и шпионы могли интересоваться тем, куда и к кому он ходит. Виделись с ним у кого-нибудь из лиц нейтральных, или же у него самого, так как он жил с семьей, которая вся принадлежала к сочувствующим, и самым радушным образом принимала всех народовольцев. Так принята была и я. Наталью Петровну я не застала в Петербурге — она уехала вместе со своим мужем—Маклецовым в Харьков, где потом я и познакомилась с нею. Кроме очень добродушной матери, остальными членами семьи были: сестра Дегаева—Лиза, девушка лет 19, и Володя юноша лет 18, по развитию и характеру еще совсем ребенок. Семья была дружная: в ней все были высокого мнения друг о друге: Сергей Дегаев очень ценил сестер, а те, в свою очередь, превозносили способности брата. Он действительно был очень работоспособен: успешно сдавал экзамен в институте инженеров путей сообщения, служил в Правлении одной железной дороги, посвящая конторским занятиям время от 10 до 4-х, давал уроки математики и наряду со всем этим вел революционные знакомства, поддерживал связи с товарищами по артиллерийской академии, из которой был исключен за неблагонадежность, и аккуратно исполнял все просьбы и поручения членов Комитета. Жили Дегаевы скромно, как говорится, в обрез. Мать, повидимому, имела пенсию или кое-какие сбережения, совершенно, однако, недостаточные для жизни, и материальная помощ Сергея от всякого ряда заработков была главным источником средств существования. При всей скромности домашней обстановки перспективы будущего в семье рисовались блестящие. Лиза—Тамара, как я называла ее—очень красивая брюнетка с правильными чертами лица, совершенно другого типа, чем у остальных членов семьи, занималась в консерватории и все надеялись, что из нее выйдет прекрасная музыкантша. В этих видах мать очень заботилась об ее руках, тщательно оберегала дочь от мелких хозяйственных работ, а сама Лиза нередко сидела дома в перчатках, чтобы руки не пострадали от холода в квар-

тире. Ее сестра, Наталья Петровна, училась декламации и, кажется, думала выступать на сцене. Она сама и ее близкие ожидали больших успехов от ее артистических выступлений. Однако, в Петербурге на вечере какого-то литературно-художественного кружка и в Харькове эти выступления не отличались блеском и ее декламация, неестественная и манерная, не нравилась, а потом замужество ногрузило ее в обычную семейную жизь. О Наталье Петровне говорили, как о поэтессе, и она действительно писала стихи. Рассказывая о Париже, о знакомстве с П. Л. Лавровым, она сообщала друзьям, что изучала там великую французскую революцию по *архивам* и это изучение навело ее на мысль написать драму из этой эпохи. Нам она читала написанный белыми стихами, отрывок из этой драмы; темой—была сцена свидания Робеспьера, Марата и Дантона, но для этого, понятно, ни в каких архивах надобности не было. В семье вообще замечалась склонность к преувеличению, к эффектам и даже к экстравагантности. Лиза много раз заявляла, что выйдет замуж только за богатого, но это была фраза: я слышала позднее, что она влюбилась в своего деверя, человека без средств. Наталья Петровна с удовольствием рассказывала о сенсации, которую она и сестра вызвали однажды в театре, появившись в ложе одна—в белом, другая—вся в черном.

В день казни первомартовцев, Лиза непременно желала быть на Семеновском плацу, хотя мудрено было выдержать это зрелище, когда она лично знала и Желябова, и Перовскую, и Кибальчича. Действительно, ей стало дурно и первую помощь ей оказало „гороховое пальто“, услужливо проводившее ее домой и ставшее посетителем семьи, пока его не попросили больше не бывать, узнав по спискам Клеточникова, что это за господин.

Володя, добрый, мягкий мальчик, был исключен из Морского училища, как неблагонадежный. С детской наивностью, он спрашивал меня, *когда* будет революция? Он ждал в ответ, что она будет месяца через три, самое большее—через полгода, и был очень разочарован, услыхав, что никто не может определить времени, когда она наступит. Через год после этого я с изумлением узнала, что с благословения Златопольского и Сергея Дегаева, Володя сделался агентом Судейкина, агентом мнимым, который должен был обманывать

умного, ловкого и опытного сыщика, и, не выдавая революционеров, сообщать партии сведения о деятельности Судейкина.

Что касается самого Сергея Дегаева, то, несмотря на общий отзыв о нем, как об очень умном человеке, я решительно не неходила этого. Главное, что бросалось в глаза, это полное отсутствие индивидуальности: в нем не было ничего оргинального, твердого и характерного. Мягкость, уступчивость—вот главные черты, которые я заметила при первом же знакомстве. Наряду с этим стояло преклонение пред теми членами Комитета, с которыми он имел дело. Это преклонение выражалось даже в бестактной форме, которая коробила, потому что хвалебные гимны пелись в лицо. Благодаря мягкости Дегаева, он был в хороших отношениях со всеми, кто его знал. Не знаю, насколько он мог влиять на других людей, но для заведения и поддержания связей он был дорогим человеком: в Институте Путей Сообщения он организовал кружок, одним из членов которого был Куницкий, занявший потом выдающееся место в польском „Пролетариате", а при организации военных групп в Петербурге и Кронштадте Дегаев был одним из самых полезных посредников между офицерами и Комитетом.

Мелкого самолюбия и честолюбия в Дегаеве я не замечала и лишь впоследствии от Корба мне стало известно, что он раза два начинал разговоры о *приеме* его в *члены* Исполнительного Комитета. Это очень редко случалось в революционной среде и не считалось чертой, заслуживающей симпатии.

По приезде в Харьков Дегаев вкратце рассказал мне о том, как он провел те полтора года, в которые мы не видались, и, между прочим, сообщил, что после 1-го марта он был арестован, как участвовавший в работе по подкопу на Малой Садовой, но удачно вывернулся из этого дела. Я очень удивилась такому исходу, потому что единственным свидетелем против него мог быть только предатель Меркулов, и снять с себя указание такого человека было мудрено. Но Дегаев совершенно умолчал об очень крупном обстоятельстве, касающемся его. Дело в том, что к весне 1882 года Судейкин убедился, что Володя Дегаев для сыска бесполезен и отказался от его услуг. Тогда в Петербурге придумали но-

вую махинацию, чтоб поддержать сношения с Судейкиным и, выследив его, уничтожить. Для этого Володя должен был сказать своему патрону, что его брат Сергей нуждается в заработке и может исполнять чертежную работу. Судейкин пошел на это, и Сергей получил от него требуемую работу. Они виделись несколько раз, вели, по словам Дегаева, исключительно деловые разговоры, которые он передавал Грачевскому, а затем Дегаев уехал на Кавказ, не добыв для Грачевского никаких нужных сведений [1]).

---

[1]) Важно бы выяснить, не с этого ли времени началось 3-х месячное слежение за Грачевским, кончившееся крахом 3-го июня.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

1. Необходимость воссоздать центр.

Когда Сергей Дегаев приехал в Харьков, я встретилась с ним, как со старым, испытанным товарищем и после того, как 3 июня в Петербурге были арестованы: Грачевский, Корба, Буцевич, Прибылев и др., прием его в центр, который привел бы к какому-нибудь упорядочению дел партии, был совершенно необходим. По своему участию в революционной работе за период 2—3 лет он имел право на это; он был облечен доверием погибших товарищей; он служил главным проводником в среду петербургских и кронштадтских артиллеристов, с которыми его связывало пребывание в академии и прежняя служба в Кронштадте; он знал многих членов группы моряков—товарищей Суханова и, как член группы артиллеристов, входивших в военную организацию, был посвящен во все дела этой организации. К тому же мы испытали новую потерю: П. С. Ивановская отправилась в Витебск выручить тамошнюю типографию, чтобы перевести ее на юг, но по приезде туда была арестована. Франжоли, приехавший из Саратова с Завадской в Харьков, оказался в таком состоянии, что совершенно выбывал из строя, а я намечала его, как самого серьезного кандидата в центр. Все меньше оставалось людей, которые, объединившись, могли возобновить деятельность Исполнительного Комитета. Перед Дегаевым, как и перед Спандони, нечего было скрывать истинное положение дел. Во имя этого положения мы должны были приложить все усилия для реорганизации центра и, сплотившись воедино, взять на себя всю ответственность, которую налагали на нас обстоятельства, как бы ни была тяжела эта ответственность. Дегаев, молча, выслушал мой рассказ и согласился сделаться членом центральной организации, которая должна была стать во главе партии.

Но, если я искала и хотела найти людей сильных, у которых была бы самостоятельная точка зрения относительно ведения дел партии, были бы взгляды, которые они хотели и умели бы отстаивать, то я не нашла этого в Спандони и Дегаеве. У них не было определенного мнения о том, что надо предпринять в данных условиях и чего не надо делать в настоящий момент. Зависело ли это от неопытности, от того, что раньше они не состояли в центре и, стало быть, не были во главе движения и играли лишь второстепенные роли, не участвуя в руководительстве и решении общеорганизационных вопросов, или дело было в личных свойствах, которым не помог бы никакой опыт, только они во все последующее время не проявили никакой инициативы, не предложили ни одного плана, а совершенно пассивно подчинялись мне и всегда соглашались с моими предложениями. Но я не хотела действовать единолично, вполне сознавая недостаточность для этого моих сил, хотела быть членом коллектива, в котором люди уравновешивали и взаимно дополняли бы друг друга; на деле же вместо коллектива создавалась лишь одна видимость его. Это составляло одно из самых мучительных обстоятельств, постоянно угнетавших меня, тем более, что поделиться этим общественным горем было не с кем. Первый состав Комитета при всей малочисленности своей мог сделать так много не только потому, что в нем были выдающиеся люди, но также благодаря счастливому соединению разнообразных типов и темпераментов своих членов. В нем был теоретик Тихомиров; практик Фроленко; агитатор Желябов: организаторы А. Квятковский и Ал. Михайлов так, что в общем создавалось гармоническое целое. Гибель организации Исполнительного Комитета с того и началась, что аресты, выхватывая из рядов то одного, то другого, создавали утраты, нарушавшие гармонию и равновесие целого.

Теперь я стремилась воссоздать подобие того, что было разрушено. Быть может, мой выбор пал не на тех, на кого следовало, но я оперировала с тем материалом, который лично был мне известен, и, оглядываясь ретроспективно на последовавшее затем десятилетие, не приходится ли сказать, что все оно наполнено подобными же тщетными попытками отдельных личностей и небольших групп воссоздать то, что по существу было уже не воссоздаваемо. „Народная Воля“,

как организация, изжила себя. В России того времени не было такого накопления революционных сил, чтобы, несмотря на все аресты и все усовершенствования сыска, организация могла всегда стоять на том высоком уровне, на каком она была при образовании „Народной Воли“. Но „Народная Воля“ сделала свое дело. Она потрясла Россию, неподвижную и пассивную; создала направление, основа которого с тех пор уже не умирала. Ее опыт не пропал даром; сознание необходимости политической свободы и активной борьбы за нее осталось в умах последующих поколений и не переставало входить во все последующие революционные программы. В стремлении к свободному государственному строю она была передовым отрядом русской интеллигенции из среды привиллегированного и рабочего класса. Этот отряд забежал далеко по меньшей мере на четверть века вперед, и остался одиноким. „Народная Воля“ имела упование, что этого не случится, что политическая катастрофа 1 марта, нисвергая императора, освободит живые силы народных масс, недовольных своим экономическим положением, и они придут в движение и в то же время общество воспользуется благоприятным моментом и выявит свои политические требования. Но народ молчал после 1 марта и общество безмолвствовало после него. Так, у „Народной Воли“ не оказалось ни опоры в обществе, ни фундамента в народе, и напрасны были попытки возобновить организацию для безотлагательного продолжения активной борьбы против существующего строя. Эти попытки были эфемерны по краткой деятельности возникавших организаций, и они гибли прежде, чем наступал момент активных действий с их стороны. Полное отсутствие культурного развития в крестьянстве, благодаря низкому уровню экономического развития России, отсутствие в 80-х промышленного пролетариата в западно-европейском смысле, невозможность в деспотическом полицейском государстве обращаться с печатным и устным словом к массам, были причиной той изолированности, в которой, после всех своих политических выступлений, оказалась „Народная Воля“. Надо было создавать фундамент и на основе хозяйственного развития России строить новую партию, что было делом будущего. В предвидении этого будущего должна была возникнуть новая партия, и действительно возник зародыш ее—группа

освобождения труда—будущая социал-демократия, которая, обратившись к рабочему классу, год за годом стала закладывать этот фундамент. Однако, как всегда бывает, старое не могло отойти сразу. Поколение, причастное народовольческому движению, воспитавшееся в блестящий период деятельности Комитета, одушевленное примером его борьбы, не могло отказаться от надежды на продолжение этой борьбы сейчас же, в том же духе и в той же форме, как ее вела „Народная Воля“ За истекший период создались известные настроения, заложились чувства, победить которые личность не могла: прошлое, столь недавнее, слепило глаза от яркой активной деятельности на виду всей страны и всего мира, психологически было трудно спуститься до серой незаметной, кропотливой работы для будущего и не давать яркого отпора правительству, срезавшему верхи революционных деятелей. Это будущее еще не было освещено и не манило скорыми результатами.

Не то же ли самое происходило после разгрома „хождения в народ?“

От прежних форм деятельности отрешались медленно и постепенно. Половина 1875 года и почти весь 1876 год прошли, практически, в попытках повторить прошлое, а теоретически, в смысле выработки программы, революционная мысль не формулировала ничего нового. Она работала скрытно. Образование Общества „Земля и Воля“ в октябре—ноябре 1876 г. выявило эту мысль и знаменовало собой первую ступень эволюции в направлении к „Народной Воле“. Если в народнической программе О-ва „Земля и Воля“ были уже зачатки политического течения, нашедшего полное выражение в „Народной Воле“, то в программе последней, как это не раз отмечалось в литературе, элемент народничества все же был выражен еще достаточно ясно, а в рядах революционных слоев, в момент выступления „Народной Воли“, он положительно преобладал: нужно было много усилий и пропаганды делом, чтоб победить предрассудок относительно гибельности для интересов народных масс борьбы за политическую свободу.

Изложив Дегаеву и Спандони общее положение дел: полное уничтожение личного состава Комитета; прекращение всех изданий и закрытие типографий; состояние революционных финансов и живых сил в Одессе, Киеве, Харькове, Орле,

Москве и Саратове, потерю связи с Петербургом, раззоренном катастрофой в июне, я предложила обсудить вопрос, как восстановить революционный центр и революционную прессу, этот важный показатель существования партии.

Мой собственный план восстановления центра состоял в том, чтобы извлечь из военной организации человек 5, наиболее выдающихся по своим способностям и характеру. Вместе с нами они должны были взять на себя общепартийные обязанности исчезнувшего Комитета и для этого, оставив военную службу, выйти и из военной организации, поддерживая с ней лишь те отношения, какие раньше имел Комитет.

Я мотивировала этот план тем, что, кроме военной среды, в настоящий момент неоткуда взять нужных людей; что положение партийных дел не давало на неопределенно долгое время никаких надежд на то, что военная организация потребуется для выполнения той цели, для которой она создавалась. Этой целью, с одной стороны, была поддержка вооруженной силой того народного и общественного движения, которое могло возникнуть стихийно после 1 марта или дальнейших фактов подобного рода; с другой стороны—задачей ставилась организованная попытка восстания силами, подготовленными партией в войске, в рабочем классе и в интеллигенции. Но если в январе - феврале 1881 г., при обсуждении возможности инсуррекции, Комитет ясно видел, что этих организованных сил в данный момент слишком мало для подобной попытки, то после всех потерь, испытанных в Москве и Петербурге в течение 1881 и 1882 гг., всякую мысль о том, чтобы почин уличной борьбы против правительства партия взяла на себя, надо было решительно оставить. Но в таком случае для чего в данный момент служила бы военная организация? Ее члены были связаны серьезным обязательством поднять оружие по призыву своего центра. Если же этого призыва нельзя было ожидать, то терялся всякий смысл чисто словесных обязательств, подвергавших, однако, чрезвычайному риску тех, кто их давал. Правда, я не предлагала распустить военную организацию—это могло быть делом вновь организованного общего центра. Быть может, он изменил бы ее программу и придал ей более пропагандистский подготовительный характер. Но в данную минуту—в видах общего

положения партии мне казалось наиболее целесообразным взять офицеров: Завалишина, Рогачева, Ашенбреннера, Похитонова и Крайского из военной организации и вместе с ними приняться за упорядочение всех общепартийных дел. Я знала, в каком неподвижном состоянии находятся военные группы Одессы и Николаева, и сильно подозревала, что и в Петербурге всякая деятельность замерла после того, как Суханов, а потом Буцевич были арестованы. Обследовать в этом отношении Петербург и передать намеченным лицам мое предложение всего удобнее было Дегаеву, как человеку, в Петербурге известному, и я предлагала, чтобы он взял это на себя.

Спандони и Дегаев одобрили и мой план, и объезд военных организаций Дегаевым был решен; вместе с тем, по моему же предложению, было решено, что после поездки в Петербург и на юг—в Одессу и Николаев, Дегаев поселится с женой в Одессе, где я организую типографию, хозяевами которой будут он и его жена.

Так и было сделано. С Похитоновым легко было встретиться: он служил в Кобеляках, Полтавской губернии; мы вызвали его в Харьков, но когда после первого свидания Дегаев письменно поставил ему вопрос об оставлении военной службы и вступлении в центр, то он отказался; он не мог решиться на предлагаемый шаг, потому что страдал болезнью, настолько серьезной, что врачи предсказывали психическое заболевание, если он попадет в неблагоприятные условия тюрьмы. Тяжело было узнать об этом; но отказ не спас Похитонова от Шлиссельбурга, где предсказание врачей сбылись полностью: он сошел с ума и в 1896 году был переведен в Петербург, в Николаевский госпиталь, где вскоре умер, как это описано в биографическом очерке, написанном мной и помещенном в галлерее Шлиссельбургских узников [1]).

Через посредство Похитонова Рогачев был вызван мной с места службы в Полтаву, где я и встретилась с ним. В нескольких длинных беседах мы обсудили все вопросы и Рогачев дал согласие выйти в отставку и отдаться общереволюционной деятельности.

---

[1]) См. „Шлиссельбургские узники", В. Фигнер, где переиздана в числе других и биография Похитонова. Кн. „Задруга", М. 1920 г.

В Одессу и Николаев я дала Дегаеву все нужные адреса и указания. Там он встретил отказ Крайского и согласие Ашенбренера. Последний затем начал хлопотать об 11-ти месячном отпуске и, когда получил его, уехал в Петербург.

В Петербурге Дегаев виделся с членами военной организации и подтвердил мое предположение, что ее деятельность сошла на-нет: в самом деле со времени ареста Суханова ни личный состав организации не увеличился, ни прочных связей в провинции с тех пор не было заведено. Какой ответ дал Завалишин—я в настоящее время не помню. Вероятно, этот ответ не был так категоричен, как ответ Ашенбренера и Рогачева, иначе это осталось бы в памяти.

2. Свидание с Михайловским.

15-го октября в то время, как Дегаев находился в отъезде, ко мне в Харьков неожиданно приехал Михайловский. Розыскав меня, он сказал, что целью его приезда является весьма важное дело, по которому необходимо получить ответ. Это дело состояло в следующем: в Петербурге к нему явился известный литератор Николадзе и сообщил, что одно очень высокопоставленное лицо[1]) просило его быть посредником между правительством и партией „Народной Воли“ и поручило ему войти в переговоры с Исполнительным Комитетом для заключения перемирия.

Правительство, со слов Николадзе, передавал Михайловский, утомлено борьбой с „Народной Волей„ и жаждет мира. Оно сознает, что рамки общественной деятельности должны быть расширены и готово вступить на путь назревших реформ. Но оно не может приступить к ним под угрозой революцвонного террора. Этот террор, *только* он, препятствует осуществлению этих реформ. Пусть „Народная Воля“ прекратит свою разрушительную деятельность и они будут проведены. Если „Народная Воля“ решится воздержаться от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий: 1) полную политическую амнистию; 2) свободу печати и 3) свободу мирной

---

[1]) Граф Воронцов-Дашков.

социалистической пропаганды. А в доказательство своей искренности правительство освободит кого-нибудь из осужденных народовольцев, напр., *Исаева*.

Выслушав Николадзе, Михайловский решился повидаться с кем-нибудь из членов Исполнительного Комитета, а так как единственным представителем его в России оставалась я, то он и передает мне то, что слышал от Николадзе,

Сам Михайловский придавал большое значение миссии, возложенной высокопоставленным лицом на Николадзе. Я же нашла в ней повторение того, чем в 1879 году прокурор Добржинский обольстил Гольденберга. Добржинский тоже уверял Гольденберга в благонадежности правительства, которому в проведении необходимых реформ мешает террористическая деятельность Исполнительного Комитета. Во имя блага родины он увещавал Гольденберга пожертвовать друзьями и товарищами и расчистить широкий путь к свободе русского народа.

Результаты известны: Гольденберг раскрыл все, что ему было известно, и хотя физически не отдал никого в руки правительства (не указал ни одного адреса, ни одного нелегального паспорта), но описал наружность, дал характеристику всех лиц, которых когда-либо встречал, а когда увидел, что обманут, повесился в Петропавловской крепости, как нас тотчас же уведомил Клеточников (летом 80 г.).

Я не буду здесь приводить все доводы, которые убеждали меня в том, что это ловушка, чтобы, завязав переговоры, обеспечить безопасность коронации, или же обыкновенная хитрость полицейского сыска для того, чтобы найти нить, по которой можно было бы проследить народовольческую организацию. Желающие могут найти все подробности об этом в моей статье: „Из политической жизни 1880 годов“, помещенной в II-й книге „Русск. Богатства“ 1912 года.

На все мои возражения, указывающие на несерьезность и даже опасность каких бы то нибыло сношений по данному делу, Михайловский поставил вопрос: „А может ли фактически партия произвести какие-нибудь террористические действия в настоящее время?“

На это мне пришлось сказать правду: положение революционной организации не дает надежд на это.

„В таком случае вы ничего не теряете,—сказал Михайловский, а выиграть кое-что все же можете".

В конце-концов, мы остановились на том, что, категорически отказываясь вести в *России* какие-либо переговоры с Николадзе по данному делу, я, не сообщая ему, пошлю за границу лицо, которое передаст Тихомирову и Ошаниной, как о миссии Николадзе, так и о моем отношении к ней, предоставляя им, если он явиться, поступить по своему разумению, при чем мы, в России, не будем считать себя связанными каким бы то ни было исходом переговоров, которые они будут вести, и, если обстоятельства будут благоприятны, то остаемся вольны в области террористических действий. Михайловский же обещал сказать Николадзе, что никого из Комитета он не нашел и что члены его находятся за границей. Когда Дегаев вернулся из объезда, я передала ему и вызванному из Киева Спандони о моем свидании с Михайловским. Они вполне одобрили, как моё отношение к делу, так и предложенную мной посылку в Париж к Тихомирову своего человека. Подходящей для этого была Салова, которую я знала с 1880 года.

Я вызвала ее из Одессы, рассказала все, что было нужно и поручила взять заграничный паспорт, чтобы отправиться к Тихомирову для передачи всего вышеуказанного, что она и исполнила без отлагательства [1]).

После объезда военных групп, когда выяснилось, что в общепартийный центр войдут: Ашенбренер и Рогачев, можно было приступить к восстановлению партийной типографии. Литературными силами мы были обеспечены только со стороны Михайловского, с которым я уговорилась об этом при свидании в Харькове, и со стороны Лессевича, которого я посещала, бывая в Полтаве. Суровцев по моему поручению съездил за это время в Москву и, получив шрифт из склада, отослал его в Одессу, которая была намечена, как место наиболее подходящее для устройства типографии. Работать в ней должен был Суровцев, а хозяевами, как было уже сказано, согласились быть супруги Дегаевы. Оставалось найти

---

[1]) В числе поручений было указание в случае требования от правительства гарантий в искренности его предложения выставлять условием освобождение не *Исаева*, а *Нечаева*. Об этом я говорила и Михайловскому.

лицо, подходящее для роли прислуги.

Я уже не раз слышала о сестре Ивана Калюжного, сосланного на каторгу, Марье Васильевне, жившей в Ахтырке в очень тяжелых условиях, из которых она хотела выбраться. Мне характеризовали ее, как не очень развитую, но добрую, веселую и здоровую девушку, простую по внешности и манерам. Я вызвала ее в Харьков и, познакомившись, убедилась, что в случае ее согласия участвовать в типографии в роли прислуги, лучшего выбора сделать невозможно. Хотя она и не обладала теоретическим образованием, но вполне сочувствовала революционной деятельности „Народной Воли". Поэтому сговориться с ней было нетрудно. Я свела ее с Дегаевым и его женой, и мы уговорились, что первым выедут Дегаевы, а вслед за ними, когда они подыщут подходящую квартиру, к ним приедет и Калюжная. Это было в 20-х числах ноября. Тогда же в Одессу отправился Суровцев. Спандони, переехавший из Киева в свою родную Одессу, должен был, соблюдая всевозможные предосторожности, быть посредником между типографией и внешним миром, в смысле доставки в нее литературного материала и получения того, что будет в ней напечатано.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

1. Арест одесской типографии.

В 20-х числах декабря из Одессы пришло известие, что там открыта тайная типография и арестовано пять лиц, причастных к ней. (Дегаев с женой, Калюжная, Суровцев и Спандони). Итак, только что организованная типография просуществовала недель пять, и все предприятие рухнуло. Это был тяжелый удар: исчезла последняя надежда на скорое восстановление партийного органа, по существованию или отсутствию которого правительство и широкие круги общества обыкновенно судили о положении революционного дела.

С тяжелым чувством вспоминаю я темную полосу жизни, наступившую вслед затем. Я видела, что все начинания мои не приводят ни к чему, вся моя деятельность безрезультатна. Что я не придумывала—все сметалось, принося гибель тем, кого я привлекала к участию. Погибли: Никитина, Комарницкий, Ивановская, пять человек в Одессе. Я упорствовала, но все было напрасно. Возможно ли в самом деле было отступить, когда молодые души издали смотрели на меня с надеждой, ища нравственной поддержки для себя? Помню одно письмо, полученное тогда: знакомая девушка нелегальная, преследуемая и незнающая куда деваться, писала, что на темном горизонте ее омраченной души, одна светлая звездочка—я. После моего ареста она убила себя, бросившись под поезд. И разве я сама не писала Тихомировт, что он не имеет права уезжать за границу? Что мы не должны бежать от деятельностя, начатой нами, и что его отъезд внесет деморализацию в революционную среду?

Кругом меня все рушилось, все гибло, а я оставалась одна, чтобы, как вечный странник Евгения Сю, совершать скорбный путь, не видя конца.

Теперь больше, чем в предыдущие месяцы, я жила двойной жизнью: внешней—для людей и внутренней—про себя. Наружно надо было сохранять спокойный, бодрый вид, и я бодрилась, а в тишине ночной думала с тоской: будет ли „конец"? „мой конец"? Наутро надевалась маска и начиналась та же работа Пенелопы. Когда в октябре меня посетил Михайловский по делу, о котором было сказано выше, то при прощании спросил, что думаю я делать? Я ответила метафорой: „Буду подбирать порванные нити и концы связывать в узелки". Михайловский взял мою голову в обе руки и осыпал мое лицо поцелуями. Только, прочитав его посмертные строки обо мне, я поняла почему он, никогда не бывавший экспансивным со мной, тогда так целовал меня: эти поцелуи, я думаю, были за мое упорство в преследовании цели.

Не думаю, чтобы при обыкновенных деловых встречах можно было заметить или угадать мое настроение; но близкие знакомые не раз говорили мне: „почему вы задумываетесь так? почему вы смотрите куда-то в даль?" Это было потому, что в душе звучало, не переставая: „тяжело жить!" И взгляд бессознательно обращался в даль, потому что в этой дали скрывался „конец".

Но горшее было впереди. Арест типографии в Одессе был внешней стороной несчастья, была другая, пока скрытая сторона, имевшая самые роковые последствия.

Типография была взята полицией 20 декабря, а в январе числа 23—24 меня экстренно вызвали к моим друзьям—Тихоцким. Софья Адольфовна Тихоцкая, урожденная Дмоховская, и ее муж всегда оказывали мне всякое содействие и помощь. Ее брат судился в 1874 году вместе с Долгушиным, Паниным, Плотниковым и другими. Подобно названным, он был заключен в страшный белгородский каторжный централ, где и провел шесть лет в одиночной камере, такой маленькой, что негде было даже ходить. Мать Дмоховского, женщина удивительного ума, смелости и энергии, путем невероятной настойчивости вырвала у тогдашнего шефа жандармов—грубого и свирепого Дрентельна, разрешение на свидание с сыном и своею твердостью и материнской любовью поддерживала не только сына, но и всех его товарищей. Подробная биография этой матери, будь она написана, дала бы один из прекраснейших типов русской женщины.

2. «Беглец».

Когда я пришла к Тихоцким, я остановилась в изумлении: предо мной стоял Дегаев, хозяин типографии, арестованный в Одессе. „Что случилось? Каким образом вы здесь?“ спрашивала я, взволнованная и радостью, и неожиданностью этой встречи.

— „Я бежал“, пролепетал Дегаев, бледный, расстроенный, с лицом человека, измученного тревогой, и рассказал следующее. Он не знает, что могло навести полицию на след типографии и ее работников: Суровцева и Калюжиной. Быть может, ящики и сундуки со шрифтом, удивлявшие носильщиков своею тяжестью, возбудили подозрение и донос.

После ареста, задумав бегство, он указал на Киев, как на свое местопребывание до Одессы и выразил желание дать показание именно там. Жандармы долго не соглашались, но потом решили удовлетворить это требование. Когда же с двумя жандармами его отправили вечером в пролетке на вокзал, то, проезжая по пустырю, отделяющему город от вокзала, он бросил горсть табаку в глаза жандармов и, соскочив с экипажа, скрылся в темноте.

„В Одессе“, продолжал он, „я нашел приют у офицеров, с которыми познакомился при об‘езде военной организации. Через несколько дней один из них проводил меня на лошадях в Николаев, в тот офицерский кружок, в котором я был при об‘езде, а затем вчера я приехал сюда. Не имея адреса для явки, я обратился к Гурскому, на имя которого должен был писать вам. После долгих отказов и расспросов, он согласился, наконец, указать, как вас найти.

— „Где же вы ночевали? Неужели всю ночь провели на улице?“—с сочувствием спросила я.

— „В нехорошем месте“, ответил Дегаев в смущении. Смутилась и я.

Я—потому, что „дурное место“ поняла в совершенно специфическом смысле, а Дегаев потому, что, как оказалось потом, это убежище было не у девиц, а совсем в ином месте.

— Но как же вы засыпали глаза жандармам табаком,—продолжала я расспрашивать удачливого беглеца:—ведь вы не курите?

Этот вопрос был верхом нелепости, потому что в этих случаях в глаза бросают не курительный, а нюхательный табак.

Дегаев не смутился, а поддержал сказанную мною нелепость: „Я не курю,—об'яснил он,—но купил заранее“.

Наружный вид Дегаева внушал мне участие. Я понимала, что он не мог радоваться свободе, когда его жена оставалась в тюрьме. Этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы человек потерял покой и самообладание. Я употребила все усилия, чтобы подбодрить его. Указывая, что жандармы сейчас же поймут, что его жена не принадлежит к революционной партии и только из любви к мужу пошла на такое рискованное дело, как нелегальная типография; я предложила сейчас же послать нарочного в Белгород, где в то время жила мать и сестра Дегаева, чтобы известить их о случившемся и направить в Одессу хлопотать о поруках: „Если внести залог, то арестованную, наверное, выпустят“, успокаивала я его. На этом мы и остановились, а затем, когда из Екатеринослава вернулась Г. Ф. Чернявская, гостившая некоторое время у сестры, и ей, как Дегаеву, нужна была квартира—то они наняли ее сообща.

Ни я, ни Галина Федоровна не задумывались над фактом побега Дегаева и не анализировали всех обстоятельств, при которых он был совершен: ведь доверие друг к другу всегда было основой отношений между революционерами, связанными в одну организацию, а Дегаев не был человеком новым, за ним было несколько лет деятельности, которая не раз ставила его в рискованное положение, из которого он выходил с честью. Правда, теперь его поведение было поведением человека, который потерял себя, но это казалось естественным в виду его семейных отношений и не возбуждало вопросов.

Впоследствии припоминались странные, отрывочные фразы, которые можно было принять за туманные намеки, быть может, предостережения с его стороны—будь мы сколько нибудь на стороже. Но мы были далеки от этого и могли только делить печаль по поводу несчастья, обрушившегося на него.

„В Одессе кто-то из арестованных выдает“—сказал однажды Дегаев.

— „Кто же может там выдавать?“—спрашивала я.

— „Кто-то из нелегальных“,—отвечал он.

„Да ведь там, кроме вашей жены, Суровцева и Калюжной никаких нелегальных нет. А они люди верные, да и выдавать-то им нечего“.

„Нет,—твердил Дегаев,—кто-то нелегальный выдает“.

Я недоумевала [1]).

Однажды, когда Дегаев и Чернявская были у меня, он спросил:

„А в безопасности ли вы, в Харькове?“

— „Да, в полной безопасности“,—с уверенностью отвечала я.

— „Вы вполне уверены в этом?“ переспросил он.

— „Ну да! Разве, что Меркулов встретил меня на улице!“, сказала я, как о чем-то, совершенно невероятном.

Потом, как то в разговоре Дегаев поинтересовался, в котором часу я выхожу из дому.

В этом, при посещениях друг-друга, не было ничего неуместного, и я, не задумываясь, ответила: „Обыкновенно в 8 часов, когда утром ученицы фельдшерских курсов идут на занятия—ведь я живу по дубликату одной из них.

В другой раз, уходя от меня, он спросил: „есть ли кроме калитки еще какой нибудь выход?“

— Есть, через мелочную лавсчку, которую держат хозяева, но я никогда не хожу через нее,—сказала я в ответ.

И всем этим Дегаев воспользовался.

3. Арест.

После этого разговора прошел день или два, когда 10 февраля, утром, я посмотрела на часы: было восемь, и я вышла из дома. Не прошла я и десяти шагов, как лицом к лицу

[1]) На кого намекал Дегаев? То, что мне одно время казалось предостережением человека, который не мог выдержать роли, имело, быть может, совсем иной, гнусный характер. Дело в том, что Калюжную жандармы через некоторое время выпустили и тотчас пошел слух, что она выдавала. Возмущенная этими слухами, повидимому, пущенными жандармами с определенным умыслом, честная девушка стреляла в жандармского офицера Катанского, чтобы очистить свое имя от клеветы.

Осужденная за этот выстрел на каторгу, Калюжная, в виде протеста, покончила с собой на Каре, одновременно с Ковалевской и Смирницкой, когда Сигида была подвергнута телесному наказанию и умерла.

встретилась с Меркуловым. Один взгляд—и мы узнали друг друга. Он не схватил меня тотчас же и кругом не было видно ни жандармов, ни полиции. Я продолжала итти вперед, обдумывая положение. Скрыться было некуда: ни проходных дворов, ни квартир кого нибудь из знакомых по близости не было. Что у меня в кармане? припоминала я. Записная книжка с 2—3 именами лиц, не принадлежащих к организациям. Почтовая расписка на деньги, посланные в Ростов А. Кашинцеву. Ее необходимо уничтожить. Я шла уже по Екатерининской улице и подходила к небольшому скверу в полуовале, образованном одной стороной улицы. Вместо громадных зданий, которые высятся теперь за этим сквером, там стоял в то время старый деревянный домик. В нем жил хороший человек—токарь Н. А. Ивашев. имевший небольшую мастерскую. Он и его жена—это те простые души, о которых с благодарностью, я вспоминала в маленьком рассказе: „Без приюта", напечатанном в „Русском Богатстве" (декабрь 1910 г.).

Вероятно, жандармы знали, что тут живут мои друзья, потому что едва у меня мелькнула мысль, не зайти ли к ним, как я была окружена, неизвестно откуда взявшимися, жандармами. Одна минута—и я с 2 жандармами была в санях, по дороге в полицейский участок.

Там, в отдельной комнате, сделали личный обыск. Я тотчас заметила, что женщины, позванные для этого, неопытны, и вынула из кармана портмоне, в котором лежала расписка; моментально она очутилась у меня во рту. Женщины подняли крик, вбежал жандарм и схватил меня за горло. Я притворно стала смеяться, чтобы показать, что он опоздал, и жандарм опустил руку. На деле я никак не могла проглотить сухую, не скомканную бумажку и сделала это уже потом.

Приехавший жандармский офицер составил краткий протокол. На вопрос об имени, я сказала: „Если арестовали, то сами должны знать кого". Тогда в комнату вошел Меркулов и с нахальным видом своей обычной скороговоркой сказал: „Что не ожидали"?.. У меня вырвалось: „Негодяй", причем я невольно сделала угрожающий жест. Трус Меркулов попятился к дверям...

Меня перевели в тюремный замок, переодели во все аре-

стантское и принесли кринку молока, настоятельно требуя, чтобы я его пила. Начальство опасалось за мою жизнь: вообразили, что я проглотила не бумажку, а яд. Кусочки желтого кали, хранившиеся в портмоне, как химические чернила, были приняты за смертоносный цианистый кали.

На утро, в сопровождении двух жандармов, я была на вокзале на пути в Петербург.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

1. В департаменте полиции.

Была суббота и день клонился к вечеру, когда мы прибыли в Петербург, и меня водворили в одну из камер в здании департамента полиции. Следующий день, воскресенье, как неприсутственный, я могла отдаться мыслям. О ком, о чем? О матери, с которой не видалась несколько лет, о свидании с ней, об огорчении, которое ожидает ее.

В департаменте меня продержали дня три. Позднее я слышала, что мой арест произвел радостную сенсацию в высших сферах. Александр III, получив известие, воскликнул: „Слава Богу! Эта ужасная женщина арестована!“ Повидимому, для него предназначался мой портрет, снятый на Невском у Александровского и Таубе, у которого обыкновенно снимали всех арестованных. Когда прокурор Добржинский рассматривал при мне снимки, сделанные в фотографии, то, обратившись к присутствовавшему при этом М. В. Муравьеву и посмотрев на него значительно, с особым ударением сказал: „Надо выбрать хороший: *Вы знаете—для кого*“. Он выбрал тот портрет 1883 года, который впоследствии был наиболее распространен среди публики и напечатан в сборнике моих стихотворений.

Сын тогдашнего министра юстиции В. Д. Набоков с детства помнит радость, которую выразил его отец, когда ему принесли телеграмму о моем аресте.

В департаменте, когда меня вызвали из камеры, я проходила, как сквозь строй, среди чиновников, толпившихся по дороге без всякого дела: политические процессы предшествовавших годов, повторяя мое имя, сделали меня, очевидно, предметом любопытства.

Меня водили также на-показ сановникам: директору департамента полиции, товарищу министра внутренних дел и

самому министру. Три фигуры: Плеве, Оржевский и граф Д. А. Толстой. Один был груб, нарочито груб. Небрежно кивнув головой не то для поклона, не то для указания на ряд стульев вдоль стены, он резким тоном проворчал: „Возьмите стул". А когда я села, стал издеваться, говоря, что из учащейся молодежи никого нельзя было арестовать без того, чтобы не услышать восторженных отзывов обо мне. „Неужели вас удовлетворяли подобные восторги"? Пожал он плечами с выражением пренебрежения на лице. „Быть может,—иронизировал он дальше,—теперь вы бы не прочь занять то общественное положение, которое могли занять раньше?"... А потом, как бы желая заглянуть в душу человека, измученного нелегальной жизнью, он в заключение произнес: „Быть может, вы так устали, что рады тому что наступил конец?"

Другой был изящен и вел себя, как светский, хорошо воспитанный, человек. Мягкий в манерах, тактичный в обращении, он хотел вовлечь меня в разговор на политическую тему, но я уклонилась, сказав, что свои взгляды лучше объяснить на суде.

Третий был старчески дубоват и добродушен. „Какой у вас скромный вид!—приветствовал он меня, при моем входе в кабинет Оржевского.—Я ожидал совсем другого"... и тотчас заговорил о классическом образовании, о том, что мы, революционеры, противники этой системы, и имеем, как ему известно, злые умыслы на его жизнь. Затем, переходя к политическим убийствам, вообще, и к покушениям на царствующих особ, в частности, он продолжал: „И чего вы достигнете этим? Ну, убьете одного царя—на его место встанет другой", и т. д. Он говорил шаблонно, слабо и таким тоном, будто дедушка журит внучку, так что и возражать было нечего. „Жаль нет времени, закончил он, а то я убедил бы вас". Не желая оставлять последнего слова за ним, я сказала: „Я тоже жалею. Надеюсь, я обратила бы вас в народовольца".

Шутка стала крылатой, и при первой же встрече с Добржинским он насмешил меня вопросом: „Неужели вы в самом деле думали обратить графа Толстого в свою веру?"

С улыбкой я ответила: „А почему бы нет?"

Из Департамента полиции меня перевели в Петропавловскую крепость и держали там двадцать месяцев до суда В начале несколько раз меня вызывали на допрос в депар-

тамент полиции. Я сразу заявила, что не вижу нужды и не намерена скрывать что-либо из моей революционной деятельности за период *до 1 марта 1881 г.*, так как мои показания будут касаться событий, которые уже раскрыты, и лиц, которые уже осуждены. Что же касается дальнейшего, то никаких показаний я дать не могу.

Поездки в Департамент в сопровождении капитана Домашнева и встречи с прокурорами Добржинским и Муравьевым были для меня тягостны, и я предложила не вызывать меня из крепости, а давать бумагу и чернила в камеру, где я могу написать все, что найду возможным, сдавая листы по мере их написания смотрителю.

Так составился документ, который был извлечен из судебных архивов, раскрытых революцией 1917 года, и напечатан в журнале „Былое" (1917 г. кн. 2—3 и 4).

Прошел, должно быть, месяц или полтора, когда однажды ко мне в камеру вошел высокий пожилой жандармский генерал с лицом, довольно красивым и симпатичным. „Моя фамилия—Середа", — отрекомендовался он. — По высочайшему повелению я назначен для расследования политической пропаганды в войсках по всей Империи".

Он взял мою руку и, несмотря на сопротивление, поцеловал ее. „Вы хороший человек,—сказал он. —Ваше несчастье, что, выйдя замуж, вы не имели детей".

После этого оригинального вступления, когда мы сели, я задала вопрос, как предполагает он использовать свои широкие полномочия: думает ли создать, подобно Желеховскому, процесс-монстр и на этом сделать карьеру, или, не раздувая дела, ограничиться преданием суду немногих.

„Нет, создавать большого дела я не намерен,—отвечал Середа;—суду будут преданы лишь самые деятельные"

Он так и сделал: судили по нашему делу 14 человек; из них военных было только шесть, а могли судить несколько десятков.

Потом генерал стал делать признания: он не реакционер и не сторонник существующей системы. Только долги заставляют его оставаться на службе. „Если б не это—я не был бы здесь,—признавался он.—Я люблю свободу, но политическим убийствам не сочувствую. Я понимаю борьбу на баррикадах, но не удар кинжалом из-за угла".

После этого посещения меня оставили в покое, так как показания, представлявшие очерк революционного движения автобиографического характера были мной закончены и сданы еще до посещения Середы, и он пришел, уже прочитав их [1]).

2. В Петропавловской крепости.

В моей жизни наступило затишье. Возбужденное состояние, которое было вызвано арестом, новизной положения и поддерживалось пересмотром всего прошлого, начиная с детства и кончая поступлением в тюрьму, пересмотром, вероятно, обычным у всех, кто, попадая в тюрьму, считает свою жизнь законченной,—это возбуждение, так естественное в первое время тюремного заключения, улеглось, и началась серая однообразная жизнь, заполненная одним лишь чтением. По целым дням и неделям я молчала. Мать и сестра имели свидание со мной в две недели раз и всего на двадцать минут. Таковы были правила. Две решетки на расстоянии полутора аршин одна от другой разделяли нас. Ни разу не дали мне поцеловать руку матери. Однажды, когда мне было особенно тяжело, я очень просила смотрителя об этом: мне так хотелось приласкаться, прикоснуться губами к ее маленькой теплой ручке. Тщетно! Правила не допускали этого.

Весной я тосковала по цветам. Мне хотелось иметь хоть один цветок, один из тех луковичных, что продаются в Петербурге на улице в маленьких горшечках. Сестра принесла в крепость гиацинт. Она просила передать его, хотя бы срезанным; но нет. В крепость передавать, что бы то ни было, запрещено, и смотритель оставался неумолим.

Летом свиданья прекратились: мать уехала в Казанскую губернию в деревню, а сестра Ольга—на остров Эзель лечиться.

Молчание, вечное молчание. Петрашевец, Ахшарумов, как много позднее я читала в его воспоминаниях, находясь в крепости в подобном положении, старался сохранить деятель-

1) Эти показания произвели впечатление на жандармов: „Они переходят из рук в руки, и мы читаем их, как роман“, — говорил мне капитан Домашнев. Н. В. Муравьев взял с них копию и несколько лет спустя, давал их на прочтение моему мужу, А. В. Филиппову, служившему по министерству юстиции.

ность голосовых связок, читая вслух. Я не применяла этого способа, не додумалась до него. От бездействия голосовые связки слабели, атрофировались; голос ломался, исчезал: из грудного контральто он становился тонким, звонким, вибрирующим, как после тяжелой болезни: слова плохо срывались с языка, оставляя перерывы. Наряду с этим физическим рассройством органа речи, изменялась психика. Являлось *настроение — молчать*. Кроме вынужденной необходимости— пропадал внутренний импульс—уже *хотелось* молчать, и когда нужно было развязать язык, сказать что-нибудь—требовалось усилие воли, преодоление.

Осенью, по возвращении матери, тяжело было выйти в первый раз на свидание. И чем дальше, тем тяжелей становился этот выход из одиночества, из молчания. Зачем? Зачем изменять темп жизни, естественный порядок дня и настроение? Зачем нарушать душевное равновесие 20-ю минутами, в которые не знаешь, что сказать, о чем спросить, и вернувшись к себе, долго не находить успокоения, чтобы вновь замереть на две недели? Каждый раз, когда жандарм отпирал дверь и произносил: „На свидание!“ так хотелось отказаться, сказать не хочу, не надо. И только мысль, что мать и сестра будут испуганы, огорчены, заставляла встать и итти.

Прошло много времени. Не знаю, когда именно, однообразие одиночества было прервано волнующим обстоятельством: меня вызвали в канцелярию. Там меня ждал Романов, один из 10 молодых товарищей прокурора, которые вели следствие по делу будущего процесса.

„Вера Николаевна,—приступил он,—я приехал к вам по особому обстоятельству и обращаюсь к вам, потому что знаю, вы скажете правду“.

Удивленная и обеспокоенная таким вступлением, я спросила, о чем идет речь.

Он продолжал: „По делу о побеге Василия Иванова из Киевской тюрьмы судили двух тюремных надзирателей, обвиненных в пособничестве Иванову. Они осуждены на каторгу и уже отправлены в Сибирь. Между тем, офицер Тихонович, привлеченный по одному делу с вами, совершенно определенно показал, что вывел Иванова из камеры и из тюрьмы он во время своего дежурства на карауле и притом без какой бы то ни было помощи со стороны других лиц. То же

самое утверждает и Никитина, которая в побеге Иванова вела предварительные переговоры с Тихоновичем. Показания их обоих я привез с собой, и вы можете прочесть их. Однако, сам Иванов упорно отрицает свидетельство Тихоновича и говорит, что его побег совершен через пролом в печке и что надзиратели содействовали ему в этом.

„Нам необходимо ваше свидетельство: от него зависит участь осужденных, Их дело будет пересмотрено и они могут быть возвращены. Скажите же, какое из двух утверждений соответствует истине".

Он развернул две привезенные им большие тетради, и я прочла то, что показывали Тихонович и Никитина. Это вполне соответствовало рассказу, слышанному мной от самого Иванова: тюремщики ничего не знали о предприятии Иванова, пролом в печке был так мал, что нельзя было поверить, чтобы человек такого молодецкого сложения, каким обладал Иванов, мог пролезть в отверстие: оно было сделано специально для отвода глаз, чтобы не навлечь подозрения на офицера, который отпер дверь. Почему Иванов, несмотря на категорическое заявление Тихоновича, упорствовал, оговаривая тюремных надзирателей и отправляя их на каторгу—мне было не понятно. Я чувствовала недовольство и досаду на его поведение. Приходилось или обличить во лжи товарища, с которым была связана и партийными, и дружескими отношениями, или сделаться соучастницей его лжи и предоставить надзирателей их судьбе. Я колебалась: стыдно было сделать и то, и другое. Попросив у Романова несколько минут на размышление, я решилась и написала заявление, что мне достоверно известно, что надзиратели совершенно непричастны к устройству побега В. Иванова из тюрьмы.

Я живо припомнила этот эпизод, в свое время очень тревоживший меня, когда впоследствии читала превосходную драму Ромэн-Роллана из времен великой французской революции: „Волки". В ней конфликт между партийностью и чувством справедливости поставлен широко и кончается в ущерб последней.

Вызов по делу о побеге Иванова, нарушив однообразие настроения, всколыхнув и напомнив о многом, уходил в даль, а губительная тишина и молчание делали свое дело, когда весной 1884 года меня опять позвали в канцелярию. Там я

застала Добржинского и генерала Середу. У стола, заваленного большими тетрадями в переплете, они сидели, усталые, озабоченные, с какими то особенно серьезными лицами [1]).

„Вы узнаете этот почерк“—спросил Добржинский, положив передо мной особую непереплетенную тетрадку. Я не знала почерка и сказала: „нет“. Тогда он повернул всю тетрадь и указал подпись. Там стояло: Сергей Дегаев, число и месяц. В памяти осталось *20 ноября*, но, должно быть, это была ошибка: типография в Одессе была арестована 18-го, по другим указаниям, *20-го декабря*.

Затем, развертывая одну страницу за другой, Добржинский указывал мне отдельные места в тетради, другие же прикрывал рукой.

Не оставалось сомнения: предо мною лежал документ величайшей важности он предавал в руки правительства все, что автор знал из имеющего—отношения к партии. Не только сколько-нибудь видные деятели были названы по именам, но и самые малозначительные лица, пособники и укрыватели, разоблачались от первого до последнего, поскольку автор доноса имел о них сведения. Военные на севере, на юге были изменнически выданы поголовно: от военной организации не оставалось ничего. Все наличные силы партии были теперь, как на ладони, и все лица, причастные к ней, отныне находились под стеклянным колпаком.

Я была ошелемлена. Дегаев! И это сделал Дегаев!. Несколько минут, вскочив с места, я ходила взад и вперед по комнате, в то время, как Середа и Добржинский, молча, перелистывали страницы привезенных фолиантов.

Когда я вернулась на свое место, Добржинский стал показывать мне показания офицеров: Крайского, Маймескулова, Талапиндова и других южан. Каждое начиналось постыдными словами: „Раскаиваясь в своих заблуждениях, сообщаю“ и т. д.... Раскаивались 35-40-летние мужи. Раскаивался Крайский, в которого я верила и которого так хотела привлечь в партию, возлагая на него много надежд, как на человека твердого, с характером сильным, который не отступит.

Все эти заговорщики, обещавшие по призыву своего

[1]) Это было заключение следствия, как я потом догадалась (потому что они не сказали мне этого).

центра выступить с оружием в руках и отдать жизнь делу народа, теперь малодушно отказывались от того, что они исповедывали, и на что давали слово. Они „заблуждались“, они, много лет рассуждавшие на темы о революции, о баррикадах и пр. Эти показания производили жалкое впечатление; но что значили они перед тем, что сделал Дегаев, который колебал основу жизни—веру в людей, ту веру, без которой революционер не может действовать. Он лгал, притворялся и обманывал; он выспрашивал, чтобы предать, и в то же время льстил и восхвалял. Множество нитей соединяло меня с ним и со всей его семьей; он был тесно связан со множеством товарищей, которые являлись дорогими, казалось, для нас обоих. Это был не провинциальный офицер, окруженный уездной серенькой средой, неопытный и никогда не бывавший в лапах полиции. Он четыре года действовал на революционном поприще среди отборной группы товарищей, не раз имел дело с жандармами, рисковал своей свободой и имел совершенно определенную политическую репутацию. Его побег был мнимым; его освободила полиция, чтобы замаскировать его предательство, и, начав с измены, он сделался провокатором, чтобы вовлекая в революционное движение десятки новых людей, отдавать их тайно в руки правительства. Испытать такую измену—значило испытать ни с чем несравнимое несчастье, уносящее моральную красоту людей, красоту революции и самой жизни. С идеальных высот я была низвергнута в болота земли...

Когда после этого я в первый раз вышла на свидание — родные поняли, что со мной случилось нечто потрясающее...

Мне хотелось умереть. Хотелось умереть, а надо было жить. Я должна была жить; жить, чтобы быть на суде— этом заключительном акте деятельности активного революционера. Как член Исполнительного Комитета, я должна была сказать свое слово—исполнить последний долг, как его исполняли все, кто предварил меня. И, как товарищ тех, кого предал Дегаев, я должна была разделить до конца участь, общую с ними.

Но жить было возможно, только забив ум чем нибудь, не имеющим отношения к несчастьям революции: надо было весь день без отдыха занять себя какой нибудь работой. Я принялась за изучение английского языка и так усердно,

что через две недели читала в подлиннике историю Англии Макслея. Это было бы невероятно, еслиб, как я много лет спустя вспомнила, я не взяла, по настоянию начальницы, с большой неохотой и малым успехом несколько уроков этого языка в институте у англичанки. Повидимому, кое-какие следы от тех уроков в памяти все же остались и теперь, через 16 лет, воскресли.

Овладев английским азыком, я по целым дням не отрывалась от книги, не оставляя ни минуты на размышление. Уже с первых месяцев заключения я усердно принялась за чтение и никогда в жизни не читала с таким увлечением и так плодотворно, как тогда, в крепости. Мое образование, в общем, шло неправильно и бессистемно. Об институте нечего и говорить, там чтение преследовалось, никакой библиотеки для учениц, можно сказать, не было. В Цюрихе, в университете, учебные занятия по медицине отнимали слишком много времени, чтобы использовать все возможности, которые представляла прекрасная библиотека, составленная русскими эмигрантами и учащейся молодежью: я должна была спешить со своим медицинским образованием, потому что на долгое пребывание заграницей средств у меня не хватило бы. А когда я оставила университет и вернулась в Россию, обстановка революционной деятельности не благоприятствовала серьезным умственным занятиям. В той революционной среде, в которой я вращалась, никогда не было пренебрежения к науке, к знанию, но обстоятельства складывались так, что отдаваться им не представлялось возможности. Когда я служила в земстве в Самарской губернии, а потом в Саратовской, медицинская работа в деревне требовала большой затраты времени и сил, а с 1879 г. началась нелегальная жизнь моя, в которой нервные потрясения, метаморфозы и опасности не позволяли думать о книге. Революционное дело требовало всего внимания, мысль должна была останавливаться единственно на том, что было нужно и полезно для партии, что делалось и предпринималось организацией. И чем дальше, тем становилось труднее остановить мысль на чем нибудь другом; все сознание было направлено на одно и заполнено этим одним—интересами революционного дела.

В период, когда партийный орган „Народная Воля“ издавался в Петербурге, главная работа в газете лежала на

нашем теоретике — Тихомирове. После некоторых попыток он сделал в „Исполнительном Комитете“ заявление: „Если хотите, чтобы я писал, освободите меня от обязанностей члена Распорядительной Комисси, от деловых свиданий с нужными людьми, вообще—от всех практических дел. Совместить литературную деятельность с участием в этих делах абсолютно невозможно. Чтобы писать, надо читать, следить за всем, что выходит в печати; надо много и сосредоточенно думать—это требует свободы от всех других занятий, рассеивающих мысль и отнимающих время“.

Комитет не мог не признать справедливости этого заявления и оставил Тихомирова исключительно на литературной работе.

Только в тюрьме, где нет ни других занятий, ни внешних впечатлений и событий, я могла вполне отдаться предметам, которые меня особенно интересовали: истории, политической экономии, социологии, и прочесть все, что написано Спенсером по биологии и психологии. Отражением этого многочтения служит сохраненная моей сестрой Ольгой переписка с матерью и с ней. Написанные в Петропавловской крепости в количестве 50-ти, мои письма наполнены почти целиком краткими отзывами о главных сочинениях разных авторов, которых, так или иначе, я рекомендовала сестре при выборе чтения. Другого содержания и не могла иметь эта переписка, проходившая несколько инстанций, начиная с крепости и кончая департаментом полиции. Лишь кое-где, в немногих строках, проскальзывали черточки психологии заключенного, так что с этой стороны эта довольно редкая коллекция не может представлять интереса для широкой публики.

Библиотека Петропавловской крепости была в то время превосходна и доставила мне много умственного удовлетворения. Все серьезные произведения были, наконец, мною прочитаны и, когда весь запас истощился, комендант Ганецкий, всегда очень внимательный ко мне, согласился на выдачу мне книг, которые лежали без переплета и потому не были внесены в библиотечный каталог. По словам смотрителя Лесника, они наполняли целую комнату. Этим богатством я и воспользовалась. Но тщетно хлопотала я, чтобы эти книги постепенно переплетались на мой счет и вошли в

общее употребление. Равнодушие к интересам заключенных ничем нельзя было сломить.

Книги помогали мне жить. Они с самого начала заключения заглушали всю боль, принесенную в тюрьму несчастиями общественного характера. Они же помогли перенести и нравственную катастрофу по делу Дегаева. Мучительное моральное состояние имело еще отвлечение, чисто физическое. У меня заболел палец: на мизинце руки начался периостит—болезнь, соединенная с жесточайшей болью. Когда я показала палец доктору Вильмс, он покачал головой и сказал: „необходим глубокий разрез“ и когда сделал его, то прибавил: „я боялся, чтобы не был столбняк“. Этот старый, суровый человек, душа которого окаменела от мрачных тайн петропавловских куртин и алексеевского равелина, теперь, больше чем через год, который я прожила в темной, хотя и большой, но сырой и грязной камере, в первый раз оглядел это жилище, покрытое плесенью и пылью, и сказал: „Вас необходимо перевести в более светлую камеру“.

На другой день меня, действительно, перевели в камеру в другом коридоре. Это была небольшая, но гораздо более уютная комната, выходящая, должно быть, на юго-запад. Несмотря на крепостную стену против окна, в него около полудня проникало несколько косых лучей никогда невидимого солнца. Стена отстояла от окна в некотором растоянии, большем, чем в камере № 43, в которой я жила до тех пор. В новом помещении, чтобы обозреть окрестность, я взобралась на железный стол, прикованный к стене подле койки и увидала в небольшой выемке стены, на ее откосе, слабое деревцо. Неприхотливая бузина взросла тут на камне из крошечного зернышка, занесенного ветром. Она требовала немногого: разрушенная часть стены, обвалившейся в виде мусора, была достаточна для ее питания. С наступлением весны, каждый день около полудня, я влезала на стол, чтобы взглянуть на зеленеющую листву деревца, которое называла *своим*, потому что никто кроме меня не мог его видеть и не смотрел на него.

В Шлиссельбургской крепости, в том месте, где высокая стена старой цитадели смыкается в угол с наружной стеной крепости, на недоступной высоте нескольких саженей, каждое лето выростал и цвел одинокий куст круглолистного коло-

кольчика. Его изящные лиловые венчики в виде опрокинутых маленьких зубчатых вазочек, были прелестны среди голых серых плит известняка, заграждавших от нас весь живой мир. Слабые корешки колокольчика проникали в выветрившуюся горную породу; дождь, бросая свои капли, доставлял им влагу, а несколько лучей солнца, озаряя листья, обеспечивали существование. Для меня петропавловская бузина и шлиссельбургские колокольчики, ютившиеся на высоте, были своего рода картиной Ярошенко: „Всюду жизнь" Они как будто говорили: „Пускай кругом—холодный мертвый камень, но мы живем и будем жить, радуя тех, кто видит нас"

---

16 или 18 сентября 1884 г. мне был вручен обвинительный акт. Вместе с другими тринадцатью лицами, я предавалась военно-окружному суду. Явился и защитник по назначению. Я извинилась, что не могу принять его услуг. Оставшись со мной наедине, понизив голос, он прошептал: „Судейкин убит. Убил Дегаев. Убил и скрылся".

На мгновение темнота души моей раздвинулась, разорвалась... Судорожно, резким зигзагом, пробежал ток куда-то глубоко запрятанного чувства, чувства сложного и противоречивого: молнией сверкнуло и все стемнело.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

1. „Суд идет!"

Была суббота, 21 сентября, 1884 г. когда в 10 часов вечера жандарм неожиданно принес мне пальто и шляпу из Петропавловской крепости меня перевезли в дом предварительного заключения. Зачем понадобилось окружать это таинственностью и тревожить человека в поздний час, когда он уже собирался лечь спать—не знаю. Но вся тюремная система, насколько я испытала ее на себе до суда и после него, организована так, что сознательно или бессознательно, ведет к расстройству нервов, которые она держит в напряжении то посредством тишины, то разными неожиданностями.

Разумеется, в эту ночь я не сомкнула глаз. Меня поместили в камеру, как раз против места, где сидела дежурная надзирательница. По непонятной предосторожности большая форточка в двери была откинута и оставалась открытой в коридор в течение всей ночи. Две дежурные, сошедшиеся поболтать, занимались этим все время напролет, усевшись против двери, и не давали забыться ни на минуту. На другой день я едва стояла на ногах, когда меня повели на свиданье с матерью и сестрой Ольгой. На этот раз не было двух сеток на расстоянии полутора аршин одна от другой и после двадцати месяцев заключения я в первый раз могла поцеловать руку матери. Мы могли сидеть и говорить, сколько угодно, но, привыкнув к молчанию и двадцатиминутным свиданиям в две недели раз, я скоро так устала, что сама просила мать уйти: завтра должен был начаться надо мной военный суд.

Утром, в понедельник, часу в 10-м, по запутанным переходам, лестницам и коридорам, меня привели в комнату, где уже были выстроены мои 13 товарищей по суду. Между каждыми двумя стоял жандарм с саблей наголо. Нельзя было

ни обнять, ни пожать друг другу руку. Оно и к лучшему: одно уж изменение наружности могло заставить разрыдаться. Как было глядеть спокойно на бледные, желтые лица, прежде такие бодрые и жизнерадостные, на истомленные фигуры, из которых иные носили явный отпечаток надломленности [1]. Глядеть—и с горестью сознавать, что в этом процессе все мы об‘единены не одной только революционной деятельностью, но приведены на скамью подсудимых вероломным предательством изменившего друга. И во все время суда, во всех перипетиях его, и гласно, и негласно чувствовалась рука Дегаева, на все наложившая свой позорный отпечаток и камнем давившая нам душу.

Приходили свидетели—не со стороны обвиняемых, призывались эксперты—по вызову обвинительной власти, и читались безконечные обличающие показания.

Возражений почти и не было. Одна только Чемоданова, раньше бывшая в административной ссылке, с развязной болтливостью старалась убедить судей в своей невиновности. Она так обстоятельно и складно вела свое повествование, что даже я, самолично вызвавшая ее, готова была усомниться: да, полно, уж и впрямь не приехала ли она в Харьков исключительно по своим личным делам и совершенно случайно попала в тайную типографию партии „Народной Воли“.

Остальные товарищи были сдержанны и молчали, думая свою тяжкую думу. Только Волкенштейн была беззаботна и подвергалась неприятным окрикам председателя суда. „Подсудимая Волкенштейн! не переговаривайтесь с соседями“. „Подсудимая Волкенштейн! вам говорят—перестаньте шептаться“. Отодвиньтесь на конец скамейки! и т. п.

Что касается меня, то я изнемогала. После тишины и одиночества Петропавловской крепости невыносимо было напряжение нервов от перемены обстановки. Ошеломленная видом товарищей, возбужденная соседством и голосами людей, как и светом больших люстр по вечерам,—я не могла вынести до конца ни одного заседания и уходила в камеру, чтобы дать передышку измученным нервам.

В перерыве приходила мать с сестрой, и нервам давалась

---

[1]) Скоро по привозе в Шлиссельбург умер или покончил с собой офицер Тихонович, а потом от чахотки погиб Немоловский.

новая работа, пока с грустью приходилось сказать: уйдите! нет больше сил...

Как на предварительном следствии я письменно изложила все, касавшееся моего личного участия в революционном движении, не желая ни на иоту умалить мою ответственность перед существующим законом, так и на суде мое поведение определилось тем же мотивом. Поэтому, я совершенно не нуждалась в защите. Однако, я пригласила присяжного поверенного Леонтьева 2-го, об'яснив ему, что единственная цель моего обращения—возможность говорить наедине: я должна была сделать последние распоряжения, но это было невозможно на свиданиях с матерью, так как при нас неизменно сидела надзирательница.

Во время предварительного заключения, зная, что я люблю цветы, сестра не раз обращалась с просьбой передать их мне, но в Петропавловской крепости не допускалось решительно никаких передач. Теперь, во время суда, в последний день его, она принесла мне прелестный букет из роз. И эти чудные розы дали мне одно из самых нежных воспоминаний унесенных в Шлиссельбург.

Другим трогательным эпизодом в эти тягостные дни был неожиданный привет от француженки [1]), преподававшей в Казанском Родионовском институте и знавшей меня 12-тилетней девочкой на школьной скамье. Теперь, когда я была на скамье подсудимых, она вспомнила свою маленькую ученицу и горячо приветствовала меня.

Наступил, наконец, самый памятный день моей жизни, самый патетический момент суда, когда председатель, обращаясь к скамье подсудимых, особенным, торжественным голосом говорит: „Подсудимый! вам принадлежит последнее слово“.

Последнее слово. Сколько значения, и какого значения, в этой краткой формуле! Подсудимому дается случай, единственный по необычайной трагической обстановке и последний, быть может, *последнии в жизни* случай—выявить свой нравственный облик, выяснить нравственно оправдание своих поступков, своего поведения и во всеуслышание сказать то, что он *хочет* сказать, что *должен* сказать и что *может* сказать.

[1]) Г-жа Матросова, урожд. Valdon.

Еще несколько минут, и этот случай, эта последняя возможность, канет в прошлое, уйдет без возврата и навсегда. Если момент пропущен, человек, которого судят, и которого готовы осудить, уж не возвысит своего голоса; он выслушан не будет: его голос замрет в каторжной тюрьме или умрет вместе со своим обладателем на эшафоте.

Сколько мучительной тревоги испытала я в одиночестве своей камеры в ожидании этого дня и этого часа!

По обстоятельствам дела я являлась центральным лицом процесса, главным ответственным лицом рассматриваемого дела. Предшествовавшие процессы с 1879 по 1884 года: Александра Соловьева, Александра Квятковского, Первомартовцев; процессы 20-ти и 17-ти народовольцев, в которых многократно речь шла и обо мне,—создали для меня, арестованной после всех, совершенно исключительное положение. Это положение обязывало; как последний член Исполнительного Комитета и представитель партии „Народной Воли“,—я должна была говорить на суде.

А по настроению—мне было не до произнесения речей. Я была подавлена общим положением дел в нашем отечестве; сомненья не было—борьба, протест были кончены; на много лет наступала темная реакция, морально тем более тяжелая, что ждали не ее, а полного обновления общественной жизни и государственного строя. Борьба велась неслыханно жестокими средствами, но за них платили жизнью и верили, надеялись и уповали. Но народ безмолствовал и не понимал. Общество молчало, хотя и понимало. Колесо истории было против нас: на 25 лет мы опередили ход событий—подъем общеполитического развития общества и народа—и остались одиноки. Подобранные и организованные силы, немногочисленные по составу, но дерзновенные духом, были сметены с арены жизни, раздавлены и уничтожены. Мои товарищи по „Исполнительному Комитету“ были арестованы и осуждены раньше меня. Одни из них умерли на эшафоте, другие умирали медленно от истощения в стенах „Алексеевского Равелина“ Вся организация партии „Народной Воли“, поскольку она не была истреблена, представляла обломки; на развалинах шла деморализующая деятельность С. Дегаева, который, после гибели основоположников „Народной Воли“, начал в

тюрьме—изменой, а выйдя из нее путем мнимого побега, продолжал предательством и провокатурой.

Так к моменту процесса 1884 г., в котором, преданная Дегаевым, участвовала и я,—тайное общество, стремившееся сломить автократию, потрясавшее своей деятельностью не только родину, но волновавшее и весь цивилизованный мир,—лежало поверженное, без всякой надежды восстать в скором времени из своего крушения.

И в то время, как мой организм был потрясен и ослаблен условиями предварительного заключения в крепости, а душа изломана и опустошена тяжелыми переживаньями,—наступил момент исполнить, чего бы это ни стоило, последний долг перед разбитой партией и погибшими товарищами,—сделать исповедание своей веры, высказать перед судом нравственные побуждения, которые руководили нашей деятельностью и указать общественный и политический идеал, к которому мы стремились.

Прозвучали слова председателя: мое имя было названо. Наступила неестественная тишина; глаза присутствующих, как своих, так и чужих, обратились ко мне, и все уже слушали, хотя еще ни одно слово не сорвалось с моих губ.

Было жутко: а что, если среди задуманной речи мое мышление внезапно окутает тот мрак, который, не затрагивая сознанья, нередко смущал меня в эти решающие дни?

И среди тишины, наэлектризованной общим вниманием, голосом, в котором звучало сдержанное волнение, я произнесла свое последнее слово.

„В настоящее время рассмотрению суда подлежат мои действия, начиная с 1879 г. Прокурор в своей обвинительной речи выразил удивление, как по отношению к их качеству, так и по отношению к количеству. Но эти преступления, как и всякие другие, имеют свою историю. Они находятся в неразрывной логической связи со всей предыдущей моей жизнью. Во время предварительного заключения я часто думала, могла ли моя жизнь итти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме скамьи подсудимых? И каждый раз я отвечала себе: Нет!

Я начала жизнь при очень благоприятных обстоятельствах. По образованию я не нуждалась в руководителях: меня не нужно было водить на помочах. Семья у меня была развитая

и любящая, так что борьбы, которая так часто бывает между старым и молодым поколением, я не испытывала. Материальной нужды и заботы о куске хлеба или об экономической самостоятельности — я не знала. Когда я вышла 17 лет из Института, во мне в первый раз зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной, некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих у меня явилась первая мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы ко благу этих окружающих.

Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникли они указали на деятельность врача, как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим стремлениям.

Тогда женская академия в Петербурге была уже открыта; но она с самого начала отличалась той хилостью, которою отличается и до сих пор, постоянно борясь между жизнью и смертью; а так как решение мое было твердое и я не хотела в силу случайности сойти с раз принятого пути, то я решилась отправиться за границу.

И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше знала: не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть ни что иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше. Учение, которое обещает равенство, братство и общечеловеческое счастье, должно было подействовать на меня ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-нибудь тетюшан, у меня явилось

представление о народе, о человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой период, когда только что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда революция в Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире Запада. Между прочим я познакомилась с учением и организацией Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из того, что я видела тогда, было лишь казовым концом. Кроме того, я не смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на продукт западноевропейской жизни, и считала, что то же учение пригодно для *всякого времени* и для *всякого места*.

За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый член мог приступить к деятельности, когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ, в силу бедности и своего социального положения, уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял социалистические идеи.

То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного переворота, т.-е. мы думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя невозможность борьбы, принуждено будет уступить большинству, сознавшему свои интересы, так что о пролитии крови не было и речи.

Я оставалась за границей почти четыре года. Я отличалась всегда некоторым консерватизмом в том смысле, что принимала решения не быстро, но раз приняв их, отступала уже с трудом. Поэтому, когда весной 1874 г. кружок почти весь отправился в Россию, я осталась за границей, чтоб продолжать изучение медицины.

Моя сестра и другие члены сообщества кончили свою карьеру весьма бедственно. Два-три месяца работы на фабриках в качестве работниц и рабочих повлекли двух и трехлетнее предварительное заключение, а затем суд, который приговорил некоторых из них на каторгу, а других—в Сибирь на поселение и житье. Когда они находились в тюрьме, то сделали призыв: мне предложили явиться в Россию с целью поддержать дело кружка. Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и думала, что получение звания

доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию.

Тут мне пришлось на первых же порах испытать кризис: движение в народ уже потерпело поражение. Тем не менее, я нашла достаточное количество людей, которые казались мне симпатичными, которым я доверяла и с которыми сошлась. Вместе с ними я участвовала в выработке той программы, которая известна под названием программы народников.

Я отправилась в деревню. Программа народников, как суду известно, имела цели, конечно, неразрешенные законом, потому что выставляла своей задачей передачу всей земли в руки крестьянской общины. Но прежде чем это совершится, та роль, которую должны были играть революционеры, живя в народе, должна была заключаться в том, что во всех государствах называется не иначе, как культурной деятельностью. Таким образом, и я явилась в деревню с вполне революционными задачами, но потому, как я вела себя по отношению к крестьянам, как я действовала, я думаю, я не подверглась бы никакому преследованию нигде, кроме России, и даже считалась бы не бесполезным членом общества.

Я поступила в земство, как фельдшерица.

В очень скором времени против меня составилась целая лига, во главе которой стояли: предводитель дворянства и исправник, а в хвосте—урядник, волостной писарь и т. п. Про меня распространяли всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по собственному виду,—и то, что диплом у меня фальшивый, и пр. Когда крестьяне не хотели итти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалованье писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я.

Производились негласные и гласные дознания; приезжал исправник; некоторые крестьяне были арестованы: при допросе фигурировало мое имя; было два доноса губернатору, и только благодаря хлопотам, которые принял на себя председатель земской управы, я была оставлена в покое. Вокруг меня образовалась полицейско-шпионская атмосфера: меня стали бояться. Крестьяне обходили задворками, чтоб притти ко мне в дом...

Вот эти-то обстоятельства и привели меня к вопросу: что я могу делать при данных условиях?

Скажу откровенно: я поселилась в деревне в таком возрасте, когда грубых ошибок, в смысле нетактичности, я не могла делать; в том возрасте, когда люди делаются более терпимыми, более внимательными к чужим взглядам. Я хотела изучить почву, узнать, что думает сам крестьянин, чего он желает. Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют собственно за дух, за направление: подозревали, что не может быть, чтоб человек, не лишенный образования, поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей.

Таким образом, я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей.

Тогда я задумалась: не делала ли я каких-нибудь ошибок, которых могла бы избежать, переехав в другую местность и потворив опыт? Мне было тяжело расстаться с теми планами, которые у меня были. Четыре года я училась медицине и свыклась с мыслью, что буду работать среди крестьян.

Размышляя на эту тему и собирая сведения о других лицах, я убедилась, что дело не в моей личности и не в условиях данной местности, а в общих условиях, точнее в том, что в России нет политической свободы.

До этого момента мои задачи были общественно-альтруистические: они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобства нашего образа правления.

Еще раньше не раз я получала предложение от общества „Земля и Воля“ вступить в него и действовать среди интеллигенции. Но в силу того, что я крепко держалась за раз принятое решение, я не принимала этих предложений и держалась за деревню до последней крайности.

Таким образом, не легкомысленное отношение, а горькая необходимость заставила меня отказаться от первоначальных взглядов и вступить на другой путь.

В то время начали появляться отдельные мнения, что элемент политический должен играть известную роль в задачах революционной партии. В обществе „Земля и Воля“

образовались две категории лиц, которые тянули в разные стороны. Когда я покончила с деревней, я заявила обществу „Земля и Воля“, что в настоящее время я считаю себя свободной.

В то время мне предстояло одно из двух: или сделать шаг назад, ехать за границу и сделаться доктором, но уже не для крестьян, а для лиц богатых, чего я не хотела, или— что я и предпочла—употребить энергию и силы на то, чтобы сломить то препятствие, о которое разбились мои желания. Поступив в общество „Земля и Воля“, я получила приглашение на воронежский с‘езд, на котором партия еще не разделилась, но более или менее определенно было высказано, кто чего держится. Одни говорили, что надо действовать попрежнему, т.-е. жить в деревне н организовать востание народа в какой-нибудь определенной местности; другие считали. что надо жить в городах и направить свою деятельность против правительственной власти.

Из Воронежа я поехала в Петербург, где вскоре общество „Земли и Воли“ распалось и мне было предложено сделаться членом Исполнительного Комитета партии „Народной Воли“, на что я и из‘явила свое согласие. Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменен. есть путь насильственный. Мирным путем я итти не могла: печать, как известно, у нас не свободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова—невозможно. Если бы какой-нибудь орган общества указал мне другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере, испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которою мы живем,—так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности.

Раз приняв это положение, я пошла этим путем до конца Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно. и от себя, последовательности и согласия слова с делом, и мне казалось, что, если я теоретически признала, что лишь насильственным путем можно что-нибудь сделать,—я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных дей-

ствиях, которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, еслиб я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация „Народной Воли“ предпочитала употреблять меня на другие цели—на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли: я знала, что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле, и то общественное мнение, которому *одному* дают возможность свободно выражаться,—обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так что я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.

Вот об'яснение той „кровожадности“, которая должна казаться такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые, во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.

В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю—можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным,—так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества. И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует“.

Когда я кончила, председатель мягко спросил: „Вы сказали все, что хотели?“

— Да, отвечала я.

И никакие силы земные не помогли бы мне говорить еще,—так велико было мое волнение и усталость.

Сочувственные взгляды, рукопожатия и приветствия товарищей и защитников по окончании речи и в последовавший перерыв удостоверили, что речь произвела впечатление.

Министр юстиции Набоков, присутствовавший на этом заседании и заметивший, что присяжный поверенный Леонтьев стенографировал речь, обратился к нему после заседания с просьбой дать ему копию с нее.

Последний долг был исполнен и великий покой сошел в мою душу. Говорят, такое блаженное состояние просветленного успокоения бывает перед смертью. Прошлое, с его жгучими переживаниями от картин созидания и разрушения общественных идеалов и целей, с его волнующими впечатлениями от противоположных типов людей, то изумляющих мужеством, то повергающих в отчаяние позорной трусостью, —все, что было пережито в жизни в калейдоскопе великодушного и гнусного,—все отошло куда-то вдаль. Завеса безвозвратного опустилась над трагедией, изжитой до последнего акта. Да! Прошлое отошло, а будущее, грозное будущее с его отрывом от жизни и людей—не наступило. Это была передышка, когда полный событиями, тревожный период жизни завершился, а мертвый период грядущего еще не развернулся даже в предчувствии. И я дышала легко. Цикл служения идее, со всеми воспоминаниями, отравляющими его, был завершен, как цикл жизни является завершенным для человека, который умирает. А разве я не умирала? Разве гражданская смерть для человека, отдавшегося общественной деятельности, не то же, что смерть физическая для человека частной жизни? И, как он, умирая, может чувствовать блаженное успокоение, так чувствовала его и я, оглядываясь назад и сознавая, что все усилия сделаны, все возможное совершено; что, если я брала от общества и от жизни, то и отдала обществу и жизни все, что только могла дать.

Я изжила все духовные и физические силы—больше не оставалось ничего—исчезла даже и воля к жизни. И в то время, как меня охватывало чувство освобождения от долга перед родиной, перед обществом, партией—я делалась только человеком, дочерью моей матери, сестрой моей сестры, которые одни остались у меня среди общественного разорения.

Я чувствовала себя, как тяжело раненый. Над ним угрозою долго стоял нож хирурга. Но вот операция сделана, она

кончена; он снят с операционного стола, наркоз прошел и он отдыхат в чистой, прохладной, белой постели.

У него отрезана рука, у него отрезана нога, но все тревоги и опасения—позади, сейчас боли нет, и он счастлив, не постигая глубины несчастья, которое ему предстоит и вот-вот постучится к нему в дверь.

Приговор гласил: смертная казнь через повешение мне и семи товарищам, — между ними шести офицерам, судившимся со мной.

После суда произошло следующее.

Ко мне в камеру пришел смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.

— Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании, — сказал он. — Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение, как поступить ему: должен ли он, в виду желания товарищей, тоже подать прошение, или, не примыкая к ним, воздержаться от этого?

— Скажите Штромбергу,—отвечала я,—что никогда я не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.

Смотритель с укором глядел мне в лицо.

— Какая вы жестокая!—промолвил он.

2. Десять дней.

В воскресенье после суда ко мне приходили мать и сестра. Я не подозревала, что вижу их в последний раз.

„В надежде увидаться снова
Ушла—не оглянулась мать...
Сестра—осталась у порога,
Чтоб взгляд еще прощальный дать[1])“.

Жутко было стоять под этим долгим, скорбным взглядом. Знала ли она или только предчувствовала, что это свидание последнее?.. Еще минута—и я не выдержала бы; но дверь захлопнулась и—навсегда.

¹) Сборник стихотворений В. Фигнер. П. 1906.

В понедельник около 1 часа я кончала завтрак,—мне прислали рябчика, грушу-дюшесс и коробку конфект. Вбежала надзирательница со словами: „За вами приехали“! В 10 минут сборы были кончены; карета увозила меня в Петропавловскую крепость.

Там я очутилась снова в № 43. Очень хотелось пить.

— Заварите, пожалуйста, чаю,—обратилась я к дежурному,—и выньте из моих вещей коробку с конфектами“.

В коридоре стихло; жандармы не возвращались; в ожидании я прилегла на койку и заснула, крепко и сладко. Кажется, никогда еще я не спала так в заключении, так крепко, так сладко.

Быть может, мне снилось, что я опять с матерью, и, ласкаясь к ней, говорю, как это бывало не раз: „Мамочка! какая вы интересная: право влюбиться можно!“.. Или я видела, что сестра принесла мне букет чайных роз, еще более нежных и благоуханных, чем прежние?...

Загремел замок и прежде чем я успела вскочить,—в камере стоял толстый, всегда грубый, офицер Яковлев, в сопровождении жандарма и крепостного солдата. Не дав мне опомниться, он начал читать документ, бывший в его руке.

Я ничего не понимала, не могла понять: сладкий сон сковывал мое тело и мое сознанье. Что такое? какие-то слова, странное бессвязное перечисление предметов: „коты, платок из холста в 1 аршин 2 вершка... жестяная кружка... 5000 шпицрутенов... Ничего не понимаю!“

— Подождите одну минуту,—закрывая глаза рукой, проговорила я.—Я спала и не могу проснуться; придите немного погодя“.

Через четверть часа офицер вошел снова; снова прочел бумагу. Я поняла.

— Пройдите в другую камеру,—сказал жандарм.

Это была пустая камера рядом; в ней обыкновенно меня обыскивала женщина, приходившая специально для этого. Она и теперь была тут.

На мне было изящное, ловко сшитое платье из тонкого синего сукна. Его привезла мне мать во время суда. Я сняла его и все до нитки, что было на мне; сняла и образок, которым меня благословила мать. На койке лежала куча какого-то тряпья. Женщина накинула на меня рубаху крестьян-

ского покроя из грубого еще не мытого, серого холста и такой же платок в 1 арш. 2 вершка; обернула ноги в холщевые портянки и придвинула неуклюжие, непомерно большие, коты; подала юбку из серого солдатского сукна. Я с удивлением смотрела на эту юбку: она была вся изъедена—не молью, а какой-то большой прожорливой гусеницей, прогрызшей десятки длинных полукруглых дорожек. Потом она дала серый суконный халат с желтым тузом на спине. Подкладка была пропитана грязью, салом и потом: повидимому, кто-то раньше долго носил его. Плечи халата спускались далеко вниз, а рукава закрывали кисть руки.

Вероятно, эту одежду сменили бы на новую, еслиб я стала протестовать. Но я не протестовала: я была в чужой воле и предпочитала молчать.

Уродливая метаморфоза совершилась, и я вернулась в № 43 преображенной Сандрильоной. Перемена была так крута, контраст—так силен, что я готова была хохотать дико, неестественно; хохотать над собой, над синим платьем, над рябчиком и над дюшесс.

В камере также произошло изменение: хотя то не был дворец золотой рыбки, превращенный в избушку с разбитым корытом, но все же должно было действовать на воображение.

Два тюфяка, всегда лежавшие на койке, исчезли; их заменил мешок с соломой; из двух подушек осталась одна; вместо одеяла появился кусок старой байки, а на столе белая глиняная кружка превратилась в жестяную. Она была измята, точно исковеркана нарочно; вся в ржавчине—по краям она была зазубрена: по утрам, когда вместо чая мне подавали в ней кипяток, с черным хлебом-солью, приходилось искать безопасного места, чтоб не поранить губ.

С переменой обстановки пришел конец просветленному спокойствию, дававшему такую отраду в предшествовавшие дни. Мысль сделала лихорадочный скачок и стала работать возбужденно. Я думала теперь не о себе и не о настоящем, не о моих близких и не о том, что меня ожидает. Мысль почему-то обратилась к судьбам революционных движений вообще, на Западе и у нас, к преемственности идей, к их переброску из одной страны в другую. Сцены из времен давно прошедших, лица, давно почившие, воскресали в памяти, и

воображение работало, как никогда. Книг у меня не было, да я бы и не могла в эти дни сосредоточить внимание на чем-либо постороннем. Мне дали только Евангелие. Когда-то в детстве я увлекалась им; теперь оно не отвечало настроению. Первые дни я не притронулась к его страницам; потом, когда я передумала все свое и возбуждение упало—я читала слова, фразы, но их смысл и значение не вскрывались; чтение было механическое—я просто стала переводить текст сначала на французский, потом на немецкий язык.

В Петропавловской крепости, по субботам, доктор Вильмс обыкновенно обходил всех заключенных. Явился он в субботу и теперь. Он шел по коридору со смотрителем, Лесником, и весело разговаривал. Басистый смех его разносился глухо по длинному, пустому коридору и еще гудел, когда жандарм отпер мою камеру. Смех резко оборвался, когда он увидел меня: старое суровое лицо, с грубыми чертами, вытянулось: почти два года он посещал меня и теперь в первый раз встретил в преображенном виде.

Немного отвернув лицо, он спросил: „Как здоровье?“

Странный вопрос, обращенный к человеку, приговоренному к смерти!

— Ничего,—ответила я.

На восьмой день вечером я услышала в коридоре шум отпираемых и запираемых дверей. Очевидно, кто-то обходил камеры. Отперли и мою. Старый генерал, комендант крепости, вошел со смотрителем-офицером и прочей свитой. Подняв бумагу, которую он держал в руке, нарочито громко и раздельно он произнес: „Государь Император Всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока“.

Думала ли, ожидала ли я, что меня казнят? Готовилась ли к этому?

— Нет, я не думала.

Казнили Перовскую, после 1 марта, и эта первая казнь женщины, кажется, произвела на всех удручающее впечатление. Тогда казнь женщины еще не сделалась „бытовым явлением“, и после казни Перовской прошло трехлетье.

Но еслиб приговор остался в силе—я умерла бы с полным самообладанием; по настроению—я была готова к смерти. Едва ли я была бы одушевлена энтузиазмом: все мои силы

были изжиты, и я, просто, смерть быструю на эшафоте предпочла бы медленному умиранию, неизбежность которого ясно сознавала в то время.

Так прошло десять дней до 12 октября 1884 г., когда меня увезли—я не знала куда?

Это был Шлиссельбург. Там, в Шлиссельбурге, началась потусторонняя жизнь моя, та, еще не изведанная мной, жизнь человека, лишенного всех прав, прав гражданских, но, можно сказать, и человеческих прав.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вторая встреча с Лесгафтом.

.... Потом прошла почти целая жизнь. Прошло 35 лет. Прошел Шлиссельбург. И вот я имела счастье после Шлиссельбурга встретиться опять с Петром Францевичем.

Как странно, как фантастично было встретиться в начале жизни, а потом в конце ее...

Тогда, при первой встрече, я была молодым ростком, неоформленным сырым материалом, из которого жизнь могла лепить и так, и этак, а он—твердый, совершенно определившийся, вполне сложившаяся сильная личность.

А теперь, вдруг встретились равные, и такие друзья, такие близкие, родные. Так понимаем друг друга, с полслова, прямо и спрашивать ни о чем не надо, словно жизнь и душа каждого на ладони у другого.

Вот радость, он даже физически почти не изменился—не растолстел и не обрюзг, все тот же тонкий, хрупкий и черты лица не огрубели, много морщин, щеки глубоко впали—вот и все. Та же добродушно ироническая усмешка и форма речи; все те же живые глаза, смотрящие исподлобья... Быстрота движений, неугомонная энергия и работоспособность... Он ведет меня показывать свое царство, свое детище, ведет по кабинетам, ведет в лабораторию: химическую, зоологическую... показывает драгоценные коллекции, тончайшие препараты—чуть не лучшие в Европе; прекрасные чучела... Сокровища по анатомии, эмбриологии, зоологии мелькают перед глазами. И он—король без короны в своем царстве науки; здесь все создано, собрано им и все проникает и поддерживает его воля...

Он рассказывает об основании своего Института, говорит о высшей женской школе, о молодежи, которая проходит чрез его руки, о препятствиях и затруднениях, которые ставились и ставятся ему на пути разными министерствами и всевозможными родами полиции.

Он рассказывает о П. Н. Дурново, о свидании с премьером после обыска и закрытия института.

— У вас там все свобода!—говорит П. А. Столыпин.

— Да,—отвечает Петр Францевич.—Ваша правда: у нас свобода, свобода науки, которая не знает ни железных решеток, ни цепей...

При обыске в одном из помещений найдена нелегальная литература.

— Никто, как сама-же полиция подложила,—добродушно твердит Петр Францевич... Я смеюсь...

— Департамент полиции потом делает запрос: кто несет ответственность за вещи, находимые в помещениях института?

— Я несу ответственность. Я один, — пишет в ответ Петр Францевич.

Он взглядывает на меня и лукавая искра пробегает в его глазах.

Я понимаю—его хотели поймать... и я смеюсь...

Потом речь идет об организации женских курсов, о совете профессоров, о составе совета.

— Он все мне толкует, что он—социал-демократ,—говорит Петр Францевич, называя фамилию.

— А мне что за дело, что он социал-демократ! Будь чем хочешь—эс-дек, эс-ер!.. Нет! ты мне свою личность, свою человеческую личность покажи! А то он, видите ли, эс-дек!—горячился Петр Францевич. И я понимаю его, и тихо улыбаюсь: „Конечно“!

Разговор переходит на моих товарищей по Шлиссельбургу: Новорусского, Морозова и Лукашевича, которых Петр Францевич приспособил к лабораториям и к лектированью.

— Вот и вас устрою, — говорит он с приветливым взглядом.

— Да нет же, Петр Францевич. Полиция не позволит, да и что мне делать у вас! Разве шерстку вашей пантеры чесать?! ее от моли беречь?—смеюсь я, указывая на прекрасное чучело животного.

— Нечего смеяться, найдем дело! — говорит Петр Францевич.

Говорим об общих знакомых. Такой-то растолстел.

— И к чему этот жир!—восклицает Петр Францевич.

— Совсем ни к чему!.. Вот мне тот самый сюртук впору, что я тридцать лет назад сшил... Жир—это нехорошо! это лишнее, это ненужная тяжесть! Я рад, что вы не растолстели.—Смотрит он на меня.

Вернулись в его квартиру, в кабинет.

Открывает альбом и показывает карточку 71 года: я с сестрой Лидией за столиком, с анатомией.

О ее существовании я и забыла... Как трогательно, что столько лет он хранил ее!..

Кабинет простой, невзрачный, серый. Стол и масса полок с книгами.

— А вот NN купил дорогую мебель,—говорит Петр Францевич.—И к чему? Разве на простом столе нельзя работать? Я каждый раз, как вижу жену NN, так сейчас ее пилить начинаю за мебель... Ну, не все ли равно работать на ореховом столе или на сосновом? Ничего этого не надо, я и на простом отлично работаю,—и он указывает на свой бедный, старый стол, на котором лежит неоконченная рукопись.

Дорогой Петр Францевич! Все тот же аскет, серьезный, не думающий о благах мира, об удобствах жизни, о том, что есть, что пить, во что одеваться.

— Раз в неделю, по пятницам, больных принимаю,—продолжает он знакомить меня со своей жизнью.

— Как? Да разве вы практикуете? Неужели хватает времени и на это?—удивляюсь я.

— Да. Лечу бесплатно. Когда все врачи отказываются, идут ко мне. И ничего, случается, что и помогаю!—смеется Петр Францевич.

— А, знаете, кого я лечил? —спрашивает он и, помолчав, об'являет,—сына П. Н. Дурново...

— Изумление. Вот как!

— Да, когда никто не помог, за мной прислали.

— И за то,—Петр Францевич лукаво улыбается,—за то при нем меня пальцем не трогали!..—Я смеюсь.

. . . .

О, дорогой Петр Францевич... Живой или мертвый—он со мной. Ведь я и так всю жизнь была с ним в разлуке—и смерть ничего не изменила в этом отношении.

Но частица его души перешла в мою душу.

Он дал мне образ человека науки и вместе с тем общественного деятеля, ваятеля душ человеческих. Он научил любить свое дело и всецело отдаваться ему. И как удивительно, через 35 лет найти того же самого сильного человека, того же первоклассного деятеля!

Всю жизнь он был одним и тем же. Всю жизнь защищал свою человеческую личность и личность ближнего от всякого поругания, гнета и насилия... Всю жизнь боролся за свободу науки, за свободу преподавания; всю жизнь воспитывал молодежь в идеале труда и исполнения долга.

Честь ему, любовь и слава!..

Моя жизнь была богата прекрасными образами. По временам душа трепетала от радостного порыва перед лицом подвига, героизма и самоотверженной отваги. Но все это были люди, обвитые черным флером—над ними витала надпись: „Се обреченные". Их долей было—умереть! Умереть на эшафоте или в одинокой камере узника... Увянуть, не дав всего, что они могли дать, увянуть в бездеятельности, вне потока жизни. Из поколения людей, наиболее мне родных по духу, наиболее близких,—кто остался вне тюрьмы и ссылки? Кто жил, как все люди живут, в вечной борьбе с предразсудками, с отсталыми учреждениями, день за днем подкапываясь под них?.. в борьбе с носителями всякой лжи, лицемерия, с представителями власть имущих, угнетающих мысль, подавляющих деятельность?..

После выхода из Шлиссельбурга такого общественного деятеля, всю жизнь проведшего в активной борьбе—я встретила лично лишь одного. Это был Петр Францевич Лесгафт. В 19 лет он явился передо мной и чуть не через 40 лет опять явился—все тот же, только углубленный и более для меня понятный. Он был в моей жизни, в этом смысле, единственный и один занимает определенное место в моей душе.

Англичане удивляются русским; удивляются их уменью умирать, героизму, с которым они идут на смерть. Но кроме героизма смерти есть героизм жизни. И я удивляюсь великим людям Англии, умеющим жить. Жить, т.-е. творить, создавать.

К таким героям жизни, творцам ее, я причисляю Петра Францевича Лесгафта.

Я удивляюсь ему.

1910 г.

Программа Исполнительного Комитета *).

А.

По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники. Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. Мы убеждены, что только народная воля может санкционировать общественные формы, что развитие народа прочно только тогда, когда каждая идея, имеющая воплотиться в жизнь, проходит предварительно через сознание и волю народа. Народное благо и народная воля—два наши священнейшие и неразрывно связанные принципы.

Б.

1) Вглядываясь в обстановку, среди которой приходится жить и действовать народу, мы видим, что народ находится в состоянии полного рабства экономического и политического. Как рабочий—он трудился исключительно для прокормления и содержания паразитных слоев; как гражданин—он лишен всяких прав; вся русская действительность не только не соответствует его воле, но он даже не смеет ее высказывать и формулировать, он не имеет возможности даже думать о том, что для него хорошо и что дурно, и самая мысль о какой-то воле народа считается преступлением против существующего порядка. Опутанный со всех сторон, народ доводится до физического вырождения, до отупелости, забитости, нищенства,— до рабства во всех отношениях.

2) Над закованным в цепи народом мы замечаем облегающие его слои эксплоататоров, создаваемых и защищаемых государством. Мы замечаем, что это государство составляет крупнейшую в стране капиталистическую силу, что оно же

---

*) Партии „Народной Воли“.

составляет единственного политического притеснителя народа, что благодаря ему только могут существовать мелкие хищники. Мы видим, что этот государственно-буржуазный нарост держится исключительно голым насилием: своей военной, полицейской и чиновничьей организацией, совершенно так же, как держались у нас монголы Чингис-хана. Мы видим совершенное отсутствие народной санкции этой произвольной и насильственной власти, которая силою вводит и удерживает такие государственные и экономические принципы и формы, которые не имеют ничего общего с народными желаниями и идеалами.

3) В самом народе мы видим еще живыми, хотя всячески подавляемые, его старые, традиционные принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление, зачатки федеративного устройства, свобода совести и слова. Эти принципы получили бы совершенно новое направление в народном духе всей нашей истории, если бы только народ получил возможность жить и устраиваться так, как хочет, сообразно со своими собственными наклонностями.

B.

1) Поэтому мы полагаем, что, как социалисты и народники, мы должны поставить своей ближайшей задачей—снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу. Этим переворотом мы достигнем: во-1-х, что развитие народа отныне будет итти самостоятельно, согласно его воле и наклонностям: во-2-х, того, что в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны многие, чисто социалистические, принципы, общие нам и народу.

2) Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным Собранием, избранным свободно, всеобщей подачей голосов, при инструкциях от избирателей. Это, конечно, далеко не идеальная форма проявления народной воли, но единственно в настоящее время возможная на практике, и мы считаем нужным остановиться именно на ней.

3) Таким образом, наша цель: отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному Собранию, составленному, как сейчас сказано, которое должно пе

ресмотреть все наши государственные и общественные учреждения и перестроить их, согласно инструкциям своих избирателей.

Г.

Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как партия, сочтем долгом явиться перед народом со своей программой. Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время избирательной агитации, ее будем защищать в Учредительном Собрании. Эта программа следующая:

1) Постоянное народное представительство, составленное как выше сказано и имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах,

2) широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей, самостоятельностью мира и экономической независимостью народа;

3) самостоятельность мира, как экономической и административной единицы;

4) принадлежность земли народу;

5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все фабрики и заводы;

6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избирательной агитации;

7) всеобщее избирательное право, без сословных и имущественных ограничений;

8) замена постоянной армии территориальной.

Мы будем проводить эту программу и полагаем, что в ней все пункты невозможны один без другого и только в совокупности обеспечивают политическую и экономическую свободу народа и правильное его развитие.

Д.

В виду изложенных целей, деятельность партии располагается в следующих отделах:

1) Деятельность пропагандистская и агитационная.

Пропаганда имеет своею целью популяризовать во всех слоях населения идею демократического политического переворота, как средство социальной реформы, а также популяризацию собственной программы партии. Критика существующего строя, изложение и уяснение способов переворота

и общественной реформы составляют сущность пропаганды.

Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны народа и общества заявлялись в наивозможно широких размерах протест против существующего порадка и требование реформ в духе партии, особенно же требование созыва Учредительного Собрания. Формами протеста могут быть сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адресы, отказ от уплаты податей и пр.

2) Деятельность разрушительная и террористическая.

Террористическаа деятельность, состоящая в уничтожении наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от шпионства, в наказании наиболее выдающихся случаев насилия и произвола со стороны правительства, администрации и т. п.—имеет своею целью подорвать обаяние правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные и привычные к бою силы.

3) Организация тайных обществ и сплочение их вокруг одного центра.

Организация мелких тайных обществ со всевозможными революционными целями необходима как для исполнения многочисленных функций партии, так и для политической выработки ее членов. Но эти мелкие организации, для более стройного ведения дела, особенно же при организации переворота, необходимо должны группироваться вокруг одного общего центра на началах полного слияния или федеративного союза.

4) Приобретение влиятельного положения и связей в администрации, войске, обществе и народе.

Для успешного исполнения всех функций партии в высшей степени важно прочное положение в различных слоях населения. По отношению к перевороту особенно важны администрация и войско. Не менее серьезное внимание партия должна обратить на народ. Главная задача партии в народе — подготовить его содействие перевороту и возможность успешной борьбы на выборах после переворота, борьбы, имеющей целью проведение чисто-народных депутатов Партия должна приобрести себе сознательных сторонников в наиболее выдающейся части крестьянства, должна подготовить себе

активное содействие масс в наиболее важных пунктах и среди наиболее восприимчивого населения. В виду этого каждый член партии в народе должен стремиться занять такое положение, чтобы иметь возможность защищать крестьянские интересы, помогать их нуждам, приобрести известность честного и благожелательного крестьянству человека и поддерживать в народе репутацию партии, защищать ее идеи и цели.

5) Организация и совершение переворота.

В виду придавленности народа, в виду того, что правительство частными усмирениями может очень надолго сдерживать общее революционное движение, партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касается способов совершения переворота...[1])

6) Избирательная агитации при созвании Учредительного Собрания.

Каким бы путем не произошел переворот — как результат самостоятельной революции или при помощи заговора— обязанность партии — способствовать немедленному созыву Учредительного Собрания и передачи ему власти Временного Правительства, созданного революцией или заговором. При избирательной агитации, партия должна всячески бороться против кандидатуры различных кулаков и всеми силами проводить чисто-мирских людей[2]).

[1]) Эта часть 5 пункта не подлежит опубликованию.

[2]) Эта программа Исполнительного Комитета была отпечатана затем отдельным изданием, в котором прибавлен пункт Е., гласящий:

„Руководящие прицины действий Исполнительного Комитета определяются отношением лиц и общественных групп таким образом:

1) По отношению к правительству, как к врагу, цель оправдывает средства т.-е. всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволительным.

2) Все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами в союз, найдут в нас помощь и защиту.

3) Лица и общественные группы, стоящие вне нашей борьбы с правительством, признаются нейтральными: их личность и имущество—неприкосновенны.

4) Лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие правительству в нашей с ним борьбе как вышедшие из нейтралитета, принимаются за врага.

Подпись:

„Исполнительный Комитет“.

(3-е издание программы отпечатано в типографии „Нар. Воли“ 15 августа 1881 г.).

Письмо Исполнительного Комитета к Александру III.

Ваше Величество!

Вполне понимая то тягостное настроение, которое Вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный Комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всесильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждет тот исторический процессе, который грозит нам в будущем реками крови и самыми тяжелыми потрясениями.

Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия, она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти. Объяснять подобные факты злоумышлением отдельных личностей или хотя бы „шайки"—может только человек, совершенно неспособный анализировать жизнь народов. В течение целых 10 лет мы видим, как у нас, несмотря на самые строгие преследования, несмотря на то, что правительство покойного Императора жертвовало всем — свободой, интересами всех классов, интересами промышленности и даже собственным достоинством—безусловно всем жертвовало для подавления революционного движения, оно все-таки упорно разрасталось, привлекая к себе лучшие элементы страны, самых энергичных и самоотверженных людей России, и вот уже три

года вступило в отчаянную, партизанскую войну с правительством. Вы знаете, Ваше Величество, что правительство покойного Императора нельзя обвинять в недостатке энергии. У нас вешали правого и виноватого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так-называемых „вожаков“ переловлены, перевешаны: они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось, оно безостановочно росло и крепло. Да, Ваше Величество, революционное движение не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма, и виселицы, воздвигаемые для наиболее энергичных выразителей этого процесса, так же бессильны спасти отживающий порядок, как крестная смерть Спасителя не спасла развратившийся античный мир от торжества реформирующего христианства.

Правительство, конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это нисколько не изменит положение вещей. Революционеров создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его недовольство посредством репрессалий; неудовольствие, напротив, растет от этого. Поэтому на смену истребляемых постоянно выдвигаются из народа, все в большем количестве новые личности, еще более озлобленные, еще более энергичные. Эти личности, в интересах борьбы, разумеется организуются, имея уже готовый опыт своих предшественников, поэтому революционная организация с течением времени должна усиливаться и количественно, и качественно. Это мы видим в действительности за последние десять лет. Какую пользу принесла гибель Долгушинцев, Чайковцев, деятелей 74-го года? На смену их выступили гораздо более решительные народники. Страшные правительственные репрессалии вызвали затем на сцену террористов 78—79 гг. Напрасно правительство истребляло Ковальских, Дубровиных, Осинских, Лизогубов. Напрасно оно разрушало десятки революционных кружков. Из этих несовершенных организаций, путем естественного подбора,

вырабатываются только более крепкие формы. Появляется, наконец, Исполнительный Комитет, с которым правительство до сих пор не в состоянии справиться.

Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами тяжелое десятилетие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если только политика правительства не изменится. Движение должно расти, увеличиваться, факты террористического характера повторяться все более обостренно; революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более совершенные, крепкие формы. Общее количество недовольных в стране между тем увеличивается; доверие к правительству в народе должно все более падать, мысль о революции, о ее возможности и неизбежности — все прочнее будет развиваться в России. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершат этот процесс разрушения старого порядка.

Чем вызывается, обусловливается эта страшная перспектива? Да, Ваше Величество, страшная и печальная. Не примите это за фразу. Мы лучше, чем кто-либо другой, понимаем, как печальна гибель стольких талантов, такой энергии — на деле разрушения, в кровавых схватках, в то время, когда эти силы при других условиях могли бы быть потрачены непосредственно на созидательную работу, на развитие народа, его ума, благосостояния его гражданского общежития. Отчего же происходит эта печальная необходимость кровавой борьбы?

Оттого, Ваше Величество, что теперь у нас настоящего правительства, в истинном его смысле, не существует. Правительство, по самому своему принципу, должно только выражать народные стремления, только осуществлять Народную Волю. Между тем у нас—извините за выражение—правительство выродилось в чистую камарилью и заслуживает названия узурпаторской шайки гораздо более, чем Исполнительный Комитет.

Каковы бы ни были намерения государя, но действия правительства не имеют ничего общего с народной пользой и стремлениями. Императорское правительство подчинило народ крепостному праву, отдало массы во власть дворянству; в настоящее время оно открыто создает самый вредный класс

спекулянтов и барышников. Все реформы его приводят лишь к тому, что народ впадает все в большее рабство, все более эксплоатируется. Оно довело Россию до того, что в настоящее время народные массы находятся в состоянии полной нищеты и разорения, не свободны от самого обидного надзора даже у своего домашнего очага, не властны даже в своих мирских, общественных делах. Покровительством закона и правительства пользуется только хищник, эксплоататор; самые возмутительные грабежи остаются без наказания. Но за то какая страшная судьба ждет человека, искренно помышляющего об общей пользе. Вы знаете хорошо, Ваше Величество, что не одних социалистов ссылают и преследуют. Что же такое—правительство, охраняющее подобный „порядок“? Неужели это не шайка, неужели это не проявление полной узурпации?

Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния, никакой опоры в народе, вот почему Россия порождает столько революционеров; вот почему даже такой факт, как цареубийство, вызывает в огромной части населения радость и сочувствие! Да, Ваше Величество, не обманывайте себя отзывами льстецов и прислужников. Цареубийство в России очень популярно.

Из такого положения может быть два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение Верховной Власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный Комитет обращается к Вашему Величеству с советом избрать второй путь. Верьте, что как только Верховная Власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осуществлять лишь требования народного сознания и совести—Вы можете смело прогнать позорящих правительство шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы. Исполнительный Комитет сам прекратит свою деятельность, и, организованные около него, силы разойдутся для того, чтобы посвятить себя культурной работе на благо родного народа. Мирная, идейная борьба сменит насилие, которое противно нам более, чем Вашим слугам, и которое практикуется нами только из печальной необходимости.

Мы обращаемся к Вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что Вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к Вам, как гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в Вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от Вас.

Мы не ставим Вам условий. Пусть не шокирует Вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.

Этих условий, по нашему мнению, два:

1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.

2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.

Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация Верховной Власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке.

1) Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей;

2) никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть;

3) избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания допустить:

а) полную свободу печати,

б) полную свободу слова,

в) полную свободу сходок,

г) полную свободу избирательных программ.

Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно, пред лицом родной страны и всего мира, что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, санкционированному Народным Собранием.

Итак, Ваше Величество, решайте. Перед вами два пути. От Вас зависит выбор, мы же затем можем только просить судьбу, чтобы Ваш разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, с Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной.

Исполнительный Комитет.

10 марта 1881 г

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Глава первая.

Глава вторая.

Глава третья.

Глава четвертая.

Глава пятая.

Глава шестая.

Глава седьмая.

Глава восьмая.

Глава девятая.

Глава десятая.

Глава одиннадцатая.

Глава двенадцатая.

Глава тринадцатая.

Глава четырнадцатая.

Глава пятнадцатая.

Глава шестнадцатая.

Глава семнадцатая.

Глава восемнадцатая.

Глава девятнадцатая.

Приложения.

ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	Надо читать:
Стр. 5	Ужли	Уж—ли
„ 63	студентов	студенток
„ 73	Клеменс	Клеменц
„ 92	участии	участи
„ 105	Натансона	Натансон
„ 120	Осиновский	Осинский
„ 127	Акимова	Якимова
„ 135	легло	легко
„ 159	у соседа, напротив,	у соседа против меня
„ 183	Виндерфлита	Вандерфлита
„ 184	нежный и отзывчатый	нежной и отзывчатой
„ 187	Гертман	Гартман
„ 223	грандиозная	грандиозность
„ 224	ломбардинцами	ломбардцами
„ 242	23.	28.
„ 244	военные чиновники	военные и чиновники
„ 245	Тринони	Тригони
„ 252	деятельность	действительность
„ 332	живут, в вечной	живут, а не в вечной



Кооперативное Т-во „ЗАДРУГА“.

ПРАВЛЕНИЕ и СКЛАД:
Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиженский, 9.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН:
Москва, Моховая, 20.